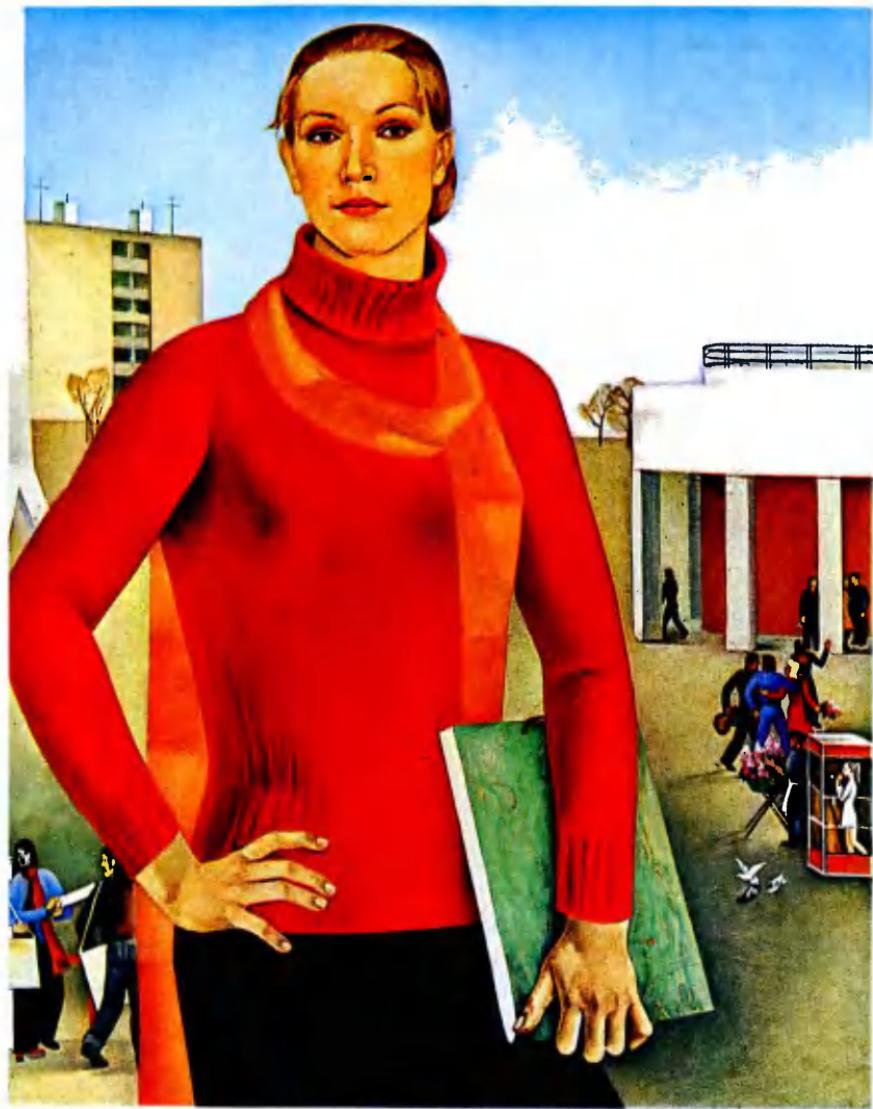




ЮНОСТЬ

8

1972



И. РОМАНОВА (Москва).

Автопортрет.

Из произведений молодых художников,
экспонировавшихся в залах Академии художеств СССР. Лето, 1972 год

С С С Р
50

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



Журнал
основан
в
1955
году

8 [207]
август
1972

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Олег Дмитриев



За Байкалом, на земле бурят,
Над теченьем плавным Баргузина
Мать-природа сосны водрузила
И вершины выстроила в ряд.

Там меня хранили от невзгод,
Оплакали днями и ночами
Тенгри с горящими очами —
Духи гор, равнин, лесов и вод.

Тенгри ступали по пятам.
Хмуры, медноискуплены, узкоглазы,
Отдавая строгие приказы
Ветру, рекам, соснам и камням:

Чтоб уступ не прогнулся под ногой,
Чтобы кедр убрал с дороги хвою,
Чтоб река не сбила тетиву —
Выгнутая, точно лук тугой!

Как я это понял и когда
Тихие подслушал разговоры!
Что скажу — меня любили горы,
И тайга, и степи, и вода.

Я о добрых духах узнавал
Из сказаний, из поэмы друга,
Далеко мне виделась округа:
Я вступил на горный перевал.

И, поднявшись на крутой утес,
Всем идущим, рицущим, спешащим
По степям и по таежным чащам
Я сказал не в шутку, а всерьез:

«От дурного глаза, от змеи,
От провала в гнильстом болоте
Да хранят вас боги той земли,
По которой вы сейчас идете!»

И товарищ улыбнулся мне:
«Надо, чтобы мы друзьями были
В старой сказке
И в грядущей были,
Как сегодня — на Баргузине!»

Кормление чаек

С откоса, где над первою травою
Раздул миндаль цветенья жар живой,
Спускался я извилисткой тропой
К дому у полосы береговой.

Я знал, что горы за спиной синели,
А впереди — простор безмерный был,
И стоя чайки,
Словно куст сирени,

Над набережной ветер шевелил.
Я ближе подошел. Комочки хлеба
Над головой подbrasывал старик —

И посреди безоблачного неба

Водоворот из белых птиц возник.

Как гончими в овале велотрека,

Они вели бесчисленные круги

С наклоном на седого человека,

Кидавшего белые комки.

Крутилась в небе карусель живая,

И наблюдал приехавший народ.

Как, о крыло крылом не задевая,

Спокойно птицы шли на поворот.

И те, кому награда выпадала,

Поймав комочек белый на лету.

Не портили летящий строй никомало,

Вновь круто набирая высоту.

И те, кому не выпала награда,

Кто пролетал все время невспоад,

Вершили путь, не нарушая ряда,

Вперед — над нами, над водой — наезд.

И было в этом что-то

От земного

Существование бескорыстных душ,

Где благородство — вечная основа:

Наград не требуй, общий строй не рушь,

Не суеться, другому зло не делай;

Верши свой путь, достоинство храня!

И долго я смотрел
На город белый
Сквозь белых птиц, летящих на меня.



Не надо у жизни просить
Даров, снискождений, поблажек,
Ее надо в сердце носить,
И груз этот вечный не тяжек.

Не надо ее умолять,
Когда тяжело и прекрасно:

Да это ж — в себе умалять
Бессмертную душу безмерно!

Когда поднимался с земли,
У жизни просил не совета —

Кричал ей: «Ты только вели
Мне, грешному, вынести это!»

Пытomeц последней войны,
Когда обнаружил в себе ты,

Что в жизненной школе равны
Уроки беды и победы!

Когда ты узнал невзначай
Всесилье албучных правил,—

Что думаешь ты! Отвечай,
Да так, чтоб никто не опправил!

— Я думаю, жизнь, о тебе,
О собственной воле, о роке.

И я благодарен судьбе

За все без изъята уроки.



Девочка поет на тротуаре,
Потому что в городе весна.
Все, что мы с тобою потеряли,
Нам она обратно привнесла.

В синем накладном ее кармашке
Наши сказки, наше озеро, во,
Наши беззаботные замашки,
Наш восторг — да мало ли чего!

Все надежды наши расписаные,
Наши развеселые года:
Бусинки да камушки цветные,
Лоскутки, стекляшки — ерунда...

Все она владельцам возвращающая,
Песенку веселую поет!
Что же нас тревожит и смущает?
Что же взять подарок не дает?

Растянувшись косы из кудели
У кукленка — в палец толщиной...
Может, наши души оскудели,
Поистерлились на стезе земной?

Мы идти стараемся скорее,
Оставляем доброе дитя,
С каждым шагом медленно старея,
Над собой невесело шутя.

Девочка поет на тротуаре,
Потому что в городе весна.
Мы с тобою столько потеряли!
Слава богу, все она спасла.

Ирина Кашажева



Переселяясь в новые дома,
мы почему-то забываем сразу,
как чью-то незначительную фразу,
ту крышу, что когда-то нам дала
принять, пусть неказистый, но прют.
Покой, пусть он такой, как на качелях...
Но ведь не зря геолог и кочевник
не забывают ни яранг, ни юрт,
ни просто трехминутного костра,
чтоб свернуться с дорогой по карте...
Неблагодарно так не покидайте
дома, еще вам близкие вчера!
Поспешно адресов не забывайте,
как пусть и бесполезного добра,

и выбоины старого двора
припомните на новеньком асфальте!
Не предавайте брошенного дома,
не отсекайте все с размаху, вдруг:
друг детства все равно такой же друг,
пусть даже он не получил диплома.



Секрет гусиного пера...
О, сколько раз оно чинилось!

В магический кристалл чернильниц
взглянуть и мне пришла пора.

Его ничем не обмануть.

Вот почему свое, стальное,
я не решаюсь обмануть...

Что перед этим — остальное!!

Пока что на весу дериху,
как руку с ножевым порезом,

свое, рожденное прогрессом,

перо, подобное ножу.

Развеян тирамии практ

и не убьют и не повешусь...

И только этот детский страх,

а вдруг — нечаянно! — порежусь!

Чернила высокли давно,

но не уйти от них — судьба ведь...

Их кровью собственной разбавить
мне право все-таки дано,

И жребий мне не жалкий выпал...

Чего ж я медли и боюсь!

С боязнью детскую борюсь,

но твердо знаю: сделан выбор.

Настал мой час, пришла пора,
искала время ученичества.

...Разгадываю у чернильниц

секрет гусиного пера.

А долго ли быть моей порожней!

Когда я стану «пра-пра-пра»,

то кто-то, на меня похожий,

прочтет: «...пора, мой друг, пора!» —

секрет гусиного пера.

Рука занесена пока,

и с занесеною рукой

смотрю я на перо сухое,

оглядываясь на века.



Я нежно хочу попрощаться,
как перед уходом на час.

Сказать бы тебе: «Не печалься!»

Да ты веселиться как раз.

Спросить бы тебя: «Ну, чего ты?»

Да только не стану, прости...

Заботы мои до звезды

могли бы тебя довести.

Ты любишь ходить в непробимых,

а мне уходить суджено.

И фразы о бедах, обидах

звучали бы просто смешно.

Какая банальная повесть!

Дочитана. Правильно. Что ж.

Уходит, уходит мой поезд,

а ты провожать не придешь.

Я не запасаюсь бумагой,

конвертов с собой не везу...

И, знаешь, простое «бывает»

я мысленно произнесу.

Какая банальная повесть!

Дочитана. Правильна. Что ж.

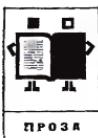
Уходит, уходит мой поезд,

а ты провожать не придешь...



ИОН ДРУЦЭ

РАССКАЗЫ



ПРОЗА

Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО.

I. СПЛОШНЫЕ НЕВЕЗЕНИЯ

Пастись от них невозможна. Изредка эти невезения настигают каждого человека — одних, правда, чаще, других реже, но настигают непременно, и тогда плохо дело. И вот наш бедный Андрей в свои двенадцать лет попал в полосу сплошных невезений. Целые вечера корпят над уроками, выстраивают полки цифр на страницах так, что любо на них смотреть. Лишо зачерчивает хвостик каждой буковки, у которой только есть что закрутить, а на следующий день возвращается из школы, облепленный двойками так, что живого места на нем не найти. Измученный как-то всеми этими делами, он подумал: а не бросить ли к черту все это учение? Вон его родной дядя Тэнэс всего три года в школе прорушился, а столярничает, как бог. Все окна и двери в деревне прошли через его руки. По воскресеньям он облезает деревню на новом трехколесном мотоцикле, в то время как его одноклассники, те, которые учились на «отлично», школу окончили с похвальной грамотой, ходя пешком и грызутся между собой.

Самое трудное в жизни — принять важное, ответственное решение, а остальное уже идет само по себе, точно с горки катится. Решив оставить школу, Андрей забросил на чердак портфель со всем его содержимым, как вещь совершенно ненужную, и пошел за дом небольшому навесу, служившему у них чем-то вроде мастерской. Раскопал подходящий обрезок доски, достал большую пилу и, прижав доску коленями, принялся ее пилить. Дядя Тэнэс как-то говорил, что лучше всего мастерит тот человек, который постигает ремесло сам по себе. Понапалу у Андрея дело шло как будто неплохо, но потом пила закричала, стала пробовать на зуб доску то в одном, то в другом месте, пока не добралась до живого пальца, а уж жалеть она человека совершенно не умела.

Словом, не везет, хоть ты плачь. Вернулся в дом, кое-как перевязал палец. Еще хорошо, что пострадала левая рука, но тут увидела мама, как он идет с глубоко запятнанной в карман рукой, и подумала, что подырничает. Как не стыдно, ведь двор завален сырьими листьями табана, там работы на неделю, а он вместо того, чтобы помогать, ходит, засунув руки в брюки!

Он не любил эту работу — нанизывать листья табака на нитку. От них шел тяжелый дух, вонь шла от этих листьев такая, что голова кружилась, а тут еще мама спрашивала: а не забыл ли он, как это делается?! Он, конечно же, не забыл, но, с другой стороны, много ли наработаешь одной рукой, даже если эта рука и правая? В конце концов его прогнали, и он вышел на дорогу, сел на маленькой скамейке возле колодца. Сестры не были дома, отца тоже не было. По дороге никто не шел, никто не ехал, и от этого одиночества ему захотелось встать и пойти куда глаза глядят. И он подумал: а почему бы и не пойти? И пошел, и глаза повели вверх, вдоль старых акаций, и привели к закадычному другу Василию.

Увы, ему не везло в тот день: Васи не оказалась дома. Он пошел обратной дорогой, но поскольку у него было день невезений, то встретил

из произведений
молдавских
писателей



лась ему тетка Аргира, занудливая старушка, у которой он прошлым летом щипнул пару клубничек. Даже отведать их не успел. Дело в том, что тетушка Аргира в силу своей скверной натуры посадила грядку с клубникой вдоль плетеного забора: красная клубника прятывала и дразнила всех проходящих по другую его сторону. Некоторые, кто посмелее, пытались просунуть руку через забор, но он был сплетен густо и рука не пролезала. А вот Андрей высмотрел такую брешь, и его маленькая, худенькая рука легко пролезла. Он оторвал три крупные ягоды, но вместе с ягодами рука у него не пролезала обратно. А пока он мучился, вышла тетка Аргира и подняла дикий вопль. Он уронил ягоды, вытащил руку и убежал. Но она уже второй год, как только его встретит, начинает сначала свои нравоучения.

Теперь он шел, слушал тетушку Аргиру и думал: а может, она права, может, он действительно никеминский и надо, пока не поздно, доставать с чердака портфель и засесть за уроки? Отличником ему, конечно, в жизни не стать, но хотя бы так, чтобы не стыдно было перед людьми. И он прибежал домой, досстал с чердака портфель, но ему решительно не везло в тот день. На кухне мама принялась стирать, и брызги летели во все стороны, негде было пристроиться, в большой комнате отец вместе со своим новым приятелем, Стратулатом, вели о чём-то тихую беседу, при тихой беседе детям делать нечего. В третьей комнате сидела наряженная сестра; она побледнела, когда увидела Андрея с учебниками и тетрадками: верно, ждала своего парня, и очень ей нужен был брат со своими двойниками.

Разобидевшись, Андрей залез за печку, на свое старое место, леж и, не раздеваясь, уснул. Но и спалось ему плохо: в одной комнате говорили по телевизору, в другой было включено радио. Телевизор нес свое, радио — свое, и он то засыпал, то просыпался, а в полночь вдруг проснулся совсем. В доме стояла тишина, было темно, пахло едой и свежей стиркой. Ему хотелось есть: он не ужинал. И пока он прикидывал, как бы ему слезть и тихо поклевать чего-нибудь, из соседней комнаты через приоткрытую дверь вдруг донесся шепот мамы:

— Надо бы тебе поговорить с нашим парнем...
И тихий голос отца:

— А что такое?

— Пришибленный он какой-то. То начнет делать уроки, то забросит их, то что-то мастерит, по-

том пару листьев табаку насадит на шпагат, и уже нету его, а под вечер вернется откуда-то с перезянными пальцами...

— Ничего, пускай растет.

— Ну и что? Если растет — надо обязательно быть олухом?

— Да не олух он, что ты выдумываешь! Просто, когда человек растет, он то находит, то опять теряет сам себя, а ты думаешь, так легко научиться управлять собой? Тут вам взрослые люди не знают, с какой стороны подступиться к самому себе, а ты требуешь черт те что от мальчика!

И стало тихо, и Андрей вздохнул облегченно — вона что! Растет, стало быть. Учится управлять собой. Просветленным этим мыслию, он начал засыпать. И, засыпая, подумал, нельзя все-таки сказать, что прошлый день был для него совсем невезучим. В одном ему все-таки повезло. Забыл поужинать, и спасибо голоду — разбудил среди ночи. Иначе откуда он мог узнать, что с ним происходит??!

2. СВОИ ЛЮДИ

В

один прекрасный день Елена Петровна вошла в класс, посмотрела на них долгим, испытующим взглядом, как бы решая про себя: говорить — не говорить? Вдруг ей показалось, что дверь класса не плотно прикрыта. Она вернулась, снова открыла, потом закрыла уже совсем хорошо. Когда она возвращалась вторично закрыть двери, весь четвертый «А» завострил уши: это означало, что последует очень важное сообщение, о котором, однако, не надо распространяться.

— Вот что, ребята, — сказала она и умолкла, чтобы передохнуть, и дышала так тяжело, точно взобралась на огромную гору. — Приехал инспектор из министерства. Сейчас он пошел в старшие классы, а к концу дня или в крайнем случае завтра он будет и у нас.

И улыбнулась. Она улыбнулась не потому, что ей было смешно или от хорошего настроения, как это с ней часто бывало, она улыбнулась потому, что весь четвертый «А» пришел в ужас от ее сообщения, а это не хотелось нагонять на них ужас. Она улыбнулась, чтобы их подбодрить, и некоторые ребята следом за ней улыбнулись.

— Страшного в этом ничего нет,— сказала Елена Петровна.— Но мне хотелось бы видеть вас более бойкими, более живыми. Во всяком случае, я прошу вас, постарайтесь, поднатужьтесь.

Ребята вздохнули, легко сказать — побойчее, а откуда она взываете, та бойкость, когда эти проклятые дроби убили весь класс. Пока было сложение и вычитание — еще ничего, можно было жить, а как дошли до деления и умножения — прямо хоть карапул кричи.

— А теперь,— сказала Елена Петровна,— давайте еще раз пройдемся по дробям.

В тот день инспектор пришел в четвертый «А», а вечером все ученики загнали себя работой над дробями так, что пальцы на руках онемели, а ночью многим снилось, что в классе у них большая неприятность и учительница плачет. Они повставали чуть свет и, к ужасу, к удивлению родителей, перед тем, как идти в школу, опять сели за уроки.

Инспектор пришел к ним на второй урок. У него были добрые глаза дедушки и коротко остриженные усики неженского еще парня.

— Ну, четвертый «А»,— сказал он.— Покажите, на что вы способны.

Елена Петровна улыбнулась — она улыбнулась не для того, чтобы подбодрить ребят. Просто ей пришла в голову смешная мысль, и все ученики заулыбались следом за ней, точно им тоже что-то смешное пришло в голову.

— Много мы вам не покажем,— сказала учительница,— но кое-что вы от нас узнаете.

— Ну-ну,— сказал инспектор. Сел за учительский стол, взял классный журнал. Решил сначала неожиданно кого-то вызвать, потом, верно, подумал: чего бегать, лучше начать с начала.

— Бобок Андрей.

Андрей вышел к доске, взял мел, и инспектор как открыл рот, так и стоял с открытым ртом. Потому что Андрей те дроби, которые ему дали, не дождавшись условий упражнения, сложил, потом вычел, по-

том поделил, потом умножил, и все это было так лихо, так просто, что самые последние двоечники, которые никак не могли взять в толк, чего от них хотят с этими дробями, вдруг поняли, в чем дело, и целый лес рук поднялся, умоляя Елену Петровну, умоляя инспектора вызвать их к доске. И их вызывали, и они все знали, так что к вечеру, после отъезда инспектора, по школе прошел странный слух, будто их четвертый «А» вышел чуть ли не на самое первое место.

А на следующий день запахло весной. То есть снег все еще лежал сугробами, но уже размяк весь, и в садах хоть и были одни голые ветки, но появился запах — вишня пахла вишней, орех — орехом, и было так солнечно и тепло, что сквозь окна школы целые потоки света и тепла обрушились на четвертый «А» и они, как цыплята в инкубаторе, вздремнули, сидя на своих партах.

— А теперь, ребята, мы начнем с вами новую тему,— сказала учительница. Она говорила и писала на доске, но они были очень далеко — ни ее уроки, ни ее голоса, ни ее саму почти не видели, и в конце концов учительница хлопнула книгой по столу. Хлопнуло громко, так, что весь четвертый «А» вздрогнул. Вздрогнул, но не проснулся.

— Ну, и не стыдно вам, ребята! — начала она обиженным голосом.— Вчера вы потрясли всю школу, все радовались, а сегодня вас снова нет. Вы опять спите, так что сквозь эту дрему прямо не пробьешься с этим новым материалом. А как здорово было бы, если бы вы всегда были такими же бойкими, активными, как вчера.

Ребята заулыбались — вишь, чего захотела...

И поскольку учительница эти улыбки решительно не понравились, и она стояла грозная и сердитая, и уже класс был сам по себе, а она сама по себе, и это грозило выплыть в открытый конфликт, то Андрей Бобок, герой вчерашнего дня, решил взять на себя роль примирителя. Он попросил разрешения выйти, проверил, хорошо ли закрыта дверь, потом вернулся на свое место, но не сел, а, стоя у парты, сказал:

— Елена Петровна, дорогая, о чём вы говорите, откуда она у нас возьмется, активность, когда мы еле ноги волочим за собой. То грипп, то дроби, то работа по хозяйству — сегодня вон впервые выдался хороший, теплый день, мы немного отогрелись, а вы уж и обижаетесь на нас...

Елена Петровна посмотрела на окно, посмотрела еще раз на них и улыбнулась. Не от хорошего настроения, не потому, что ей пришло что-то смешное в голову, — с горя улыбнулась.

— Ладно,— сказала она.— Отложим еще на один день этот новый материал. Пройдемся еще раз по дробям.



Ребята заулыбались — ну вот, это уже совсем другое дело. Учительница рассказывала им то, что они и без нее хорошо знали, они дремали на солнышке, и Андрей Бобок, подремывая вместе со всеми, думал про себя соглашение было достигнуто, в сущности, потому, что все они свои люди. То ей понадобилось, чтобы они выглядели молодцами и не ударили лицом в грязь, то им понадобилась передышка, и передышка им была дарована. Великое дело, когда вскочи свои люди. Его отец говорит, что это, может быть, самое важное в жизни. И что, правда ведь.

3. ОСЫПАЛАСЬ ЛИСТВА НА ВИНОГРАДНИКАХ

 ел последний урок. Ученики четвертого «А», уже собирали втихомолку учебники и тетрадки в портфель с тем, чтобы вместе со звонком сорваться с места, как вдруг двери класса открылись и вошел, улыбаясь, новый учитель Ошлобану. Смуглый, низенькийрост, юркий, он, казалось, все в жизни умел: и на гитаре играл и в волейбол вместе со старшеклассниками сражался так, что трудно было разобраться, где учитель, а где старшеклассники. Он все время что-нибудь придумывал, и даже в четвертый «А» он вошел, загадочно улыбаясь.

— Ну, Елена Петровна, покажите, что у вас есть.

— Вот,—сказала учительница, устало кивнув в сторону своих учеников.— Чем богаты, тем и рады.

— Любите песни, ребята? — спросил Ошлобану.

Кто-то из последних рядов потянул устало:

— Можем и спеть...

Сначала они спели всем классом одну песню, но никому не понравилось — ни новому учителю, ни Елене Петровне, ни самым ребятам, которые пели. Учитель Ошлобану отодвинул доску в самый угол, освободив место перед классом, и сказал:

— Будем петь по одному. Давайте, кто самый храбрый.

Храбрых в четвертом «А» не нашлось, учитель уже начал было хмуриться, и Андрею показалось, что он даже собирается уйти. Ему так нравился этот новый учитель, так ему хотелось узнать, что он там еще придумал, что как-то неожиданно для себя поднял руку, вышел перед классом и потянул тоненький голосом:

Не дрожи ты, моя чарка,
Осушу, а не съем я тебя...

Учитель смеялся до слез, и учительница улыбалась, и весь класс смеялся, после чего дело пошло лихо. Через полчаса все были проверены, а на второй день на доске объявлениями в списке нового школьного хора Андрей нашел и свое имя. Он был счастлив. Ему сначала показалось, что его одного выбрали из всего класса, но выяснилось, что их было трое. Конечно, было бы куда лучше, если бы выбрали его одного, но, с другой стороны, хор есть хор, там должна быть уйма народу, и откуда ты его наберешься, если из каждого класса будешь записывать только по одному?

Репетиции проходили два раза в неделю, и это были жуткие муки, потому что петь не вели. Сидели и слушали. Ошлобану рассказывал, как надо

петь, как надо стоять, когда ты поешь. Что делают при этом твои легкие, куда смотрят глаза, как дышит ног и так далее. Потом их стали расставлять в четыре ряда, и каждый ряд уже назывался не ряд, а голос — первый голос, второй, третий и четвертый. Потом им дали по листочку и они сели переписывать текст песни «Осыпалась листва на виноградниках». Они писали и улыбались, потому что каждый младаванин уже в три года знает эту песню. Но Ошлобану сказал, что напрасно они улыбаются: в некоторых деревнях поют эту песню в искаженном виде; потому и надо писать.

Дальше репетиции стали уже интереснее. Все это было похоже на соревнование. Вот, скажем, начинает тихо-тихо первый ряд, то есть малыши: «Осыпалась листва на виноградниках». Уже во второй строке к нем еле-еле слышно присоединяется второй голос, где ребята чуть постарше. Так же незаметно, с каждой строкой, прибавились еще два голоса, и с началом второго куплета, там, где «когда ландыш будет в цвету», весь хор, все четыре голоса удивительно как-то сплетались в единое целое, и это было так прекрасно, так величественно, точно собрались вместе народ и поет, и у них румянились лица, они были счастливы.

Потом наступили новгородские праздники, и афиши у Дома культуры возвещали, что будет концерт, в котором участвует школьный хор под руководством учителя Ошлобану. День был пасмурный, и действительно, как говорилось в песне, — листва опускалась, и ласточки улетели, и люди как-то приутили. Нужно было им сказать: не теряйте присутствия духа, ландыш опять зацветут, и ласточки с юга вернутся.

Зал был полон, занавес раздвинулся, и они стояли друг перед другом, лицом к лицу. Там был зал с настоящим народом, тут был хор на сцене, сплек народ, а между ними стоял маленький, кудрявый учитель Ошлобану. Он ждал тишины. И, когда наступила такая тишина, что прямо деваться от нее было некуда, он тихо поднял руки, точно собирался сдаваться в плен, но вот его руки, как две смуглые пташки, мягко поплыли по воздуху, каждая своим летом, и вместе с ними издали донеслось:

Осыпалась листва на виноградниках,
И листочки улетели на юг...

Люди замерли, это была чистая правда. Они не знали, как дальше быть, но вот родился второй куплет, и сплелись, взорвались четыре голоса, и вздрогнул зал, и стены, и потолки вместе с привезенной из Киева огромной люстрой:

Когда ландыш будет в цвету,
К нам вернутся ласточки с юга...

Поздно вечером возвращаясь домой, Андрей услыхал за своей спиной, как переговаривались не сколько старушек, причем ясно было, что речь шла именно о нем:

— Пел, как же. Он тоже пел и стоял прямо в первом ряду...

Это было похоже на то, как если бы сказали: он тоже участвовал в штурме крепости, в первых рядах был, а что можно еще больше сказать о мужчинах, кроме того, что он тоже штурмовал крепость, причем в самых первых рядах.

К сожалению, после нового года Ошлобану женился, а та женщина, на которой он женился, не захотела переехать к нам в деревню, и он сам поехал к ней. Хор распался, и уже стали спрашивать:



что такое, почему распался хор? Даже в районной газете была заметка под таким заголовком, и тогда директор школы велел завучу восстановить хор.

Поначалу было как будто то же самое. Завуч пршел к ним в класс перед звонком последнего урока, попросил учительницу показать, что у нее есть, и она сказала: чем богаты, тем и рады. И ребята тоже стеснялись петь, и тогда Андрей вышел перед классом и спел: «Не дрожжи ты, моя чарка». Но смеха уже не было. Завуч посмотрел на учительницу, точно не Андрей, а она сама пела, и спросил грозно:

— Елена Петровна, это что такое!

Он, оказывается, совсем не понимал шуток. А может, Андрей сам был неправ, нельзя же в самом деле дважды смешить людей одной и той же шуткой. Как бы там ни было, школьный хор восстановить не удалось; вместо него решили создать танцевальный кружок, а там Андрею решительно было ничего делать.

В общем, вся эта история со школьным хором стала забываться, и только изредка, когда передавали по радио концерт народных песен и среди других вдруг царственно выпльвало «Осыпалась листья на виноградниках», у него все внутрь скималось в тоске и сердце ныло. Потому что, как ни говорите, а время уходит, и жизнь идет.

4. ЧЕРНЫЕ ЧЕРЕШНИ

Первая и самая большая радость сельских ребят в начале каждого лета — это черешни. Настеши ими досыта совершенно невозможно, потому что сидишь ты, скажем, на дереве, глотаешь их пригоршнями, и кажется, что уже все, больше не влезет, но вдруг ты увидел через забор в соседском саду другое дерево. Ягоды почти что одинаковые, но ты-то сам отлично знаешь, что вкус у них совершенно иной.

Если случится, что сосед пригласит угощаться или ты сам втихомолку проберешься в его сад, то оттуда, с того дерева, ты увидишь в чужих садах еще другие черешни с прямо-таки удивительными ягодами.

В начале лета сила и ловкость каждого парня измеряются тем, кто больше сортов черешен отведал. Сортов этих как будто не так уж много: белые, розовые, красные; потом среди этих сортов бывают крупные, культивированные, и более мелкие, которые называются дикими. Беда была в том, что люди, в чьих садах созревали эти черешни, бывали удивительно разными: одни сами зазывают ребят к себе во двор, другие хотят и косятся, но видно, что ничего не скажут, если ты залезешь на их дерево, а третьи готовы на тебя и собак спустить и в сельсовет заставить, хотя ты просто шел мимо их сада.

Самым загадочным деревом в деревне был огромный черешневый великан во дворе дяди Салавэстру. Дерево было такое большое, что целиком занимало весь участок. Других деревьев там не видно было. А может, те были маленькие или, может, там почва была слишком влажная, потому что через дорогу был пруд и на все деревья любят влажную почву. Удивительного эта черешня была потому, что только на ней созревали в конце лета маленькие, черные как угольки ягоды. Они созревали вместе с вишнями, и бывалые ребята говорили, что ничего нет в мире приятнее, чем после кислых вишненок прополоснуть рот пригоршней невероятно сладких, чуть горьковатых черешен из сада дяди Салавэстру.

Хорошо-то хорошо, но как туда пробраться? Дом стоял в низине, так что сверху, где было село, и дом дяди Салавэстру и весь двор видны были как на ладони. Надо учесть еще и забор с колючей проволокой и то, что к самому черешневому дереву все лето был привязан огромный псин, разодравший не одну пару детских штанышек на своем веку.

Люди там жили хорошие, с ними можно бы и столковаться, но их вечно не бывало дома. Сам дядя Салавэстру работал в городе, чтобы свет уезжал на своем велосипеде и возвращался поздно вечером.

Его жена работала дояркой, тоже редко когда бывала дома, а их единственная дочка училась в Кишиневе, правда, в деревне про нее говорили: что-то слишком она долго учится. То училась в техникуме, потом окончила и пошла в институт и опять же все сначала, опять учится.

В свои двенадцать лет Андрей еще ни разу не пробовал черных черешен и, сказать по правде, никаких планов не строил на этот счет, потому что откуда, в самом деле, как он мог оказаться на этом дереве? Но, как говорят его отец, иногда в жизни такое случается, что и во сне не приснится, и такое чудо действительно произошло. Как-то утром Андрея разбудил отец и сказал:

— Давай быстро, лошади ждут.

Если Андрей не то что утром, а в полночь разбудить и сказать, что лошади ждут, он пурей выбежал бы, а тут уже совсем рассвело.

Поехали они в район. У Андрея была тайная мечта научиться хорошо править лошадьми, но до самого района отец ему ни разу не доверил вожжи. Там, в районе, погрузили на телегу две пустые бочки, которые отец заказал раньше у бондаря, после чего они выехали на щоссе, отец передал ему вожжи и сказал:

— У меня тут дела, я останусь, а ты поезжай. Главное, берегись встречных машин и уступай им дорогу.

Встречных машин попалось всего две, причем одна была легковая, и они отлично разъезжались, и все было прекрасно. Лошади и вожжей слушались, и слова его понимали, изредка порываясь пойти галопом только для того, чтобы доставить ему удовольствие, и все было бы потрясающе, если бы попалась хотя один односельчанин и увидел, как Андрей умеет править лошадьми. А встречных никого, ни души, и только внизу, там, где за горой была уже деревня, он нагнал взрослую девушку. Она шла в голубом плаще, несчастье на плече чехомдан, и видно было, что ей ловко и неудобно его нести.

— Тетя, если вы идете в нашу деревню, то сидеть. Бочки в телеге у меня пустые, а лошадям совершенно все равно, сколько народу едет: двое или трое.

Девушка улыбнулась, сначала закинула чехомдан, потом и сама села, свесив ноги с телеги. Краем глаза он попытался ее разглядеть, но увидел только тонкую, длинную шею, мягкий белый овал лица и быстро отвернулся, точно его обожгло. Девушка была красивой, а красивых он стеснялся чрезвычайно. Всю дорогу до деревни он смотрел совершенно в другую сторону, и, кажется, в мире не было сил, которые смогли бы его заставить посмотреть еще раз на девушку. Он подробно рассказывал ей, как надо работать вожжами, какая лошадь как себя ведет, собираясь еще и про бочки что-то рассказать, но девушка вдруг сказала:

— Ну все, я уже дома.

С одной стороны был пруд, с другой — забор с колючей проволокой, а там, за проволокой, огромный пес катился по земле и скучил от радости. Андрей вдруг понял, что подвез на телеге дочку дяди Салавестру. Она легко спрыгнула с телеги, побежала в сад, сняла очищник с собаки, та носилась вокруг нес, выписывая восемерки от радости, и черные чешени впервые оказались без сторожки.

Девушка пришла, сняла с телеги чехомдан, сказала:

— Спасибо, что довез, и за то, что научил лошадьми править, спасибо.

Но у него не хватило сил уехать, рядом стояло без охраны знаменитое дерево с черными черешня-

ми, у него сердце колотилось внутри, и она вдруг поняла, что в нем там колотится, не зря же про нее говорили, что учится она на доктора.

— Отведи телегу и приходи, никуда эти черешни не денутся.

Уже через час он висел на дереве и упивался этим величайшим чудом из всех земных благ. Время их проходило, ягодки чуть сморщились и отставали от хвостика, едва коснешься их пальцами, но зато сладости, горечи в них было ужас сколько. Он их глотал вместе с косточками, потом косточки начали сплевывать, потом выбирал только одни крупные ягоды. Подумал, что надо во что-то собрать хотя бы пригорошки две-три, а то никто не поверит в это невероятное чудо. Собирать их было не во что, они все красили, эти черные черешни. Он подумал, что хорощо бы в кепочку наравить. Снял ее с головы, примерился и вдруг сквозь листву, в один из просветов, увидел дочку Салавестру. Она только что выкупалась в пруде и теперь в малиновом купальнике, стройная, белая и красивая, возвращалась на цыпочках по узкой бровке подорожника, чтобы не испачкать ноги. Может, одну или две секунды она шла по тому просвету сквозь листва черешни, но он не успел отвернуться, и красота, изящество молодой девушки его совершенно потрясла. Он быстро надел кепку, подождал, пока она, став спиной к нему, выкручивала волосы, затем спрыгнул с дерева, пробрался сквозь колючую проволоку, только чтобы не пройти еще раз мимо нее, и сначала тихо, а потом быстрее и быстрее побежал до самого дома. Но и дома ему было неспокойно, и он пошел в поле, на плантации сахарной свеклы, и до вечера помогал матери. Вместе с ней вернулся, но ночью ему спалось плохо, вокруг были одни просветы, по ним проходили взрослые красивые девушки, и он метался во сне. Еще две недели он не знал покоя, потом девушка из деревни уехала, а в школе началась учеба.

Но целиком эта история не ушла из его жизни. Изредка, когда попадалась на пути черешневое дерево, или когда проходил он мимо вечно закрытого домика на берегу пруда, или когда шли по улице парень с девушкой, он вдруг весь содрогался, но этого чувства уже не боялся. Наоборот, оно ему даже нравилось, и единственной его заботой было — как бы кто не догадался об этом. Он уже знал, что в жизни каждого человека бывают тайны, а истинные тайны живут и умирают вместе с самим человеком.

5. НАПАДЕНИЕ ГУННОВ

Kто бы мог подумать, что есть еще и такое горе в человеческой жизни — замужество сестры. А между тем такое горе есть, и оно настигло бедного Андрея в самое не подходящее для него время. То есть поначалу все было ничего, даже весело было. Поначалу пошли слухи по деревне о том, что сестра его выходила замуж, и его тоже стали останавливать взрослые и спрашивали: что, правда, сестра замуж выходит? Он отвечал устало, мимоходом: да, на будущий неделе свадьба — отвечал, точно ему ничего не стоило взять вот так и выдать сестру замуж.

Потом наступила неслыханная суматоха в доме — все не успевают, не то делают, у всех забоченные, перепуганные лица, и это его очень забавляло. Приходил жених. Приходил он уже не по вече-

рам, на закате, когда обычно парни заявляются к своим невестам,—приходил он и в поздень и после полудня, а другой раз не успевшь глаза прорвать, а он уже тут. Андрею было очень приятно породниться с ним — парень был сильный и ловкий.

Потом настал день свадьбы, и жених заявился с музикантами, с родичами своими, в нарядном черном костюме. Во двор к нему набилась уйма народа, пришли даже те, кто в жизни не ходил по этой улице, даже те, которые никогда не здоровались с ними. Дом сиял чистотой и убранством, всюду за столами сидели гости, при человека ведрами выносили вино из погреба и не успевали, музыканты играли во дворе так, что прямо оглохнешь, и на том самом птачке, куда у них выгружали зеленые табачные листья, танцевали чуть ли не сотни две народа, причем все умешались и всем было весело. Потом его увезли к соседке спать, потому что свадьба шла еще и всю ночь, а на следующий день, когда он вернулся из школы, сестры уже не было. Все ее приданое из третьей комнаты вывезли, и та комната, самая красивая в их доме, теперь торчала голая и неприкаянная. Та небольшая, разделенная комната его совершенно измучила, она мешала ему учить уроки, мешала играть с ребятами, мешала идти по деревне. Ему казалось, что все знают, как выглядят у них в доме та третья комната, и очень жалеют его. Мама уже не каждый день прибирались в доме, и, если отец делал замечание, она говорила: ничего, жених не разлюбил. Почему-то скор д добавился, то есть их бывало, наверное, столько же, но раньше сестра всех примиряла, а теперь мирить было некому.

Три раза день, утром, в обед вечером, они садились есть. Как и у всех людей, у них был стол, и у этого стола были четыре стороны, четыре стула, и их самих раньше было четверо, но теперь осталось трое, и одна сторона стола все время пустовала. Он никак не мог к этому привыкнуть. У них был в доме заведен порядок — есть только всем четверкой вместе, и, если кто опаздывал, остальные его ждали. И вот они садятся, но одна сторона столика пустует, и он сидит, кусок в горло не лезет. Отец с матерью переглядываются и, поскольку больше не о чем говорить, начинают воспитывать Андрея.

В школе тоже стало как-то тоскливо. Учитель истории рассказывал про нападение гуннов: тьма-тьмущая дикарь, несущая верхом на низкорослых своих лошадях, скиживают все на территории бедной Молдавии, так что одни слезы, и пепел, и дым. И подумать только — во главе их стоял карлик по имени Атила, и прозвали того карлика «Бич божий», до того страшен был. Как выглядели обыкновенные гуны, Андрею не мог себе представить, а самого Атилу видел живым перед собой. У него было лицо точь-в-точку как у того парня из шестого класса, которого за долговязость прозвали Цаплей.

Между прочим, он очень странно дрался, этот самый Цапля. Глаза наливаются бешенством, губу закусит, правую руку вытянет, пальцы на ней растопырят и так вот, с вытянутой рукой и растопыренными пальцами, идет он на противника, точно хочет загрести пятерней все его лицо — и нос, и глаза, и щеки. Схватить и вырвать живьем. Это было очень страшно — смотреть, как он лезет в драку; его побивались и старались дружить с ним: как бы он не пошел на них с растопыренной пятерней.

Андрея он никогда не трогал, но это было не так уж важно, все равно он был похож на Атилу. И как раз в это тоскливо время, возвращаясь как-то под веер из магазина с тремя кусками мыла, потому что мать Наказала купить, он вдруг встретил Цаплю. На лугу десять ребят, пять на пять, играли в свинку,

это нечто вроде хоккея, только, конечно, без коньков, потому что дело было летом, и без клюшек, вместо клюшек палки у них были. Цапле очень хотелось выиграть, он в одной пятерке был капитаном, и ему пришло в голову заменить слабого игрока. Увидев Андрея, он завопил:

— Вытаски палку из забора и давай сюда! В нападении будешь.

Андрей положил мыло прямо на траву, вытащил палку, пошёл, стал посреди поля, но играть не стал, а спросил:

— Слушай ты, долговязый, я давно хотел тебя спросить: ты, когда дерешься, почему наровишься схватить человека пятерней прямо за лицо..

Тот не понял:

— Чего-чего?

— Я говорю, ты почему лезешь на всех пятерней и наровишь...

— А тебе-то какое дело? Тебя не хватали, и скажи спасибо. Молись богу, чтобы и впредь пронесло. Будешь играть?

— Играет я буду, но ты, Цапля, сначала мне ответь.

Надо сказать, что Цапля не терпел этого прозвища. Андрей не успел сказать фразу до конца, потому что тот, растопырив пятерню, уже шел на него, целился прямо в лицо. Андрей от ужаса присел. И у него вдруг откуда-то появились силы или это, может, был страх, но он кинулся на Цаплю, ударил головой в живот, и тот упал. Катаясь по земле и вил, а Андрей прыгнул на него, схватил за шевелюру, тыкал лицом в пыль и спрашивал, приятно ли ему, когда его самого не то что хватают за лицо, а просто тыкают им в землю.

У Цапли пошла кровь из носа, и их разняли. Потом Цапля долго плакал, размазывая кровь вместе с соплями по обеим щекам, а на Андрея кинулись все те, кто дрожал от страха перед Цаплеи. Чтобы на будущее заручиться его дружбой, они били Андрея, но это уже не имело для него никакого значения: важно было, что он победил Атилу.

Домой он пришел с двумя синяками, в изодранной рубашке. Мама его чистила чистила, ругала-ругала, а отец, его старый защитник и союзник, на этот раз молчал, может, даже думал про себя, что зря он раньше за него заступался, но и это Андрея не так уж волновало. Важнее было то, что гуны были отбиты. Учитель говорил, что только после того, как отбили их, наши бедные предки чуть посвободнее вздохнули и почувствовали себя людьми. А свободно вздохнуть и чувствовать себя человеком — это, если хотите знать, может быть, самое главное в жизни.



Кайсын Кулиев



Перевел
с башкирского
И ГРЕБНЕВ



Я вам не говорил, что жизнь легка,
Но жизнь любил и славил жизнь всегда я.
Что жизнь прекрасна, хоть порой горька,
Я говорил и ныне повторяю.

И тот из нас, кто на земле живет,
Не чувствуя того, что жизнь сурова,
Откуда может знать, как сладок мед
И как прекрасно истинное слово!

Я вам не говорил, что просто жить,
Я говорил, что жить живущим надо,
Хотя жить порою — значит слезы лить
От горьких бед и непосильных тягот.

Когда был скуден хлеб, и труден путь,
И гасли очаги, людей не грея,
Я жизни постигал все ту же суть,
Участь у тех, кто был меня мудрее.

И ныне, как в бытые времена,
Закон, который подтвердили годы,
Я повторяю, видя из окна
Чинар, что вынес бури и невзгоды.



Сон, счастливый сон приснился мне,
Закружился над моей постелью:
Прежний мальчик, я бежал во сне
Летом по Чегемскому ущелью.
В мальчике, который так красив,
Я и сам себя узнал не сразу,
Никаких грехов не совершил,
Я еще не каялся ни разу.
Горы отдаленные белы,
Скалы с двух сторон стоят стеною,
Надо мною кружатся орлы,
И река грохочет подо мною.
У меня еще довольно сил,
Чтоб весь мир дарить своей улыбкой.
Я пока еще не совершил
В жизни ни одной своей ошибки.

Я иду, смеюсь, я не боюсь
Никакой промашки киль оплошки,
Мне пока еще неведом вкус
Мерзлом броквы и гнилой картошки.

Я иду, не маюсь от жары,
Встречным людям радуюсь заране,
И моя давнишние вихры
Треплет ветер где-то на поляне.
Сильный я, совсем еще здоров,
Я бегу, не чувствуя удушия,

Не дошел еще я до мостов
Равнодушья, страха, малодушия;
И вокруг аулов нежилых
Нет еще в моем родном крае,
И о том, что я увижу их,
Ничего пока еще не знаю.

Я иду, никто в меня пока
Не стрелял, не целил и нюктуда,
Да и сам ни в одного врага
Я еще не выстрелил покуда.
Я, который глуп еще и мал,
Ни благаства не познал, ни славы,
Вслед еще никто мне не бросал
Слов несправедливых и неправых.
Снилось: в свете солнечного дня

Я иду по дорогому краю,

И того, что в жизни ждет меня,

Я себе еще не представляю...



Случалось, помню, в дни войны не раз:
В тот час, когда в родном селеньи где-то
Свершила мать обычным своей намаз,
На бой звала сигнальная ракета.
Молилась мать, молила за меня,
Чтоб я домой скорее воротился,
Чтоб невредимым вышел из огня,
И луч надежды перед ней светился.
Лягаса молитва там, в родном краю,
На поле боя кровь моя спекалась,
И, может быть, отчаянность в бою
С молитвой матери соединялась.
Сгорали в мире города дотла,
Друг с другом целые народы бились,
Кровь сыновей людских текла, текла,
Их матери молились и молились.
И как бы ни менялись времена,
Все века бывало так от века:
Молитва сотворялась, шла война,
О том свидетельствуя, как трудна
Жизнь человека...



И кто-то в эту самую минуту
Готовит снова пушку, может быть,
Которая должна меня убить
По замыслу мудреному чье-то.
И, может быть, сейчас куют кинжал
И кто-то, движимый понятием ложным,
Вонзят его в меня, чтоб я упал,
Окрасив кровью камень придорожный.
Вонек я хлеба не лишил людей,
В дома их не врвался среди ночи.
Так почему же гибелью моей
Неодолимо кто-то озабочен!
Я жив, не убивал людей других,
Я не стремился к злобе одержимо.
Во имя же каких идей благих
Кому-то смерть моя необходима!
Несчастья никому я не желал,

И чью-то кровь я сам пролить могу ли?
Но точат где-то на меня кинжалы
И лютят мне уготовленные пули.



Мир снова полон страхов и тревог,
И где-то снова громыхают войны,
А здесь, в горах, как мой отец покойный,
Спокойно горец складывает стог.
Сегодня, как в минувшие века,
В горах звенит коса, траву срезает,
И сено свежее благоухает,
И в небе проплывают облака.
Летят устом, рушатся твердыни,
И миру беды новые грозят,
А кучи сена, скоженного ныне,
Лежат, как сотни лет тому назад.
Стонут косары, и, как его предтечам,
Лес и поляна, скоженная сплошь,
На не менявшемся с тех пор наречии
Твердят ему: «От жизни не уйдешь!»
Я вижу: над землею птица кружит,
Пасутся где-то буйволы вдали,
Как будто огнестрельного оружья
Покуда люди не изобрели.
Ложится солнце косарю на плечи,
Над головой сияет белизна,
Как будто мир, где настает мой вечер,
Не сотрясала ни одна война.
Траву сгребают граблями спокойно,
Степенный горец складывает стог
Так, будто в мире вовсе нет тревог
И отгремели все на свете войны.



Тихо умер человек больной,
Так с открытым взглядом и остался,
Будто что-то после под землей
Он еще увидеть собирался.
Или, может, взглянул от земли
Не хотел он отрывать вовеки,
И, как ни старались, не могли
Мы ему закрыть сплешевые веки.
Он глядел на мир, где жизнь прожил,
На цветущий край, знакомый с детства,
Будто бы на все, чем дорожил,
Не успел при жизни наглядеться.
Будто этот бедный человек
Бывнов хотел увидеть в небе птицы,
Поле за рекой, на склоне снег —
Все, с чем не успел еще проститься.
Где-то под горой текла река,
Мул тянул телегу вдоль обрывки,
Два уже не видящих зрачка
Отражали то, что было живо.
И покалек недвижим членовек.
Мертвым взглядом он прощался с нами.
Так он на последний свой ночлег
И поплыл с открытыми глазами.



Когда скорело все, что ни на есть,—
Трава покухала, и листва увяла,
Пролился дождь, ненужный, словно весть,
Что опоздала.
Пролился дождь, ненужный и покожий
На крик о помощи, пронзивший ночь,
Который услышать никто не может
Из тех, кто б мог зовущему помочь.
Был щедрым дождь, старался литься честно,
Но ничего он изменить не мог,
Как слово, сказанное неуместно,
Иль милость, совершенная не в срок.

Мансур Векилов



В Шувелянах:

Я ступаю по утреннему песку,
Зябко пальцами шевеля.
Остужающей струйкой скользит по виску
Шелестение Шувелян.
Каспий — песк голубой на незримой цепи —
Набегает, гремя и шипя,
И песчаную дробью сквозит по степи
Шелестение Шувелян.
Первый норд, увидавший первый прогноз,
И — предчувствием дальним томим —
Первый раз я с тобою прощаюсь всерьез,
Альвида², Ашперон-муаллим^{3..}
Я в долгу пред тобой, виноградный лицей,
Хоть за этот нешуточныйdar:
Через белые зимы несу на лице
Негативом твой добрый загар.
И в какой-нибудьд миг от тебя вдалеке
Я вижу, печаль затая,
Серебристо рыбкой на смуглом песке
Мне блеснула улыбка твоя...

Первый урок

Маленький мальчик с мелом в руке
Смело подходит к огромной доске.
К той, что чернеет на белой стене,
Словно ночные небо в окне.
Храбрый малыш, он усвоил едва
Самые первые в жизни слова.
Храбрый малыш, он не знает пока,
Что бесконечна, как небо, доска...
Словно бы в стекла слепком мотылек,
Бьется о доску белый мелок,
Сыплются крылышки-крошки во тьму,
Но абсолютно не страшно ему
И что сотрется надпись, не жаль.
Маленький мальчик,
Звездная даль...

¹ Шувеляны — курортное местечко на Ашпероне в Азербайджане.

² Альвида — прощай.

³ Муаллим — учитель, уважительная приставка к имени.

Станислав Куняев



Холод весенней земли,
птицы любовные трели
в поле меня увили,
душу мою отогрели,
и потому, что снега
вдруг растеряли суровость,
стала мне жизнь дорога,
как долгожданная новость.
Время всей сутью своей
глухо умрет в человеке.
Но из седых тополей
прут молодые побеги.
Вспенив лесные ручьи,
жизнь, ты недаром хлопочешь —
вы boltай в звездной ночи
все, что ты знаешь и хочешь,
чтобы во имя тебя
выли машины, бусы,
и, в бесконечность летя,
спышался звук поцелуя,
чтобы, свободно слуха
слову, судьбе и отчине,
не уставала душа —
вечная спутница жизни.



Надоела мне радость чужая,
надоело, с привычной тоской
всю душевную стать обнажая,
вам рассказывать, кто я такой.
А в Небесных горах в это время
с перевалов сползают снега,
знать, недаром в железное стремя
по весне запросилась нога.
Да спасет меня дело мужское —
вьюнить выюки, седлать лошадей
и сверкающем лунном просторе
вспоминать про любимых людей...



В мокрых кустах краснотала
хрипло кричит пустельга.
Синее небо упало
на заливные пуга.
Звонкоголосые жабы
томно поют в бочагах.
Простоволосые бабы

варят еду в очагах.
В набережном окопотке
вьются дымы вдоль реки —
узкие черные подки
дружно смолят земляки.
Сколько здесь некогда было
памятных сердцу следов,
но половодьем их смыло
с милых моих берегов.



Как водится, сизнова, снова
мы с матерью все о своем.
Мы все понимаем с пол слова,
когда остаемся вдвоем.
Опять возникают из тлена,
из тени вчерашнего дня
фамильные наши колена,
родные мон и родня.
Не то, чтобы я образцовый
хранитель семейных бумаг;
но все же к своей родословной
я неравнодушен никак.
Тем паче, что бабкам, и дедам,
и теткам моим, и дядям
пришлось причаститься к победам,
ко всем историческим бедам,
ко всем эпохальным путям.
К тому же там необходимо
и вам, и кому-то, и мне
себя ощутить на родиной,
а не на случайной земле,
в которой забытые предки
лежат, ни о чем не тужа,
где с каждой распутицей реки
клокочут, обрывы круша,
где память и жизнь неразрывны,
где пищи хватает уму
над связями правды и кривды
задуматься, глядя во тьму.

Весенний туман

Что видится в этом тумане —
какая житейская гладь?
Быть может, какое желанье
под этот туман загадать?

Недаром в такие погоды,
несущие теплую дрожь,
клюбящиеся грядущие годы
иль прошлые — не разберешь.

Недаром укрылись в тумане,
ползущем с прибрежных полей,
и новых громад очертанья
и контуры древних церквей.

Колышутся милые лица,
во мраке сияют глаза —
вся жизнь и плывет и двоится,
сбиваясь на все голоса.

Как будто, собираясь в дорогу,
не я, а какой-то другой
уходит с родного порога
и матери машет рукой.

И линия черного бора
едва пропускает на свет,
как эхо того разговора,
которому тысяча лет...



ВЛАДИМИР ГОНИК



ДЕНЬ БАБЬЕГО ЛЕТА

ПОВЕСТЬ

1

Улицы были еще сонливы, и пусты, и влажны после ночной уборки. В тишине за домами вставало солнце. Раздувая белые усы, Арбатскую площадь обходила полицейская машина. Брызги горели на солнце. В них рождалась и пропадала маленькая радуга.

Все выглядело свежим, чистым, и вывеска — белое на синем «Молоком» — добавляла опрятности и прохлады. Возле молочной остановился фургон, шофер ловко выгружал сетки с бутылками.

Наступила осень, бабье лето, окна на ночь уже закрывали, но некоторые оставались открытыми, и слабый ветер шевелил разноцветные шторы. Где-то зазвонил будильник. Донесся шум убегающего троллейбуса, просвистел за домами — дальше, дальше — и стих.

В одном из арбатских переулков, в старом желтоватом доме, спал мальчишка. Остриженная голова, розовое лицо, губы сонно распущены. Уличный воздух слабо теребил шторы, и солнце вспыхивало и гасло в переменивших щелях, а солнечные блики бродили по комнате и шаряли по углам. В углах валялись коньки, клюшка, футбольный мяч, на стене висела гитара, а на столе поблескивали металлом магнитофон и транзистор.

В комнате еще стояли чертежная доска, книжный шкаф и аккуратно застеленная вторая кровать. Солнечные блики добрались до полок и отразились в стекле.

2

Пока младший брат спал, Виктор спустился на улицу и побежал. Он пробежал мимо посольств, булочкой, молочной... Этой дорогой он бегал каждый день.

Дышал он ровно, размеренно и бежал легко, без напряжения. Взгляд скользил по знакомым старым домам, не задерживаясь: каждый камень Виктор знал наизусть и никогда не замечал тихой приветливости арбатских домов и переулков, по которым настоящие москвичи тоскуют в чужих местах.

Так он бегал круглый год в любую погоду. Антона мать жалела, поднимать не давала: «Он у нас младший, еще хлебст...»

Виктору брат казался сонным и рыхлым. Не знает, чего хочет, плывет по течению; даже спортом занимается от случая к случаю, пуговицы коллекционирует — нашел увлечение. А вырос под метр восемьдесят... То торчит дома вечер напролет, мечтая, то шляется неприязненно где-то до полуночи, то сидит на сквере с гитарой. Пожестче бы с ним, перекроить — упустили время. А Лена сказала задумчиво:

— Определится... Людей не кроят, учат, — и добавила невесело: — Ты хороший конструктор, — как будто сожалела, как будто подытожила прежнее.

Не нравилась ему в ней эта, как он называл, «гуманистическая». Он вообще не любил неопределенности, не любил, когда в людях не было четких граней.

В мире все точно и определено: черное и белое, холодное и горячее, правое и левое... Все ясно, понятно, все известно, и можно все объяснять.

Когда Лена готовила обед, ходила на работу, когда изредка отправлялась с ним в гости, в театр, а чаще в кино, когда стремительно и резко, по-музыкански играла в пинг-понг, когда они вместе с приятелями ходили в походы, Виктор был спокоен: все на лицо, понятно, правильно, нормально.

Но временами, после чтения, или музыки, или просто сама по себе она подолгу необъяснимо сидела, не двигаясь, точно оцепенев, невидяще глядя перед собой.

Она становилась далекой и непонятной, отделенная от него скрытым преградой; он испытывал раздражение и смутную тревогу.

Бывали дни, когда она часами бродила одна. А он не позволял ей так транжирить время: чтобы набраться кислорода, достаточно двадцати минут. Он твердо знал: делу — время, потехе — час.

То, что было в ней зыбкого, ускользающего, неопределенного, чему он никак не мог подобрать названия, он относил за счет ее филологии. «Тоже мие наука», — говорил он.

Он забывал об этом, когда жена легко и гибко шла навстречу: светлые волосы, большие зеленые глаза, длинные, стройные ноги, — прохожие обращали внимание; когда она взорвально нападала топтышами, посыпая шарик в край теннисного стола, улыбаясь и локтем отводя волосы после удачного удара; когда быстро и экономноправляясь с домашними делами; когда была точна в характеристиках, обязательна в обещаниях и совсем не по-женски пунктуальна во времени.

Но иногда...

Он не понимал, как один человек может быть так переменчив. Или даже не то... Не меняясь, быть таким разным в одно время.

Иногда она была рассеянной, непонятной, противоречивой. Она как будто уходила от него, оставаясь рядом. И часто ставила его в тупик. Ни за что на свете он не стал бы трястить ночь на книгу, выпрошенному до утра. А Лена могла. И даже посмотривала на него с сожалением, когда он гнал ее спать.

Как будто он не требовал того, что правильно и normally, а сам попадал впросак.

У них не ладилось. Периоды благополучия и покоя сменялись раздражением и непониманием. И вот уже три месяца не виделись, хотя и не развелись.

Он обежал переулками круг и вернулся. Вошел во двор, замкнутый домами, достал из кармана резину, но виду у всех окон принялся за гимнастику. В домах за много лет к нему пришли: пропусты дены — всплываются.

Скамейки, грибок, борта песочницы были еще в росе. Сырой, темный песок выгляделвязким. Виктор, напрягая мышцы, растягивал резину. По утрам положено делать гимнастику. Он знал, что жить нужно просто, и старался жить просто — изо дня в день делать, что положено.

Положено работать, бывать в театрах, музеях, развлекаться, читать художественную и техническую литературу, повышать уровень. Полезно по углам бегать, делать зарядку. Духовное должно сочетаться с физическим. Будем гармоничны. Хочешь не хочешь — надо! Жизнь проста, не нужно только уложиться. Он, как часы с самозванием, заводился от движений; пружина всегда оставалась тугой.

В парадном было сумрачно, пахло кошками. Широкая лестница, ступеньки мелкие, как в больнице. Когда-то на площадках между этажами висели зеркала. Теперь лишь внизу остался темный щербатый осколок. Виктор заглянул: из черноты и трещин вылезались глаза. Короткие волосы, прямой нос, сухие скулы, ничего, лицо твердое, надежное. Он побежал вверх.

На втором этаже за дверью, как всегда, кричала Прасковья Банина, работник прилавка. Как всегда, она обличала соседей, погрязших в грехах, и поминала строгие и праведные быльевые времена. Когда-то у нее был муж, но бежал давно, скрылся, законспирировался, исчез. И считалась она как бы снова девушки. Оттого и кипела Прасковья гневом.

Виктор открыл дверь, пошел по длинному коридору, в котором висели корыта, велосипеды и стояли шкафы с висячими замками.

Давно можно было получить новую отдельную квартиру в светлом доме где-нибудь у Речного вокзала, в Тушине, в Щукине, у Серебряного Бора — там, где просторно и чисто, и всегда свежий воздух, а поблизости лес и вода, и взгляд не замыкается, как здесь, на стенах домов, а постоянно видно далеко. И толчей нет, мельтешины, как в центре, нет пурпурные переулков. Все просто, ясно, геометрично.

Он не понимал странной привязанности матери к тихим, застенчивым переулкам, по которым в начале лета пылал тополиный пух, к извечной буточной и молочной, к маленьенным зеленым дворам и меланхоличному Гоголевскому бульвару. Но матери терять Арбат — отдирать живое с кровью.

Она ждала его с завтраком во второй комнате. Когда-то у них была одна большая, но после его женитьбы разгородили.

— Спит? — спросил Виктор.

— Пусть поспит, последний день... — вздохнула мать. Она вспомнила что-то, опустила голову.

— Мать, ну что ты все сначала! — сказал Виктор.

Она молча включила утюг, постелила на другой половине стола одеяло. Потом вышла в громадную общую кухню, в которой стояло множество столов

и несколько газовых плит, сняла с веревки белье. Вернулась, села ждать утюг и сидела печальна, как будто болела.

— Пойми, он не на фронт идет, просто в армию,— сказал Виктор.— Как другие мальчишки.

— А вдруг война?

— Да какая война!

— Газеты пишут...

— Тебе хоть не давай читать. Сейчас мирное время! А война — все пойдем, не он один.

— Ты-то институт окончили...

— И он мог... Кто мешал! Ему, видишь ли, деньги нужны были. Транзистор, магнитофон... Вот и пошел зарабатывать на игрушки.

— Молодой еще, все ему хочется. Сейчас у всех есть.

— Ничего, в армии поймет, что к чему. Мы не научили, сержант научит.

Мать лизнула пальцем тронула утюг, стала гладить. Виктор допил кофе и встал.

— Антону к пяти,— напомнила мать.

— Я знаю, отпрощусь,— ответил Виктор.

Он ушел, а она печально гладила трусы, майки, носки... Антон спал.

тами, белый Сордюр. В разные стороны, как в парке, шли аллеи, заросшие сиренью. И только вдали, за кустами и деревьями, смутно проглядывались корпуса. Как павильоны в Сокольниках. Он даже разочаровался.

Антон ожидал скоплений труб, эстакад, бетонно-стеклянных разновисоких корпусов, связанных металлическими лестницами и переходами. Как на рисунках в книгах. Он никогда не видел заводов вблизи. Ни он, ни одноклассники.

По вечерам они сидели на бульваре с гитарами. Постукивая, похлопывая, пели баллады битлов, цыганские песни, с надрывом, жестоко жалея свою пропавшую судьбу и себя, но иногда просто и грустно «Однозвучно гремит колокольчик» или «Степь да степь кругом» — в этих похмельных городских парнях вдруг просыпалось что-то давнее, протяжное, забытое, чего они и не знали вовсе, но вот ожило, повело.

Они заранее все обсудили и решили. После школы пойдут вкалывать, заработают, купят магнитофоны, транзисторы, мотоциклы, приоденутся. Тогда и сойтись достойно можно, с девчонками, и пойти, куда хочется, а не сидеть на скамейке, щупать карманы штаны, удить копейки. И поехать куда-нибудь... А дальше видно будет. Потом, когда-нибудь, успеется...

5

B первые за два года он спал так поздно в будний день. А два года назад он впервые встал непривычно рано, раньше брата, и впервые пошел на работу. В тот день многое было в первый раз. И автобус, которым он потом ездил всегда, и дорога, и завод... Его удивило, что многие в автобусе здоровются, хотя входят и выходят на разных остановках. Потом, позже, он узнал, что в этот час каждый имеет свой автобус, свой трамвай или троллейбус и своих попутников — изо дня в день, многие годы. А раньше он думал, что совпадения случаины, люди ездят как придется, как он сам, прыгали на то, чтобы подвернуться и редко-редко встречали знакомые лица.

Он представил, как по всей Москве люди едут на работу, и вот их стало на одного больше: он, Антон, сам увеличил их число — впервые едет вместе со всеми, и это еще не работа, только дорога к ней, но и она знакомит людей и собирает их вместе.

6

Ot проходной дорога шла мимо темно-красного старого здания. Над щербатой кирпичной стеной чернели закопченные стекла в два этажа. С другой стороны тянулись желто-белые штабели свежих досок. Пахло деревом и смолой.

Это был еще не завод — начало. Завод угадывался за углом здания. Оттуда шел тугой ровный гул. Из него вырезались отдельные временные звуки: вой пилы, металлический скрежет, звонкие удары, шипение сварки. Когда звуки исчезали, мерный рокот заполнял пространство впереди. Это было похоже на невидимое за дюнами море. Море он видел однажды. И сейчас, как тогда, ждал с нетерпением и тревогой, что откроется перед ним. Ждал, пока шел вдоль стены.

Антон увидел просторную площадь, покрытую асфальтом и обсаженную деревьями. Газоны с цвет-

У начальника литейного цеха было смуглое лицо, черные волосы и печальные черные глаза. Очки глаза увеличивали, наполняя все помещение скорбью. Он грустно смотрел на Антона: множество таких мальчиков перебывало здесь — сначала с направлением отдела кадров, потом с обходным листком. То же будет и с этим. И прическа подтверждает: волосы на лбу и на ушах. Начальник был спокойен и мудр, все знал наперед.

Он вызвал мастера Черняковского, представил Антона, сказал грустно: «Желаю удачи» — и вновь озабоченно склонился над бумагами: надо было выполнить план, а людям не хватало. Антон понял: в глазах начальника он не работник, один из многих — мелькнет, исчезнет.

Антон вышел за мастером в коридор. Мастерironически осмотрел его прическу и спросил:

— После школы?

— Сбежишь скоро?

— Почему сбегу?

— Для литеинки образования много.

— Посмотрим...

— Посмотрим, — усмехнулся мастер и открыл дверь.

У Антона даже дыхание перехватило.

7

Pень и ночь гудели вагранки. Самым острым был момент, когда пробивали летку. Он всегда казался внезапным, хотя его все ждали. В отверстие ударял жидкий чугун. Становилось шумно и жарко. Пыль застила свет, гуляя черный ветер. По стенам и закопченным стеклам криши металлись огненные сполохи и громадные тени.

Белая струя по дуге падала в громадный обожженный ковш. Цепь наполнялся каленым светом, гул закладывал уши. Подъемный кран поднимал ковш и таскал его через весь цех. Из ползущей под крышей кабиной вниз поглядывала крановщица. С

ковшами на длинных ручках бегали разливщики, заливали металлом формы. На черных, как у негров, лицах горели белки глаз. Новичку казалось, что он попал в преисподнюю.

Здесь нужно было смотреть в оба. Если кто-то стоял на дороге, в спину громко и зло орали. Первое время Антон настороженно вертел головой; услышав крик, дергался, отлетал. Это примирили и, развлекаясь, неожиданно рявкали в спину, просто так, для смеха,—его как ветром сдувало. Потом ничего, привык...

Вначале казалось, что в гротах, в спешке, в горячке, в непрерывном движении нет никакой системы, все беспорядочно и суетно. Но, привыкнув, присмотревшись, он заметил продуманность в каждом шаге и во всей работе. Черноволосый скорбный начальник цеха не зря корпел над бумагами. Все знали свои места и свой путь по цеху от ковша к форме. И плавки шли добрые, без брака.

Были редкие минуты, когда цех замирал в своей пустынной громадности, длинный, емкий, погружаясь в сонное одцепление, в протяжную тишину — только пыль дрожала и роилась в столях света, опускавшихся сквозь просветы в стеклах. Все громадное застекленное пространство наполнялось тайным значением пустоты и беззвучия.

Даже тогда, когда Антон сам все здесь знал, был уже не учеником — рабочим, чех часто и неожиданно открывалась необычайная, скрытая стороной и скрытым смыслом общего труда. Это узнавание длилось долго и, казалось, будет длиться всегда.

Ему нравилось чувство приобщенности, хотя он его не понимал, и чему-то серезному — к длинному прокопченному зданию с запахами обожженного камня и формовочной земли, к огню и металлу, к множеству связей, которые сплетались здесь между людьми.

Антон никогда раньше не думал о людях вокруг. В цехе все они сначала казались одинаковыми. Постепенно он стал их различать.

Он узнал, что Полов ждет ребенка, Мирошинченко по воскресеньям ездит на личный рынок, Поликарпов ловит рыбу, Лурье жонглирует. Зарубин вырезает из журналов красивых женщин. Нельзя было бок о бок работать с людьми и ничего о них не знать. Даже о мастере Чернаковском, который скрывал свое настоящее имя Ануфрий, а придумал себе, как ему казалось, более красивое — Арнольд. Антон узнал, что у него взрослый сын, а жена Чернаковского звонила иногда в цех и низким голосом просила передать мужу, чтобы он развесил белье, если вернется домой раньше, чем она. И однажды Чернаковский проговорился, что в юности мечтал быть известным футболистом.

Теперь Антон понимал в цехе каждое слово. Он понимал даже то, что не говорилось: выражение глаз, взгляды, молчание. Особенно ему нравилось, когда случалась срочная важная работа.

Все молча и слаженно двигались, чувствуя рядом друг друга, как в хорошей хоккейной команде: пас, не глядя, на свободное место, а партнер уже там, должен, обвязан — нет, даже не это, просто знает, где ему быть. И вот работа идет сама, без усилий, легко, накатано — вагон софта толкнули под уклон. Все было ясно, понятно. И все оттого, что они знали друг друга и друг в друге были уверены. Цех вызывал уважение. Это было что-то твердое, настоящее, не на словах.

Когда, отворачивая лицо от ковша с раскаленным чугуном, Антон бежал по цеху, когда напряженно

следил за красно-белой струей, наполняющей форму, и позже, когда чугун, темнея, остывал и твердел, Антон не думал, зачем все это. Он не думал, куда пойдут детали и для чего они вообще. Он как будто был отрезан от их дальнейшей жизни. Его дело было наполнить форму чугуном, осталось его не касалось.

Но однажды, когда он выходил из проходной, раздвинулись ворота, и громадные грузовики с прицепами повезли дощатые ящики, на которых были написаны далекие адреса. Антон представил эти далекие места и неожиданно подумал, что в этих ящиках егоработка. Эта простая мысль удивила его. Оказывается, то, что он бездумно делал изо дня в день, эхом откликнулось вдали. Тогда он подумал, сколько машин работает повсюду с его помощью; он представил все эти машины — выходило немало.

Они не могли работать без него, как не могли без многих других, незнакомых людей. Он подумал, что связан теперь с множеством людей, которые его не знают, и все они накрепко связаны своими машинами. Так ему представилось движение, которое продолжало его бег с ковшом к форме, и далекий результат этого бега.

Грузовики тяжело перевалили через помост над рельсами и скрылись в переулках. Антон постоял минутку и повернулся назад.

— Забыл что? — спросил вахтер.

Антон вернулся к цеху, но внутрь не зашел. Он стоял у входа, пока не выехал электрокар с деталями. Он проводил их в механический цех и впервыешел за ними, как экскурсант, от станка к станку, которые их обтавливали, сверлили, фрезеровали — и так обошел весь завод, пока не добрался ск сборочному конвейеру. Здесь его детали попадали на свое место, теряясь среди других; ее уже не было видно, но он знал: она здесь, внутри, без нее никуда.

С тех пор при виде грузовиков, выходящих с ящиками из ворот, он сразу представлял весь долгий путь своих деталей. Но в самом начале был он, Антон, с ковшом на длинной ручке. И когда он бежал к форме и, напрягаясь, опрокидывал в нее красно-белую струю, он знал, что будет дальше с оставающим чугуном, пока грузовики не выедут с ящиками за ворота. Антон даже гордился, хотя не понимал своей гордости: просто приятно было, что с него все начиналось. В работе появился смысл. Антон не думал, не понимал отчетливо, но угадывал в работе всеобщую связь людей.

Когда все увидели, что Антон работает не хуже других и вроде не собирается бежать, ему простили и среднее образование и прическу и признали своим. Даже начальник, заметив его, удивился, узнал: его печальные глаза расширились превеличенно за круглыми линзами. Он подумал, что в своей калькуляции может рассчитывать и на этого лохматого парня.

С мастером отношения складывались сложно. Чернаковский был флюгером и то говорил грозно: «Целых семь дней!» — то скромнейко: «Всего одна неделька...»

Это был суеверный маленький человек. На мелком теле крупная голова, сухие, ломкие волосы, птичье лицо. Ноги у него были короткие, и, когда он торопился, казалось, что он катится на колесиках.

Торопился он всегда и везде. Любое дело, пустяковое без него, при нем оборачивалось грандиозной проблемой, для решения которой требовалось напряжение всех сил и громкий клич.

Чернаковский стремглав срывался с места и бросался в работу, как в драку, не щадя ни себя, ни других, разводил жар до небес. Начиналась суматоха, стены ходили ходуном от трудовых усилий. Ему все казалось мало — орал, крыл кого-то, распалился и взвинчивая себя еще больше. Все бешено вкалывали и в конце концов делали что нужно.

Потом выяснялось, что начали не с того и делали все не так, часами через голову левое ухо правой рукой... А можно было сначала минутку подумать и сделать все просто и тихо.

Они не раз сталкивались. Мастер редко разбирался, кто прав, кто виноват. Главное было принять меры. Как будто включался мотор, стоящий на по-следней передаче. Следовал взрыв, и мастер нес без дороги, закусив удила.

Разойдясь, Чернаковский на ходу придумывал коробки обвинений; он вообще любил приврать. Но, обругав зря и попав впросак, никогда не извинялся. Рассказывал анекдот и делал вид, что ничего не произошло.

В работе он признавал лишь горение и порыв и не любил тех, кто работал тихо и скромно. И, было, этим пользовались: некоторые клокотали, бездельничая.

Бывшие однокашники не раз звали к себе. Дима Лаптев работал электриком в жкх, Саня Гуляев — слесарем в ремонтной мастерской. У них случались чаевые и «левая» работа, и, как ни говори, это не литьевой цех.

Но Антон не ушел. Дело было вовсе не в том, что уход зачитается победой Чернаковского, и не в том, что обходной лист пришлось бы подписывать у начальника цеха. Он, конечно, подпишет, но расчтывать на Антона перестанет.

Антон угадывал, не понимая ясно и не умея назвать, что в длинной цепи, которую представлял путь его детали по заводу и дальше, выпадет одно звено. Конвейер, разумеется, не станет, и грузовики по-прежнему будут вызывать из ворота ящики с адресами, но он, Антон, выпадет из единой связи, соединяющей многих людей, и окажется в стороне.

10

После работы он принимал душ и ехал домой. Всегда одной дорогой. На ней все было известно, каждый дом, каждый столб. И та старуха с собакой, и толстая продавщица мороженого, и постовой на углу. Даже люди в автобусе, кроме случайных. Изо дня в день, в одно время. Иногда он задерживался: играл за цех — летом в футбол, зимой в хоккей. Но дома всегда одно и то же. Книги брата мудрены, в библиотеку тащится неохота. Послоняется до вечера, вечером телевизор. Но больше сидел по-прежнему с ребятами на бульваре, брачкали на гитарах. И магнитофон был теперь, и транзистор, и деньги, но как-то все лень, тускло. Даже пуговицы бросил собираять.

По выходным ездил в Лужники. Во дворце или на большой арене людно, все заводятся, можно по-рвать, отвести душу. Можно посидеть потом в шашечной, потрепаться.

Изредка он заходил к Галке, бывшей одноклассницей. Они никогда особенно не дружили, просто жили близко и еще в школе виделись чаще других.

18

Она поступила в иняз. С первым студенческим годом Галя сильно изменилась, стала красиво и модно одеваться, обрезала волосы. Все меньше было им о чем говорить. У нее зачеты, однокурсники, кафе «Лингва» — помолчат или переберут кто где.

И катились все само собой, час за часом, опадали дни, недели и месяцы, год сменил год. Прошли и исчезли, как капли в песке. Минуло два года. И все это время скреблась в Антоне надежда, что переменится что-то, переломится, пойдет по-другому, что-то случится. Он ждал. Ничего не случилось. Но не об этом речь.

Настал день, когда он получил повестку из военкомата.

11

Губы Антона дернулись, вздрогнули смежные веки. Он открыл глаза, но был еще там, во сне, смотрел невидяще, замороченно, не узнавал предметы. Потом взглядел, повертел, стал яснее. Антон что-то вспомнил, вскочил, с ужасом посмотрел на часы. Было девять. Он рванулся к одежду, остановился и, сообразив, что спешить некуда, вяло сел на кровать.

Он сидел, как гном на пеньке: голову опустил, локти положил на колени и кисти рук свесили между ног. Вдруг пропала привычка к окружавшим давним вещам. Он разом почувствовал время, прожитое здесь — с детства до сих пор. Каждый предмет внезапно открылся не только самим собой, но другим, полным значения. Ключи, коньки, игрушечный пистолет, письменный стол, за которым просидел десять лет, старый круглый будильник, настольная лампа, продавленное кресло, разрезной нож — ничего этого с ним не будет. Теперь, когда он уезжал, все, что его окружало, виделось иначе.

Последние дни веселился. Сейчас вдруг впервые не понял — угадал: разом отсекается все, что было до сих пор, уносится, остается позади — все, к чьему привык. Вместо «есть» становится «было». Всерьез, надолго... Стало страшно.

Он сунулся к зеркалу, взглянул на себя стрижекного. Ничего себе прическа! Быстро достал из стола фотографию, последнюю перед стрижкой: волосы, гитара — нормальный человек. А теперь... Голова голая, уши торчат. Чтобы заглушить страх, сталgrimасничать, а потом скорчил такую рожу, что сам развеселился.

12

Со стопкой глаженного белья вошла мама. Антон зевнул, в зевке протянул «доброе утро», вышло сладко, неразборчиво, мычливо, томно. Она с жалостью посмотрела на него, голого, сонного, теплого — какой из него солдат, сложила белье на ступе.

— Постал бы еще, сынок..

Антон скжалился весь, расправился, потянулся, потер лицо ладонью.

— Что-то много ты мне собрала, — сказал он.

— Ничего, пододенешь свое. Своя ноша не тянет.

— А носков зачем столько? Портянки дадут...

— Говорят, если портянки намотать на носки, не сбиваются ноги.

Он дернулся, выпятил грудь, стукнул голыми пятками, отдал честь.

— Ничего, мать... Не сбьем!



Было непривычно завтракать в это время. В будни работал, по выходным валялся в постели. И еда отличалась — утро после праздника: шпроты, сардины, сухая колбаса, сыр, паштет, хлебец — мать постаралась. Готовила снеди к прородам, но Антону сегодня можно все целый день.

— Пойдешь кудах? — спросила мать.

— Погуляю, — сказал он неопределенно с набитым ртом.

Она молча положила на стол десять рублей.

— Ты у меня молодец, — засмеялся Антон.

Сегодня он принадлежал себе. Он еще не знал, как проведет последний вольный день. Каждая минута выбросла в цене. Завтра — казарма, строй... Сегодня еще сам себе хозяин. Но все меньше, все короче... Время тягло.

Придумай бы что-нибудь... Собрать парней, девчонок, рвануть куда-то. Чтобы всего вдоволь — запомнить, врезать в память.

И провожать его некому. Не было у него подруги. У всех были, а у него нет. Не мог выбраться. Это как вагоне метро: сидишь, пляшись на девушку, но вот остановка, и выходит новая, еще лучше, и ты уже смотришь на нее и забыл о прежней. А поезд несется к следующей остановке.

Он медленно оделся, спустился вниз, лениво побрал по переулку. Солнце пригревало, но не настойчиво, а по-осеннему, застенчиво, не знойно. Девчонки были еще зелеными, но уже проглядывалась желтизна и не так виделась, как ожидалась.

Все было, как всегда: посольства, буличная, молочная... Вывески contadorы, две старухи у двери, афиши доска, кошка в окне... Он шел спокойно, даже благодушно. Но внутри, в глубине, как опухоль, гнездилась тревога. И временами вспыхивали в памяти отрезанные слова: «Последний нонешний денечек...»

Через проходной двор он вышел на пустырь позади школы. Мальчишки играли в футбол.

Этот пустырь передавался поколениям прогульщиков как самое сокровенное. С первого класса, сколько Антон помнил, это было достойное место. Здесь играли в ножички, в расшибалочку, в футбол, сюда ходили драчиться, жечь костры. Такой пустырь полагался иметь каждой школе. Иначе рухнул бы музейский мир.

Он сидел, щурясь на солнце, смотрел игру. Ноги зудели, хотелось поиграть. Хоть беги к мальчишкам. Они играли с толком, грамотно, в пас, каждый на своем месте, не то что когда-то, гурьбой. Даже скучно стало.

Антон посмотрел на кирпичное школьное здание. Здесь он знал каждый камень, лестницу, класс, все дырки в заборе и все закоулки. Десять лет ходил он сюда в любую погоду. Сейчас вспомнились смешные школьные истории, всякие случаи, какие-то дети, клички... Даже огорчения показались привлекательными. Все неожиданно прибрело значение и показалось далеким, безвозвратным. Он понял: это навсегда. И слово это еще мгновение жило в нем и прижало к земле неодолимую тяжесть.

Два года назад он расстался со школой без сожалений. А увидел сейчас — зашелмило. Чуть ли не захотелось пережить все заново. Он дорого дал бы,

чтобы посидеть минутку за партой, и он завидовал мальчишкам, игравшим во дворе в футбол, и тем, чьи головы виднелись в окнах.

Это старое кирпичное здание вдруг показалось таким невыносимо близким и своим, что даже больно стало. Жил рядом, не вспоминал, а рассставаться — разрезать по живому. Он еще не знал, как всю жизнь сядет у человека внутри при слове «школы».

Антон поднялся, прошел школьный двор, вышел на улицу. Галя жила в пятиэтажном доме, построенным в начале века. Даже снаружи от него несло степенным благородством. Понятно было, что дом наполнен старинной мебелью, фарфором, книгами, блестят паркет, пахнет устоявшимися уютом, дорогим медовым табаком.

Лестница была светлая, чистая, без надписей на стенах. На двери блестела медная дощечка с вязью гравировки. Антон нажал плоский кромкевичий клац. В прихожей нежно, как арфа, проиграл музикальный звонок.

— Здравствуй, Антон, Галя в институте, — сказала Галина мама. Она была в ярком, цветном фартуке, и пахло от нее вкусно, по-домашнему.

— А-а... — сказал он неловко. — Я забыл.

— Что-нибудь передать? — спросила она сдержанно, но любезно.

— Нет, ничего, спасибо, — переминаясь, сказал он. — Я... в армию иду...

— В армию? — не поняла она. — Солдатом?

— Да... — ответил он, как будто сознавал в чем-то.

— Счастливой дороги, — спохватилась она. — Я передам Гале.

— До свидания, — сказал он и пошел вниз.

Перевулками Антон вышел к Гоголевскому бульвару. Уже падали листья, но незаметно, еще не дружно, одиноко; редкий желтый зигзаг прочерчивал воздух. И когда лист уже лежал на земле, его след еще тянулся за ним, висел в воздухе.

Уже заметнее была чернота стволов и чугунной бульварной решетки. Но отчетливо она станет лишь зимой, на снегу. Антон подумал, что зимой его уже здесь не будет.

Давно он не был на бульваре в это время. На скамейках, пристройке фанерки, играли в домино пенсионеры. Гуляли с колясками молодые женщины. Но больше всего было старух и детей. В этот рабочий час на бульваре среди старых и малых он почувствовал себя слишком явным, замятным и неуместным, лишним.

Он миновал памятник Гоголю и вышел на угол Арбата. Старая улица была сонливой и тихой. За «Прагой» на бетонном проспекте кипело движение.

Антон вышел на площадь и попал в толпу. Целый день текла она над тоннелем в самом узком месте площади, скимаясь и растекаясь, как в песочных часах. Из-за угла кинотеатра скрытый пульс метро через равные паузы выталкивал на площадь густые порции людей. В толпе яркими кляксами выделялись букеты продавцов цветов, смуглые девушки и усатые красавцы в широких кепках. Антон дошел до знаменитого университетского двора. На площади, по которой день и ночь неслись машины, этот двор был oasisом.

Старое желтое здание с белыми колоннами замыкало уютный зеленый двор с трех сторон. С четы-

вертои, со стороны улицы, его надежно ограждала чугунная решетка, оправленная камнем. Вдоль решетки густо росли деревья и стояли скамейки. В углах дома деревья образовывали зеленые ниши. В них застенчиво стояли статуи: справа Герцен, слева Огарев. Середину двора занимал ровный газон, росли цветы. Шум площади скота почти не проникал. Двор казался далеким, загородным. А назывался среди засевдатеев «психодром».

Днем здесь было весело. Здесь прогуливали лекции, спорили, отыхали, смеялись, читали, флиртовали, курили, но особенно людо становилось в перерывах между лекциями, когда из всех дверей валили студенты. В глазах пестрело от яркой одежды, красивых девушки, элегантных костюмов щеголей, модных лохмотьев чудаков обворванцев — все перепутывалось, и казалось, что ты попал на веселый карнавал. Приезжие, шагая по тротуару, столбенели и ошарашенно смотрели сквозь решетку во двор.

К вечеру становилось тихо. Сидели влюбленные, забегали поболтать и выкурить сигаретку девушки и молодые женщины, иногда на скамейке негромко бренчала гитара, а совсем поздно слышали приглушенные мужские беседы, и даже ночью в темноте под деревьями пепельно вспыхивал и гас огонек уединенного куриньщика.

Сейчас был как раз перерыв между лекциями. У Антона зарябило в глазах. Он стоял на тротуаре и смотрел сквозь прутья решетки. До него доносились слова, обрывки фраз; он удивился легкости, с которой здесь толковали о разных вещах. Вдруг подумал, как мало знает. Стало тревожно, но не про себя. Как будто прозевал что-то свое, верное, упустил единственное в жизни — настоящую любовь.

Заняло внутри, а кожу обожгло зудом: Антон не мог оставаться на месте. Он рванулся вперед, обогнув прохожих. В окнах гостиницы «Националь» висели глянцевые картины, рекламы путешествий. Он подумал, что нигде еще не был. Обернулся в тревоге. Все вокруг было с дテスト знакомо. Гостиница «Москва», Исторический музей, Кремль, Александровский сад, Манеж. Они были всегда, всю жизнь.

Вдруг в его стопроцентном зрении прорезалась какая-то новая щель, дополнительная возможность. Все вокруг было по-прежнему и иначе. Он подумал, что он уедет, а все останется. И смотрел уже другими, зоркими глазами. То, что было привычным, стало новым и незнакомым. Антон подумал, что вот жил день за днем, а ничего не успел. И уехал пустым.

Он взглянул на часы: начинался двенадцатый час. И все теперь уходило надолго, далеко. Его охватила лихорадка. Нужно бежать, торопиться, пока еще есть время, успеть хоть что-то, хоть чуть-чуть, немного...

16

Он быстро дошел до Волхонки, поднялся к Пушкинскому музею. Во дворе было пустынно. Вдоль газона гулял милиционер. Был синтетичный день.

Антон торопливо двинулся к Каменному мосту. С моста были видны набережные, Кремль, купола церкви, деревья, особняки, крыши и вставшие друг над другом дома. Антон старался все запомнить, сохранить. Никогда раньше не думал он о городе вокруг себя, не замечал. И набирался Москвы напоследок: за день — на два года.

За мостом он свернул, переулками вышел к Третьяковской галерее. И здесь было пусто, гулял милиционер. Выходной. Не везло. Антон сорвался и побежкал.

Он бежал, торопя себя, пытался что-то схватить, втиснуть в память, увезти с собой, боялся упустить последнее — не знал, где обегал музей, галереи, выставки, как будто старался надышаться. Но везде был выходной, ремонт, смена экспозиций и «Закрыто» просто без причины, как утром после ночи. Такой был день.

По центру Москвы носился человек призывного возраста, стриженный под машинку, рвался в двери — двери были закрыты.

«Не успел! — подумал Антон.

Он вернулся к себе на Арбат. В «Художественном» шел восточный фильм. И чтобы день не был совсем порожним, Антон купил билет.

17

Виктор сидел в отделе, вперившись в палисадник за окном. Все предметы, явления, люди всегда имели для него твердый, буквальный смысл: стол — это стол и ничто иное. Что было на виду, то было все, и каждое слово значило только то, что обозначало: ни в чем не было ничего скрытого, какого-то другой, неожиданной сути. Все можно было рассчитывать, сконструировать, вычислить.

Но сегодня мысль не катилась наизнанку, бусковала: кто-то насыпал песочеч в отложенный механизм. Антон уезжал. Друзей нет. Мама старенькая. Жена ушла. И что же? Один?

Он вспомнил прошлогодний разговор с Леной.

— Ты хороший конструктор, — сказала она, как будто сожалея. — Тебя бы еще оживить.

— По-твоему, я неживой? — спросил он.

Она помолчала, собираясь с мыслями.

— Ты никогда не сомневалась, — сказала Лена — Сомневаться, иметь право на сомнения — тоже радость. Я думаю, кто ее не знает, тот обделен, несчастен. Хотя не подозревает об этом

— Значит, все дело в сомнениях? — спросил он насмешливо.

Сейчас он вспомнил этот разговор.

— Что-то ты малохольный какой-то, — сказал начальник, приятель, партнер по пинг-понгу.

— Нет, я так, ничего...

— Что стряслось?

— Особенно ничего. Так, вообще... Брат в армию уходит, мать волнуется.

— Когда уходит?

— Сегодня.

— Что ж ты молчишь?! Шагай домой!

— Да, пожалуй...

Он вышел на улицу. Было солнечно. Стояли последние погожие дни. Тепло было грустное, осеннее. В этом уходящем тепле бабьего лета, в недрком солнце, в желтеющих листьях проступала обреченность: уж скоро, скоро... Родло сожаление об ушедшем лете.

Он медленно брел и не заметил, как оказался в переулках Мещанских улиц. Вспомнил, что в тупике, застроенной маленькими деревянными домами, живет Андреич.

Они изредка виделись на работе, хотя были давно знакомы. Познакомились несколько лет назад, когда инженеров и рабочих послали на воскресенье в подшевеленный колхоз. Виктора и Андреича поставили рядом копать траншею, и они понравились

друг другу, потому что каждый видел, что другой ловко управляется с лопатой и ломом и работает добросовестно, хотя платы никакой не полагалось; дело было в выходной, а кормили и лентяев и рэтивых, однинаково. Не умели они, взявшись за дело, работать в части того, что могли; на том и сошлись.

В стремительном беге дней, в сумасшедшей скрости московского центра Виктор забыл эту тихую улицу, темные срубы за палисадниками, маленькие оконца с геранью, кошками и резными наличниками, стоящими у ворот, каплики с железными щекодлами, и теперь даже не верил, что он в Москве и что поблизости дены и ночь гудят Садовое кольцо.

В трещинах асфальта и плашинах земли росла трава. По мостовой и в палисадниках слонялись озабоченные собаки. Старухи у ворот, на мгновение умолкшие, провожали его глазами: передавали от дверя к двери.

Андреич работал сварщиком. Он жил с женой, тещей, двумя дочками и кошкой в небольшом, обшитом тесом доме с зеленой крышей. Виктор не собирался заходить, но, увидев в окне сквозь желтеющие листья знакомое лицо, как-то странно и нелепо потоптался у изгороди, направился к входу, а потом повернулся и бросился назад.

Он порыскал в переулках, обнаружил магазин и, удивляясь себе, купил бутылку водки. Где-то за домами гремел старый трамвай. Все было непривычно: эти переулки, и магазин, и эта бутылка среди бела дня, которую он неумело и открыто нес, скользя в пальцах горлышко.

В окно уже плясилась вся семья: жена, две дочки, теща и даже кошка. Виктор смущенно вошел под взглядами.

— Я смотрю: никак гость? — сказал Андреич, пропуская его в дом.

Он познакомил Виктора со всеми домочадцами, и все тотчас исчезли, как будто предстоял серьезный тайный разговор. За дверьми настала такая ответственная тишина, что Виктор почувствовал вину за то, что не может сказать ничего секретного и важного.

Цветы в вазонах и большой фикус в кадке застили свет. В комнате стоял полумрак. И мебель здесь была простая и старая, до времен. Виктор неловко поставил бутылку на стол.

— Придется вам одному, — сказал Андреич. — Мне во вторую выходить.

— Нисколько нельзя?

— У меня правило. С электричеством работаю. — Да... Это верно, — сказал Виктор и подумал, что не умеет он разговаривать с людьми просто так, без дела.

Хозяин поставил перед ним рюмку, принес квашеной капусты, хлеба, сел напротив и внимательно смотрел в лицо. Виктор не знал, о чем говорить. Он вспомнил, с какой легкостью люди везде заговоривают друг с другом, как легко сходятся, откровеничают, и он напряженно думал, что бы ему сказать, и это сковывало его еще больше. К тому же эта проклятая обзывающая тишина. Виктор даже представил, как за дверьми все ждут, что же он скажет.

Пить не хотелось. Он наполнил рюмку и, злясь на себя, что его занесло сюда, выпил. Потом отодвинул бутылку и сказал:

— Спрятано до другого раза.

Андреич усмехнулся и спросил:

— Будет ли другой раз?

Виктор растерялся:

— А чего ж...

— Вам ведь пить не в охоту.

— Пожалуй, — согласился Виктор. — Как это случайные события-то рублю сбрасываются?..

Андреич засмеялся:

— Общительность требуется. Вам не случалось? Виктор представил, как он с кем-то выпивал в подворотне, и даже засмеялся:

— Нет. А вам?

— Мне приходилось. Раза два-три...

— Я б не смог.

— Люди всякие бывают: слабые, сильные... К нам иногда снискходительность нужна. Да и вообще не все то главное, что на виду. Один гнет свое непреклонно, прет по жизни, как поезд по рельсам, а жизни в нем никакой, одна жесть. У человека все живое, теплое: тепло, кровь. Тройн его острым — больно станет. — Он помолчал. — Вы извините, что с вами не выпил. Я, правда, перед работой не пью.

— Да я и сам не очень-то хотел, — сказал Виктор. — Не знал, как зайти.

— А просто и зашли бы. Мы ж и знакомы давно и работали вместе. Что тут причину надумывать?.. Я ж вижу, вы не по деду, заботы у вас. Отвыкли люди ходить друг к другу с заботами. По делу могут, а так, поделиться, разучились.

И вдруг Виктора почтнуло рассказать этому человеку о жене, о брате, о матери, послушать, что тот скажет, но он сдергался, промолчал.

Они посидели немного, Виктор встал.

— Я пойду, извините, — и, стыдясь, опустил лицо и направился к двери.

Переулками и дворами он вышел к Троицкой улице, спустился на Самотечную площадь и долго шел по Садовому кольцу. Теперь он снова был собран и досадовал на временную расслабленность. «Нужно за собой следить», — думал он. — Так недолго и совсем распуститься. Начнутся приступы откровения, мягкотелость... Но пока он шел, затягивая себя в привычные щоры, временами появлялись и исчезали сказанные недавно слова: «Не все то главное, что на виду».

Он свернул с шумным Садового кольца и бездумно петлял переулками. Он редко здесь бывал. Москвичи, кроме своего района и дороги на работу, часто не знают многих уголков громадного города и, слышится, годами не бывают в стороне от мест своей привычной жизни. И вдруг не узнают давних районов, удивляются переменам и даже могут заблудиться.

По странному совпадению три месяца назад оншел этим улицей. Тогда он только расстался с Леной ишел обозченным, не замечая ничего вокруг. Его окликнули, он обернулся. Из маленькой будки выглядывал плећистый мужчина.

— Огонька не найдется?

Над будкой висела вывеска «Ремонт часов».

— Что-то новое, — прохладно отозвался Виктор.

— Будка новая, только поставили...

— Будку я вижу, — сказал Виктор, глядя в крупное мужское лицо. — Но я не об этом. Я к тому, что сено к корове не ходит. Нужен огонь, выди прикури.

Часовщик помолчал, поиграл желваками, а потом пересилил в себе что-то, усмехнулся:

— Люблю я с доставкой на дом. Чтоб полный сервис...

— Тебя бы грузчиком на стройку, — зло сказал Виктор и двинулся дальше.

Теперь он не верил своим глазам: на месте старых двухэтажных бараков поднимались высокие новые дома. Он даже поискал дочечку с названием улицы. Нет, все правильно, вот даже часовая мастерская та же. Он остановился и застыл.



К маленькой будке подъехала инвалидная коляска. Открылась дверца, из нее высунулись две руки с костылями, нашли точки опоры, и следом в дверцу притиснулся плачевший человек, навалился на костили и стал медленно придвигаться к дверям будки, на которых висел замок. Он упирался костилями в землю, подтягивал к ним мертвые, тяжелые ноги и проволакивал себя вперед. Так он добирался к дверям, достал из кармана ключ, снял замок. Виктор перешел на другую сторону улицы, чтобы видеть, что внутри. Человек втащил себя в будку, отставил костили, уперся руками в стенку и в барьер и неожиданно легко на руках перебросил себя в кресло. «Не все то главное, что на виду...»

Виктор подбежал к ближайшему киоску и купил спички. Потом медленно пересек улицу, подошел к широкому окну будки, выходящему на тротуар. За стеклом стояли и висели часы разных марок. Все они показывали точное московское время. Виктор машинально оттянул рукав и взглянул на свои: они немного отставали. Он перевел стрелки и приединился к оконному стеклу Мастер, вставив в глаз лупу, собирая маленькие дамские часики. Виктор стукнул в стекло. Часовщик поднял голову и удивленно открыл второй глаз. Виктор зажег спичку, жестом предложил огня.

Мгновение человек ничего не понимал, потом улыбнулся и сделал руками крест — бросил. Он достал из коробки леденец, кинул в рот. Спичка дрогнула и обожгла пальцы. Виктор взмахнул кистью, потряс пальцами и подул на них, как маленький.

Они через стекло ульбнулись друг другу, Виктор двинулся дальше. «Не все то главное, что на виду...»

Он добрел до Центрального парка. Здесь было тихо, приветливо. Пусты были аллеи и лужайки среди кустов, на асфальте лежали падые листья, играли солнечные блики. Гладко и ровно тянулись стриженные газоны. Захотелось снять ботинки, погулять по траве босым, чтобы ноги ощутили бархатный холод газона.

Какой-то старик ответственно и строго работал на пруду веслами. Виктор тоже взял лодку, стал гребать. Капли, ссыпаясь с весел, горели на солнце. Сквозь освещенную воду таинственно виднелось дно. На воде покачивались желтые листья.

Виктор сдал лодку, направился к качелям. Медленно двигалась очередь детей. Он скромненько встал последним. И так медленно, спокойно, почти умиротворенно обходил час за часом атTRACTIONЫ. пока не обошел все. И даже удивился что больше нет — втянулся.

Антон сидел в переполненном зале. Это была жуткая история, кошмар, все чувства вдребезги. С начала прошло минут пятнадцать, и, хотя зал уже был полон сострадания, час всеобщего плача еще не наступил. Но близился, близился...

Антону было тошно, как будто он съел сразу целый торт. Раньше досидел бы, досмотрел, лениво, без интереса, просто так, от скучи. Но теперь почувствовал, как уходит, пропадает время — минута, другая, еще одна... — впустую, бездарно.

Наступая в темноте на ноги, выбрался из зала. Дневной свет резанул глаза. Взглянул на часы: начало первого. Медленно побрел, шурясь на солнце. То, что примелькалось, что, не замечая, видел каждый день, теперь он зорко высматривал из-за тридевяти земель, из армейской жизни. Каждый предмет, дома, деревья вырастили в значении: они оставались здесь, в прежней жизни, и он уезжал.

Антон задумчиво подошел к автобусной остановке и привычно, как каждое утро, сел в автобус. Он не думал, куда и зачем едет, все случилось само собой: дорога еще жила в нем. Он сошел и механически, как всегда, направился в проходную. И лишь здесь опомнился: спросили пропуск.

Антон растерпяно пошарил в карманах и вспомнил, отошел. Кто-то его позвал. В дверях проходной стоял Чернаковский.

— Ты что, не рассчитался? — спросил он.

— Рассчитался.

— А что ж пришел?

— Ничего... так...

Мастер посмотрел на него внимательно, помолчал и спросил:

— Когда уходишь?

— Сегодня.

— А куда отправляют?

— Не знаю.

Чернаковский снова помолчал и сказал:

— Ничего, это неплохо...

— Что?

— Куда б ни отправили, все новое. Я б и сам не против.

— Что не прист?

— Хорошо, когда не все позади, — сказал невесело Чернаковский Антон молчал. — Ладно, пойду, — сказал мастер.

Он покал Антону руку и ушел в проходную. Антон медленно побрел назад. В переулке ломали старый деревянный дом. Гусеничный кран отводил в сторону стрелу, разгоняя ее и ударяя висящим на цепи металлическим шаром в стену дома. Дом был весь в трещинах, но еще держался, глядя на улицу темными пустыми окнами, и вздрагивал при каждом ударе. Было видно, как внутри дома раскачивался оранжевый абажур.

Антон подумал, что люди, жившие здесь, получили квартиры в новых домах и эти квартиры лучше прежних, а вот больно, должно быть, смотреть, как ломают твой старый дом. Все мечтают о новых квартирах с удобствами — «Скорее бы сломали этот клюпинок!» — но вот приподняла машина на гусеницах и железным шаром разбивает дом, в котором ты прожил столько лет; даже слезы навернутся. Но от этого никуда не уйти, вырастет новый дом, который станет для кого-то тем, чем для тебя был старый.

Шар ударил в дом, и целая стена, подняв облако белой пыли, рухнула на землю. Все даже вздрог-

нули. Когда пыль рассеялась, обнажилась внутренность дома. Абажур загадочно остался висеть среди бломков, мозоля глаза своим неуместным цветом. Была в нем какая-то насмешка, но вместе с насмешкой была и какая-то горечь.

Но Антон об этом не думал. Он подумал, как много старых московских домов исчезнет, пока его здесь не будет, и как много появится новых. Они уже росли один за другим на этой улице, ставшей почти незнакомой.

Антон взглянул на многочисленные циферблаты, назойливо выглядывающие из окна часовской мастерской, и вспомнил, что его часы спешат: давно собирались проверить.

«Хоть часы за весь день починю», — подумал Антон и зашел в будку.

Часовщик сдвинул лупу на лоб и взглянул на Антона.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Часы бегут...

— Постараюсь придержать их, чтобы вовсе не удали, — улыбнулся мастер и протянул громадную руку. Антон удивился ее величине и опустил в нее часы, как в мешок.

— Что, сынок, думаешь, с такими руками бочки бы грузить? — спросил мастер, открывая футляр.

— Да нет... — смущился Антон.

— Подумал, я вижу, — сказал мастер. — Ничего... Все так думают, молодые и старики. — Он помолчал. — На молодых я не обижайся, они войны не знали.

Вся мастерская была наполнена шумом часов. Тихали секундомеры и настольные хронометры, стучали наивные ходики, сипло дышали старинные настенные часы. Они висели в деревянных футлярах, с римскими цифрами на циферблатах и с аксессуарами медными стрелками. На полках стояли кабинетные часы из бронзы и мрамора и современные будильники, а в углу монументально возвышались большие напольные часы. Антон заметил прислоненные к стене костицы.

— Я б и сам так думал, — сказал часовщик. — Что ж ложь ловить, если сила есть.

Он опустил лупу на глаз и стал копаться в часах. Потом сказал:

— Ты бы оставил их, я проверю.

— Я не могу, в армию сегодня ухожу, — сказал Антон.

Мастер на мгновение прекратил свои мелкие и осторожные движения инструментом, помолчал и вздохнул:

— Тогда, конечно...

Он долго молчал. Только шуршали внутри футляров шестеренки, стучали маятники и временами раздавалась мелодичный бой.

— Я и сам долго не мог привыкнуть, — неожиданно сказал мастер. — Очнулся в лазарете и не могу понять: что это я такой короткий. Щупаю ноги, а там пусто. И чешутся. Ног нет, а они чешутся. Даже сейчас иногда. И снятся... Сам себе я сношу с ногами...

Он замолчал. Молчал и Антон: сдавило горло. Он проглотил ком и тихо спросил:

— А потом, как?

— Потом? Я до войны монтажником был, на высоте работал. Решил часовщиком стать, ноги тут не нужны. Стал учиться... А руки грубые, к железу привыкли... Ну и не получается ничего. Стал подумывать: нет мне на земле дела. Одно время руки хотят наложить. Так часто бывает. На войне человек не боится, лежит в самое пекло, а в мирной жизни

всего опасается. Потом ничего, осилил себя. Теперь любые часы понимаю. Особенно люблю старинные чинить. Нравится мне их секреты разгадывать.— Он помолчал и добавил: — Значит, нашел себя...

Он поднял лупу, щелкнул фитилем.

— Готово.— И над барьером протянул часы Антону.

— Что я вам должен? — неловко спросил Антон.

— Ничего, сынок, носи на здоровье. Счастливой дороги...

— Спасибо,— пробормотал Антон.— До свидания.

Он вышел и подумал, что обязательно проверит здесь часы, когда вернется из армии.

19

По аллее Виктор направился к набережной. Он вышел на широкий солнечный плац, за которым текла река. Над водой за парком висел Крымский мост. И так же двугорб, остро поднимаясь в воздух шатер цирка-шапито.

Вокруг шатра теснились вагончики на колесах. За ними в глубине ворчали звери. Было пусто, безлюдно. Стояли фанерные щиты с яркими цветными афишами.

Виктор пошел вдоль длинной железной решетки. Казалось, что она так и поставлена вокруг вся сразу, целиком, без пауз. Лишь в одном месте среди монотонного частокола прутьев взгляд неожиданно соскальзывал в пустоту: решетка прерывалась; потом текла дальше.

Виктор робко вошел в брешь. Со всех сторон в шатер вели хрупкие лесенки; брезентовые пологи над ними были плотно зашнурованы, и весь шатер напоминал тугой рюкзак.

Только в одном месте полог был отброшен, и было видно, что внутри темно. Хищники за шатром поурчали и смолкли, и стало так тихо, что Виктор услышал, как ветер с реки играет на прутьях решетки.

Он стоял на первой ступеньке и смотрел в темноту. Оттуда доносился стук копыт. И вдруг грудь наполнился холод, и пустота, и тревога, и то позабытое предчувствие, что сейчас что-то произойдет, и то ожидание счастья, которое вновь сделало его давним, маленьким,— послеவоенных неуют; черная дребезжащая тарелка на стене: голос Левитана; комнатный холод, есть хочется, за домом пустыри и поваленные заборы, и сараи, сараи, полениницы дров, и самая большая ценность на свете — хлебные карточки, выше которой есть лишь одно: миг, когда после бега, уверток, надежд и отчаяния можно, захляясь и сдерживая дыхание,приникнуть к темной щели, где переливаются огни, гремит музыка и сквозь чьи-то ноги и спины виден кусок залитой светом арены.

Потом, после представления, мальчишки собирались вместе и рассказывали, кто что видел, и все обязаны были рассказывать подробно и даже показать, потому что каждый видел лишь свой кусок арены, а некоторые только купол и воздушные номера.

В другой раз, если удавалось пробраться, они менялись местами, и так раз за разом они собирали все представление по частям.

Теперь он снова был тем мальчишкой.

Он осторожно поднялся по лестнице и заглянул внутрь. Там было пусто и темно. Ряды голых скамеек уходили по кругу. Посреди полуосвещенной

арены стоял рабочий в комбинезоне и держал под узды белого коня. На зачехленном барьере сидела наездница в черном трико и полотенцем устала вытирала лицо.

Виктор бесшумно шагнул внутрь, сел на скамейку. Брезент тотчас отсек все звуки: шелест листьев, шум движения на мосту, далекий городской гул. Рядом из проема падал дневной свет. Виктор по скамейке скользнул дальше, в темноту.

Теперь он сидел в темной отсеченной тишине. За спиной парусил брезент. Наездница подошла к коню, пустила рымью по кругу. Потом разбежалась, вскочила в седло.

Виктор, не двигаясь, сидел в темноте. Он притих, сжался, как тогда, давно, когда припадал к щели, от которой в любую секунду могли оттащить из уха.

Мерно скакал конь, а она гуттаперчево складывалась и расправлялась, вся внимание и сосредоточенность, безжалостно скручивала свое тело и, даже когда становилась в седле, не улыбалась победоносно, как вечером, как на афише, а выдвигала быстро нижнюю губу и углом рта обдувала щеку, чтобы смахнуть прядь волос.

Шерсть коня влажно блестела, и мокрой была артистка. Каждое движение она повторяла еще и еще. Виктор даже устал. Иногда коню бросал ей полотенце, она на ходу вытиралась. Колыбы глухо били в опилки.

Наконец она спрыгнула; рабочий побежал за конем, поймал уздечку. Артистка села на барьер, потом легла на спину и закрыла глаза.

— Будем еще работать? — спросил коню.

— Нет, все. До вечера...

Он увел коня. Она продолжала лежать, не открывая глаз. Лицо у нее было измученное и бледное, а тело казалось совсем слабым, и нельзя было поверить, что оно такое сильное и упрогое.

Виктор пришел в себя, вернулся из детства. На барьере лежала усталая слабая женщина; сквозь тонкую черную ткань просвечивала, как будто мерцала кожа.

Без единого звука он стал перелезать через скамейки, спустился вниз и сел над ней во втором ряду — в первом не решился.

Стояла тишина. Наверху хлопал под ветром брезентовый купол. Она внезапно открыла глаза, испуганно посмотрела по сторонам, увидела Виктора, испугалась еще больше и быстро села.

— Вы кто?

— Я так... вошел. Было открыто... — сказал он невесомко.

— Сейчас посторонним нельзя.

Волосы у нее были светлые, а шея высокая, тонкая.

— Я не посторонний, — сказал он. — Я все детство простоял у щели.

Она смягчилась, улыбнулась, посмотрела на него внимательно.

— Любли цирк?

— До смерти!

— А теперь?

— Давно не был, — признался он, чувствуя себя виноватым.

— Все так. Любят, любят, потом вырастают — перестают. Забывают.

— Да, — сказал он. — А сейчас вот увидел, все вспомнил.

— Цирк?

— И цирк тоже.

— А что еще?

— Те годы, себя, детство... И даже не вспомнил, а прожил, побывал тем, собой. Пока вы работали. Она задумалась, опустила голову. Волосы у нее на затылке были совсем мокрыми.

— Устали? — спросил он.

— Да что чертников, — ответила она.

— А вечером, когда огни и музыка, будете улыбаться и блестеть глазами?

Она грустно улыбнулась, покивала с печалью.

— Работа...

— Нравится?

Она посмотрела на него, как будто удивилась, что они незнакомые люди; им легко говорилось и даже не по пустякам, даже всерьез.

— Вы знаете, издали все красиво.

— Знаю, — сказал он.

— А близко... вот... видите...

Он молчал.

— А есть еще то, что никто не видит. Манеж — гостиница, гостиница — манеж. Днем репетиции, вечером представления. Едва добираешься до постели. В субботу и воскресенье по два, а то и по три выхода. И в праздники... У других хотят свободные дни, а мне нужно ложадь выводить. И все время на креслах. Разъезды... Гостиницы, гостиницы... А жизнь идет, ничего не видишь...

Он молчал. Было стыдно, что в ответ он не рассказывает о себе, не делится, вроде не принял откровенности или, того хуже, вполне благополучен.

— Вы освободились? — спросил Виктор.

— Да, до вечера.

— Я привокз вас. Погуляем.

— Спасибо, — сказала она мягко. — Я бы с радостью. Но мне вечером выступать, нужно отдохнуть. А то ничего не смогу. Посплю в вагончике.

Он молчал, не зная, что сказать. И во второй раз сегодня подумал, что не умеет разговаривать с людьми просто так, без дела.

— Вы приходите вечером, — сказала она просто. — Я оставил вам контрактуру. А потом погуляем.

— Да, — сказал он. — Приду. Конечно.

Она пружинисто пошла через манеж, и тело ее снова было сильным и упругим. Виктор берег поднялся к выходу, нырнул наружу. И ослеп — привык к полумраку.

Он медленно прошел за решетку. Возле нее стояли яркие, разрисованные щиты. И бежал белый конь с красно-синими пломажами, и стояла в седле розовая наездница, улыбалась бесстрашно и гордо.

Виктор подошел к парапету набережной. По реке бежал речной трамвай. Мелкие волны ударяли в гранит. От нагретого камня приятно тянуло теплом. Виктор лег животом на край, свесился вниз головой. В затылок пригревало солнце. Было тепло, уютно. Внизу, на воде, играли яркие блики, переливалася спляшии блеск.

Но отнюдь не радужно всплыли в памяти последние годы, холодные, серые дни, уроки впроголодь, неуютные сумерки, слезы и его юная решимость пробиться.

Сквозь логику и строгую четкость последних лет невнятно, как масляные пятна на бумаге, пропустили, стали яснеть — кто-то наводил фокус — смутные воспоминания, старые вещи, какие-то предметы, не значительные детали, мысли щемящие пустяки, давно забытые, потерявшие ценность.

Зеленый тихий двор, тяжелая мебель, скрипучий паркет, малиновый абакур, желтоватая бумага книг, медная настольная лампа, старые пластинки, чье-то ночное парандое, бульварная скамья с тайной алгеброй на спинке — большие буквы и между ними плюсы... Все имело смысл и доброту.

26

Оказывается, все это жило в нем. Оно таилось под глянцем последних лет, под новыми, удобными вещами, забылось за отмеренными, правильными днями, за блеском полировки, за проклонувшимися едва комфортом. Исподволь зрело и вот определилось: старые, неудобные, неуклюжие вещи и прежняя жизнь важнее нынешней правильности и порядка и важнее многих ловких, удобных вещей, которые каждый день окружали его теперь. И даже дороги и близки.

Выходило: у того, что он имел когда-то, были свое лицо и душа, но потом они подевались куда-то, растворяясь, исчезли. И тогда он был богат, а теперь беден.

Он почувствовал сожаление. Точно не приобрел за все годы, но потерял — упустил что-то важное, самое ценное, без чего и жить не стоит.

Он вспоминал годы, когда шел вперед, сцепив зубы. Он пробился. Но выковыбая себя в дороге, он сам, добровольно, лишил себя зрения, слуха, вкуса и обоняния. И привык так жить. И с тем остался.

Это была непомерная плата.

Виктор сунул глаза, замер, застыл, погрузился в солнечное тепло, в блеск, в ощущение, в дрему. И то ли придумалось, то ли приснилось, то ли привиделось среди блеска и водяных бликсов, что сквозь они вдвое на конях — в зной — по степи.

20

Anton брел, брел и не заметил, как оказался в переулках возле Площади. Здесь было пусто, тихо, грелись на солнце кошки, иногда дорогу перебегали сонные собаки. С Садового кольца и с набережной сюда слабо доносился ровный тугой гул. От больших улиц переулки были ограждены высокими домами, а сами, тесно сплетаясь, петляли среди покатых косогоров. Здесь, почти в центре Москвы, среди близких высоких домов, привычно стояли двухэтажные деревянные дома, потемневшие от времени, в которых даже летом кома между рамами были проложены ватой и украшены елочными игрушками. За домами лежали зеленые дворы, отделенные друг от друга покосившимися заборами и сараями.

Антон свернул за угол и сел в автобус. На заднем сиденье сильно тряслась. Антон смотрел в окно. Он уже не останавливал глаз на деталях, которые нужно было запомнить, на отдельных домах, окнах, витринах — взглядел его рассеянно скользил вдоль улицы: эти переулки, улицы и бульвары жили в нем как одно целое, как живет в человеке детство.

Автобус выскочил на Садовое кольцо, круто развернулся и понесся к Смоленской площади. Здесь Антон вышел, дошел до угла Арбата. Слегка изгибаясь, весь Арбат лежал перед ним. Антон еще не уехал, но Арбат уже жил в нем, весь сразу, не дробясь на детали, как живет в тебе родина, когда ты вдали от нее.

Рядом заторачивал троллейбус. Внезапно над его крышей загремел металл, раздался звон. Троллейбус дернулся и остановился. Водитель рванул дверь, запальчиво выскоцил, но тут же скис; испод его исчез. Задрав голову, он тощиков смотрел вверх. Прожигие замедляли шаги, некоторые останавливались. Троллейбусные штанги, как жерди, торчали в стороны. Оголенный провод свисал, закручиваясь и пересекая мостовую. Его медленно и опасливо облезали машины. Движение засторопилось, стало тесно, и

крик автомобильных гудков наполнил улицу. На тротуарах толпились люди.

Водитель троллейбуса пошарил в карманах, нашел две копейки и направился к телефонной будке. Появился милиционер, перекрыл движение. Вскоре причиналась аварийная машина. Из кабин быстро выскочили рабочие, проворно забралась на вышку; скрещенные подпорки стали выпрямляться, площадка с рабочими поползла вверх.

Антон удивился. В одном из рабочих он узнал Диму Лаптева. Насколько Антон знал, тот работал электриком в эжке, брал рубли и трешки у немуух.

Они быстро и ловко подтянули провод и стали крепить. Работали они споро и точно, ни одного лишнего движения, все инструменты под рукой, и только изредка перебрасывались словами. Рядом с Антоном стояли двое приезжих, держка в руках сетки, наполненные свертками и пакетами, и Антон слышал, как один другому сказал:

— Хорошо работают.

И все незнакомые люди, кто стоял и смотрел, были уже объединены этой работой, обсуждали ее и даже подавали советы.

— Лапоть! — крикнул Антон громко.

Его голос прозвучал отчетливо и неуместно.

— Что горло дерешь?! — спросил рядом старик. — Люди работают...

Но больше всего его удивил сам Лаптев. Он слышал, Антон мог поручиться, но подал вида, только на секунду скосил вниз глаз и продолжал работать.

Когда машина отъехала, возобновилось движение, люди стали расходиться, Антон подошел к машине.

— Ты что? — недовольно спросил Лаптев, спрыгивая на землю. — Все смотрят, а ты...

И держался он официально, как часовой на посту. Антон даже растерялся.

— Ты вроде в эжке работал? — спросил он.

— Теперь не работю, — хмуро ответил Лаптев, как будто отодвигая Антона, как будто опасаясь, что тот снова выкинет что-то неуместное.

В это время Лаптева позвали.

— Звони, — милостиво разрешил он, залезая в кабину.

Антон хотел сказать, что не сможет, уходит в армию, но машина ушла. Он перешел на другую сторону Садовой и свернул в переулок. Антон брел, размышляя, как переменился Лаптев: еще недавно хвастал, что зарабатывает иногда десятку в день и что работа не бей лежачего, а вот не выдержал, ушел. Теперь и деньги не те и работа опасная: жди, что где стряется, и мчись выручать, как на войне. Антон понял, что Лаптев гордится, когда работает на виду у всей улицы: и работа вроде бы не мирная, и он здесь, на этой улице, сейчас самый главный. Антон вспомнил, как подкатила машина и еще не успела остановиться, а Лаптев стремительно лез вверх, точно матрос парусного корабля.

Он услышал гомон голосов и свернул за угол. Среди старых желтых домов на задворках больших зданий стоял павильон «Пиво-воды № 14».

Гомон голосов встречал прохожих еще в переулках и пугал невиданным происшествием. Потом глаза открывались очередь. На перекрестке пахло пивом.

Стоящие впереди отклеивались от окошка павильона, прибрались в толпе с полными кружками, разбредались вокруг в поисках местечка. На камнях под музыкальной решеткой, похожей на свинцовые лиры, стелились газеты с легендарной войной. Ветки густых деревьев образовывали зеленый навес.

«Пиво-воды № 14» располагались в центре неглубокой лощины с пологими склонами, по разным сторонам которой стояли два высотных дома: Министерство иностранных дел и Совет Экономической Взаимопомощи. Они были видны с тихого пивного перекрестка.

А внизу, между ними, среди столичной московской суеты, под близкий гул Садового кольца, жила себе вольная мужская республика, кипела своими страсти.

Антон взял кружку пива, поискав место, пристроился. Рядом молча потягивал пиво пожилой рабочий в кепке. Вокруг стоял галдеж.

— Там сыграли винчью, дома выиграют...

— А мастер мне: никаких отгулов...

— Звезды — так себе, я в одинарне ставил...

Пивной дух плыл в переулки. Горячились студенты, ударами с лекций; у ног послушно стояли портфели. Тихо беседовали два пенсионера. Спорили болельщики. Между кучками бродил со своим стаканом маленький, невзрачный человек.

Он сунулся к студентам, они отлили пива, но оставаться не разрешили. Болельщики и не кипнули. Пенсионеры стакан долили, но звякорвали: «Ступай, ступай...» Человечек вылил свой стакан, собрал пустые кружки. — Вот помощничек, — сказала продавщица. — Хоть в мужика бери.

— Я б пошел, — объявили человек из очереди. — Все равно, что на пивной бочке жениться.

21

Боль гранитного парапета Виктор вышел к парковому причалу. Под ладонь скользил поручень турникета. Подходил речной трамвай. Мелкие волны шлепали в стенку. Деревянный причал поскрипывал и качался. Вода нервно пизала набережную: на гранитной стене оставался темный влажный след.

Толстая женщина-матрос приняла чалку, намотала на кисть. Река светилась под солнцем и блестела в иллюминаторах, солнце было в глаза и отражалось в окнах на другом берегу. Был виден Крымский мост, за ним галерея крыш, а набережные — в обе стороны, далеко, до горизонта, оправленные камнем. На солнце камень стерег реку добродушно, но в тени мрачел.

Катер прилип к причалу. На корме под тентом сидела Лена. Виктор не обомлел, не поразился, смотрел легко, спокойно. И даже больше удивился своему спокойствию, чем ей.

А он три месяца мечтал о встрече, придумывал слова. И вот теперь стоял спокойно, щурясь на солнце, молчал. Такой был день.

Она увидела его и удивилась.

— Что ты делаешь в Центральном парке культуры и отдыха? — спросила жена, глядя с палубы вниз на причал.

— Набирался культуры и отдыхал.

— А теперь?

— А теперь решил посмотреть столицу с борта теплохода.

Она удивилась еще больше, уставилась на него, притихла.

Палуба мелко дрожала. Иногда с воды приносило брызги. С середины реки пароход был виден весь сразу, осенний, желто-зеленый, местами багровый.

27

вый. Над деревьями поднимались колеса аттракционов.

За мостом теснились дома, уступы крыш, между ними угадывались дворы, переулки, дома поменьше. Тысячи окон смотрели на реку. Город чутко следил за мужчиной и женщиной, угадывая их состояние, и в эту минуту они ничего не могли от него скрыть: он знал о них больше, чем они сами.

Навстречу шла самоходная баржа. На корме стояли двое детей и собака, глазели на берега. Женщина в тельнице разевала вдоль борта белые.

— Гармония не хватает, — сказал Виктор.

Из темного пролея в белой кормовой надстройке, откуда-то снизу, из глубины, вылез вислоухий мужчина с гармонью, зевнул, лениво сел, пожмурился на солнце и стал гармонью благодушно распиливать тишину. Вдруг потянуло лугом, окопицей, родиной, Россией...

Баржа прошла. Они оба оглушились: на черной корме внятно выделялись светлые буквы «ЗВЕНИГОРОД». Вспомнили шоссе туда, березовые рощи, и косогоры и ледяные родниковые ручьи, и холмы, и лесные овраги, и белые церкви на зеленых холмах, и солнечные поляны, и себя, там, вдвоем — давно, жизнь назад.

22

Они вышли на Киевском причале. За площадью и сквером шумел вокзал. С Бородинского моста открывались Ленинские горы, река, берега, далекие и близкие дома, людской муравейник у вокзала...

— Слушай, — неожиданно предложил Виктор. — Выпьем пива?

Она снова удивилась:

— Что так вдруг?! — Он никогда не пил пиво на улице.

— Знаешь, захотелось...

За мостом они свернули налево и вышли к перекрестку за большими домами. У пивной палатки теснилась очередь. Вокруг стоял гомон мужских голосов.

— Кажется, я здесь единственная женщина, — засмеялась Лена, глядя по сторонам. — Пестрое общество...

И вдруг толкнула его локтем и показала глазами: в стороне под деревьями, ни на кого не глядя, за-думчиво тянуло пиво Антон. Виктор спрятался за соседей.

— Не хочу, чтобы он видел, — сказал Виктор жене, и они, стоя так, чтобы очередь их закрывала, наблюдали за Антоном из-за чужих спин и голов.

Он не двигался, не смотрел по сторонам, не обращал внимания на соседей и был задумчив, даже сосредоточен. Таким Виктор его никогда не видел.

Потягивая пиво, Антон думал. Он впервые задумался так всерьез о себе, о маме, о Гале, об Арбате — жаль расставаться! — но больше всего он думал о брате. Виктор и знал больше, и инстинкт за-кончил, и спортсмен, и всегда делает только то, что полезно и нужно, и твердый он, волевой, как говорят, рациональный, а вот стало Антону вдруг его жалко, как маленького. Уж очень одинок. А теперь совсем один остается. Но у него ни друга, ни други, и жена ушла, да вот еще он, Антон, уезжает. Он не думал об этом раньше; жили — не дружили, а расставаться — защемило.

Сигаритным звоном подвалила веселая компания: три парня, три девчонки. Шумно потеснили Антона и покилого рабочего, устроились. Гитарист повертел стриженой головой.

— Петыка, тащи всем, — сказал он и сунул купюру. — Нам да две, девчонкам по одной.

Кучерявый Петыка сунулся в окно. Очередь повернула, но не зло, лениво, больше для порядка.

— Гуляйте, — сказал гитарист. — А то уеду, никто не вспомнит.

— Что ты, дружики! — запротестовала блондинка.

— Мы тебя ждать будем.

— Ты будешь? Держи карман!

— Последний нонешний денечек... — Гитарист взял аккорд и крикнул: — Эй, ты! Выпить хочешь?

— С удовольствием, — ожил сплюнавшийся человечек, засуетился, зашаркал, прибежал — стакан наготове.

— Пей, угощаю! — Гитарист опрокинул кружку в стакан, пиво хлынуло через край. Человечек приткнулся рядом, радуясь, что его приняли в общество.

— Я тебе откровенно скажу, — заявил он гитаристу категорично. — Ты человек правильный, широкий. Я таких уважаю.

— Уважаю?

— Ну так спой...

— Пожалуйста. А что?

— Знаешь, «Соловьев, соловьев, не тревожьтесь солдат...»

— Не, не знаю.

— Погоди, — вмешался Петыка. — Ты лучше сплюши. Кружку отда.

Все смотрели на человечка.

— Я не умею, — сказал он тихо.

— Во-во, смешнее будет, — засмеялся Петыка.

Человечек стал озираться по сторонам, но глянул на полную кружку, тяжело рухнулся. Он стукнул ногой в землю, неловко подпрыгнул. Одна из девчонок стала прихлопывать.

— Вприсядку, — подсказал Петыка.

Человечек выбросил ногу, но не удержался, сел на землю. Девчонки засмеялись.

— Давай, давай! — постыпал Петыка, заходясь в хохоте, очень довольный своей выдумкой.

— Бросьте! — вмешался пожилой рабочий в кепке. — Что куряжитесь!

— Ты, дядя, не впутывайся, — ответил гитарист. — Тебя не трогают, молчи.

— А то пиво отнимем, — добавил Петыка и протянул руку к кружке.

Антон ударил его по руке.

— Эй, вы! — крикнул высокий студент. — Вам что, делать нечего?

Лена тоже высунулась из очереди, хотела вмешаться, но Виктор ее остановил.

— Погоди, — сказал он, — посмотрим...

— А ты кто такой?! — спросил гитарист у Антона. — Схлопотать захотел?

— От тебя?! — сказал Антон презрительно.

— Хоть от меня.

— Плевать я хотел.

Гитарист окинул его взглядом.

— Пойдем поговорим...

Пошли вдоль желтой фабричной стены, перешли дорогу, у черного бревенчатого сруба свернули во двор.

— Постой, — сказал Виктор Лене. — Я взгляну. Ка-бы беды не было...



Он пошел за мальчишками, не спуская глаз с Петькой и третьего, готовый в мгновение перекрыть им дорогу.

Антон шел твердо, но чутко, внимательно, чтобы не прозевать внезапный удар. Виктор следил за теми, думая, но все чаще поглядывал на Антона. Его удивило, что младший брат, которого он всегда считал рохлей, идет спокойно, даже решительно.

Антон и гитарист остановились, молча смотрели друг на друга. Петя и третий двинулись к нему. Антон взглянул на них мельком, шагнул спиной к забору и остановился. Ждал. Те приближались.

— Стоп, детьки! — сказал Виктор, выходя из-за угла. Он подошел к забору и остановился рядом с Антоном. — Ну подходите, отшлепаем вас.

Те застыли. Дело принимало неожиданный оборот. Трое на одного — куда ни шло, но трое против двоих...

Братья стояли рядом, спокойно ждали. Антону вдруг стало весело, легко, надежно. И Виктор чувствовал, что он не один: на брата можно положиться. Уверенность друг в друге делала их спокойными и даже снисходительными.

— Что же вы, ребята? — насмешливо спросил Виктор. — Веселейте...

— Хотели поговорить, — напомнил Антон, — теперь стойте, попечтесь...

Уверенность и внутренний покой всегда вызывают в противника обратные чувства.

— Я, может, на два года ухожу. — Гитарист стал

спускаться на тормозах. Он провел ладонью по волосам. — Понял?!

— Ну и что? — спросил Антон и провел по своим.

— Так ты свой! — обрадовался гитарист. — Что ж ты молчал?! За это что следует? — Он повернулся к приятелям.

— А пошли вы! Над убогим издается. Смотреть тошно! — сказал им Антон и повернулся к брату. — Ты как здесь оказался?

— Да так, случайно... Ты сейчас куда?

— Домой.

— Ну иди, я скоро приду.

Они вместе дошли до перекрестка и здесь расстались. Виктор направился к очереди. Лена уже взяла пиво и высматривала его. Он увидел ее и улыбнулся: модно одетая, красивая женщина — светлые волосы, большие зеленые глаза, длинные, стройные ноги — стояла в толпе мужчин с двумя кружками пива. Она ему покровилась, но как-то спокойно, даже умиротворенно. Теперь она для него была не все, было у него еще что-то, он знал. И, как любая женщина, она почувствовала это.

— Была драка! — спросила Лена.

Он молча покачал головой. Потом подумал и сказал:

— Прозевал я Антона.

— Как?! — не поняла она.

— Не заметил, как взрослым стал.

Она смотрела ему в лицо.

— Я думал, его конструировать надо, собираять по частям, натаскивать, а он до всего сам дошел. Грустно... Далеки мы были. Жаль, что я поздно понял.
 — Почему поздно?
 — В последний день...
 — Как?
 — Он сегодня в армию уходит,— сказал Виктор.

24

Антон брел домой. Был третий час, а ничего он не успел, не приобрел в дорогу. Он шел арбатскими переулками вдоль старых домов. Они стояли здесь давно, и каждый имел свое лицо. По вечерам сквозь окна были видны картины в дорогих рамках, иногда иконы, лепка на потолках, голландские изразцовые печи, старинная темная мебель и книги, книги, кожаные переплеты, золотое тиснение.

В последние годы в тихих переулках неслышно, неприметно появлялись высокие дома, втиснувшись, стояли вкрадчиво среди старых особняков. И так же неприметно исчезали давние дома, а вокруг новых появлялись зеленые газоны и стоянки машин. На газонах в одну ночь возникали молодые берескис и голубые ели.

На одном углу продавали котлеты. «Особые!» — прочитал Антон на ярлыке. На ходу взглянул, не нашел ничего особого.

Антон вошел в элегантный проходной двор, не торопясь: времени вдоволь. Во дворе было безлюдно. Он сел на скамейку. За деревянными флигелями поднимались кирпичные дома. Теперь трудно было сказать, где кончается один двор и начинается другой.

Когда-то каждый двор был вся жизнь и целый мир, в котором росли, пока не входили в улицы. Теперь в улицы уходили рано, минуя дворы, и дворы захирели, сникли. Случайные люди, сокращая дорогу, проходили по ним из одного переулка в другой.

Он шел, рассматривая знакомые всю жизнь места. Он не думал о них прежде, не замечал, а расставаться — открылись глаза. Его остановил непривычный в городе шамкающий деревенский голос:

— Сынок, где ж тут третий корпс?

Среди домов потерянно озиралась старуха в платке, плюшевом жакете, длинной темной юбке и мальчиковых ботинках. На земле стоял деревянный чемодан с висячим замочком.

Антон остановился, повертел головой, поскучал, скзал неопределенно:

— Вот, наверное... — и побрел дальше.

Еще недавно в субботних электричках, вырываясь из города на волю, весело тешились, шамкая под таких старух: «Чтой-то ейнй свекор животом ослаб, мается, каждый секунд до ветру бегат...» — развились.

Он прошел несколько шагов и обернулся. Старуха, надрываясь, волокла чемодан. Край удрял ей по ноге. Она поставила чемодан, ладонью вытерла с лица пот, и, переведя дух, вцепилась в него двумя руками, и натужно потащила дальше. Антон догнал ее.

— Бабушка, погодите, сейчас точно узнаем.

Она поставила чемодан. Антон отыскал среди домов третий корпс, вернулся, взял чемодан.

— Я помогу...

Чемодан был тяжелый. Внутри ничего не смещалось, лежало, плотно, туго.
 «Гостиницы!», — подумал Антон и вдруг вспомнил давний детский вкус этого слова и давнее нетерпение, как будто нашел что-то старое, знакомое, но забытое.

Старуха семенила рядом.

— Телеграмму отбила, а никто не встретил. Может, не получили... Сын у меня здесь живет. И не вестка.

Лицо у нее было морщинистое, маленьковое, в кулачке она зажала бумажку с адресом. Они оба заглянули в нее, посмотрели номер квартиры, поднялись по лестнице.

Антон поставил чемодан у двери, позвонил и сказал:

— Я пойду.

— Спасибо, милый,— просто сказала она и спросила: — Может, подождешь, яблочками угощу?

— Ну, что вы! — засмеялся Антон. — Спасибо. — И под звук открывавшейся двери пошел вниз.

Дверь открыла женщина в бигуди, посмотрела на старуху, удивилась:

— Вам кого?

Но и старуха тоже удивилась и удивленно ответила:

— Никитины...

— Не проживают, — услыхал Антон и остановился: он свое дело сделал, помог и ждал из любопытства, чем кончится.

— Как не проживают?! — ахнула старуха. — А где же они?

— Выехали месяц назад.

— Как же так? Я телеграмму давала, — растерянно сказала старуха, укасаясь безнадежности и черной пустоты, которая открывалась перед ней у этой двери.

— Ничего не знаю, — ответила женщина спокойно. Она была уверена в прочности своего покоя и пра-воты, и ей было хорошо, легко, оттого что она была в безопасности, но и никому не вредила. Совесть ее была чиста.

Она даже невинно-благодушно перекинула потерянное молчание старухи.

Ждал и Антон, но так, не очень твердо — задержался на секунду, сейчас уйдет: мало ли у него сейчас своих забот. Ему, между прочим, сегодня идти в армию...

— Вот напасть!.. — пробормотала старуха. — Где же мне их искать?

Женщина пожала плечами: она и так была любезна сверх меры.

— Что ж мне делать? — в горьком бессилии спросила старуха, боясь, что вот-вот начнется обратное движение двери — и тогда все, конец. А пока дверь открыта, есть надежда.

— Не знаю, не знаю, — уже нетерпеливо сказала женщина, и дверь в ее руке медленно тронулась с места, поехала.

— Милая, погоди... — взмолилась старуха в отчаянном желании спросить последнее, главное, самое важное для нее, поймать в себе этот решающий вопрос, который все ускользал, не шел на ум, без чего и уйти нельзя. И вот нашла, спросила в тревоге: — Не случилось ли у них чего?! Что это они уехали?

Женщина с досадой глянула на старуху: мальчиковые ботинки, деревенская юбка, плюшевый жакет, — сказала с насыщенным сожалением:

— Квартиру получили, — и захлопнула дверь.



26

Антон взглянул вверх: старуха неподвижно стояла перед дверью; бумажка с адресом висела в узловатых пальцах. Он пробежал через три ступеньки, позвонил. Никто не вышел. Он прижал пальц к звонку и держал, пока дверь не открылась.

Теперь женщина была рассержена. Она даже открыла рот, но увидела новое лицо, забыла возмутиться.

— Вы посмотрите,— медленно проговорил Антон, глядя ей в лицо.— Может быть, адрес оставили.

Она немного помолчала, потом сказала:

— Посмотрю,— и закрыла дверь.

Они стояли, ждали. В парадном было тихо, с разных этажей сквозь закрытые двери доносились глухие звуки. Позади откуда-то запах жареного мяса.

Антон почувствовал голод, вспомнил снедь, приготовленную мамой к проводам, слгнут слюну. Подумал, что в армии будет вспоминать мамины обеды и те холодные ужинчи под газетой, которые ждали его, когда он, высокочив из темной закрытой станции метро, бежал по ночных переулкам, предвкушая вкусную еду, торопился, как голодный молодой волк.

Он подумал, что будет вспоминать и эти последние поезда, пустынные вагоны, развозившие рабочих второй смены и подгульяющих полуночников, и уснувшие станции, иочные московские улицы, тем-

ные дома, гулкую внятность своих шагов, и одиночные бессонные окна.

Дверь отворилась, женщина молча сунула старуху бумажку и обиженно захлопнула дверь. Антон заглянул, присвистнул.

— Голяново! — и сказал, как товарищу: — Туда пилить и пилить.

Она скрученено покивала и спросила:

— На метре?

— Не только. Метро, потом автобус. Лучше сразу на такси.

Ему приятно было выглядеть видавшим виды горожанином. Она печально вздохнула. Он посмотрел на часы — без двадцати три.

— Пойдемте, посажу вас, — сказал Антон и взял чемодан.

27

Снова они шли через двор, переулками вышли на Арбат.

— Подождите, — сказал Антон и поставил чемодан, — поймаю машину.

Она стояла, вся в своих мыслях, он танцевал на мостовой, махал руками; все такси были заняты.

— Не горюйте, бабушка, — сказал Антон весело.— Адрес есть, доберетесь.

Она улыбнулась, повернула. Потом осмотрелась, увидела красивые старинные дома и с ними другие, серые, под самое небо.

— Ох и дома! — сказала она, задирая голову а Антон засмеялся. Ей стало совсем весело, легко.

Наконец им повезло, машина остановилась. На картонке под ветровым стеклом стояло 18.00.

— Куда? — спросил шофер.

— Багажник откроите, — сказал Антон.

Водитель вылез из машины, пошел к багажнику. Антон открыл заднюю дверь.

— Садитесь, бабушка.

Она полезла на заднее сиденье.

— Вот и довезут вас, куда надо, — сказал Антон. — Бумажку покажите.

— Спасибо, родной, дай бог тебе здоровья. Без тебя пропала бы...

Антон сунул члендман в багажник.

— Ты не едешь? — спросил водитель.

— Нет, я так, помог только...

— А-а... — протянул шофер и хлопнул крышкой багажника. — Посторонний?

— Да...

— Ничего, отвезем. Куда ешь? — спросил шофер.

— В Гольяново.

— Ого! Бабуля, это далеко, дорого станет, — сказал шофер. — Деньги-то есть?

— Сколько? — осторожным, тонким голосом спросила старуха.

— Пятерка...

— Пятьдесят рублей! — ахнула старуха и всплеснула руками.

— Пятьдесят — это когда было. Теперь пятерка.

Антон тоже нагнулся, и теперь они смотрели друг на друга через кабину.

— Повезете по счетчику, — сказал Антон.

— Ты вот что, — сказал шофер строго. — Ты не в свое дело не суйся. Посадил — гуляй! Дальше тебя не касается.

Антон посмотрел на часы: почти три.

— Ладно, — сказал он зло, открыл переднюю дверь и сел на сиденье. — Поехали.

— Шел бы ты, мальчик... — угрожающе начал шофер.

Двумя пальцами Антон молча потянул картонку, прижатую к стеклу. Ни обратной ее стороне было номер парка и телефон диспетчера. Вытища, положил в карман. И ждал спокойно, скучал.

— Ах ты!... — свирепо сказал шофер и замолчал. Потом добавил угрюмо: — Верни.

— Приедем, верну, — ответил Антон.

— У меня машина неисправна.

— Вызываите аварийную, мы подождем.

— Я в пару поеду.

— Поехали...

Но шофер не тронулся с места, закурил и сидел не двигаясь, молчал. Старуха робко застыла на заднем сиденье. Ей было боязно, что шофер гневается, что она причина гнева — наделала всем хлопот, и чувствовала она себя кругом виноватой. Сидели, ждали. Мимо проносились машины.

Шофер докурил, бросил окурок в окно, крутанул резко ручку счетчика и... поехал. Антон сунул картонку в проволочный зажим.

28

Они мчались по улицам. Солнце горело и ярко мигнуло в окнах, вспыхивало и гасло в стеклах машин, и блеск его гладко скользил по витринам, отражавшим глубину улиц. Мимо плыла Москва.

— Видели мы таких, — ворчал шофер. — По счет-

чику! Да по счетчику я тебе сам заплачу, чтобы ты ко мне не садился. Все грамотные стали права качают. А что у меня план, ему дела нет. Приедем, кто ко мне сядет? Холостяком поеду. За свой счет...

Было это неинтересно, скучно, тягостно. Но Антон не слышал почти, так, краем уха, издали, глухо Он смотрел в окно.

Он че видел отдельно каждого человека, дом, окно, каждое отражение солнца, но все собралось в нем, свело в одно — движение, блеск, многощелье, переменившая живость города, громадные новые здания, старинные особняки, исчезающие печальные дома из дерева, знаменитые церкви, стадионы, пестрота, краски, разноголосица звуков, бульвары, парки, мосты, набережные, вокзалы... В нем сейчас жил весь огромный город, такой суетный и беспокойный, но в то же время такой привычный, свой, домашний, в котором собралось, слилось, свилось в одно так много разного, несвместимого, и оттого столь многоликий, но и столь прекрасный. Он даже рад был, что случилась оказия: напоследок проехаться по Москве.

Хлынули какие-то светлые потоки, переливались, были, струились, празднично разгорались. И даже если гасли, то легко, без сожалений. Он поверил, что да, теперь запомнит, увезет с собой, готов к отъезду — твердо, всерьез; появилось предчувствие нового и даже нетерпение: скорей в дорогу.

Навстречу текли улицы, площади, город открывался перед ним: они остались один на один.

Далеко, за толстой стеной, еще звучал недолго голос таксиста: «Ну днем, ни ночью нет тебе покоя, мотаешься, никто спасибо не скажет...» — но глухо, ватно и все слабел, пока не исчез. Антон один двигался по городу.

Все было светло, прозрачно, чисто. Солнце дробилось в стеклах, воскресало многократно, и Антон забыл обо всем, кроме того, что он прощается с Москвой.

Они проехали старую часть города. Потянулись неизвестные районы, пустыри и поля, застроенные новыми домами, иногда в конце улицы был виден лес.

Изредка среди высоких и длинных зданий неожиданно и странно возникали остатки прежних деревни, темные срубы, огороды, сады, однокровные, не-прикаянные церкви... Они казались детьми, заблудившимися в уличной толпе. Когда-то это был неблизкий пригород — за Преображенским, за Измайловом — да и теперь он оставался дальней окраиной Москвы.

И улицы здесь назывались далекими местами России: Байкальская, Алтайская, Уссурийская, Камчатская... Антон даже почувствовал себя в далекой дороге.

За домами и полем гудела кольцевая дорога, и сразу за дорогой живописно лежала настоящая русская деревня и темнел лес.

— Все. Дальше не поеду, — вышибли его из движения слова таксиста.

Машина стояла. Здесь был конец автобусного маршрута, кольцо. Впереди тянулся большой пустырь. За ним белели новые дома. Через пустырь вела ухабистая дорога.

— Что? — рассеянно спросил Антон, стремительно возвращаясь из праздника в будни. — Приехали?

— Мне машина дороже, — сказал таксист.

— Отвезем бабушку, я поеду с вами назад, — предложил Антон.

— Это городской транспорт, а не вездеход, — ответил шофер, радуясь, что игра пошла в чужиеворота и можно отыграться. — Я не обижен. Платите деньги и освобождайте машину.

«Опоздаю», — подумал Антон и сунул деньги.

— Такие, как ты... — начал он, но слов не нашел и вылез, хлопнув дверцей. Потом вытащил старуху и чемодан.

У бровки паслись автобусы. Машина круто развернулась и ушла.

— Вам туда, — сказал Антон и показал на далекие дома. Старуха из-под ладони по-деревенски напрягала глаза.

— Далече, — сказала она.

И Антон стоял, смотрел.

— Вон куда заехали... — бормотала старуха, — пути нет, почтый, деревня...

Она протянула Антону деньги, но он не взял, нерешительно посматривая на часы, на дома, на автобусы.

А она была так озабочена, что ничего ему не сказала, все бормотала что-то неразборчиво и так, бормоча, ухватила свой чемодан, поволокла. Антон догнал ее и отнял чемодан.

29

Все свои девятнадцать лет прожил Антон в Москве на Арбате. Он не знал, откуда старуха приехала, не был никогда в деревнях, не видел ничего, кроме города, — субботние подмосковные походы не в счет. Но что-то, не отмеченное им самим твердо, ещетайное для него, то, что скончавшемуся веку тревожило людей родной земли, кем бы они ни были, проснулось в нем и держало в трепете.

Не мог он бросить эту старуху.

Но он об этом не думал, не понимал и даже злился, что теряет время.

Он шел размашисто, иногда меняв руки. Старуха торопливо семенила, отставала, распараскалась вся в своем жакете, утирая пот узловатыми пальцами и все бормотала что-то на ходу.

Они нашли высокий белый дом, поднялись по лестнице: лифт то ли еще не работал, то ли уже не работал, — позвонили в квартиру.

Долго не открывали.

Потом зашлепали шаги, щелкнул замок, молодая женщина открыла дверь.

Мгновение она смотрела спокойно и отчужденно, не понимала. Потом охнула, засуетилась:

— Мама! Вот не ждали! Вы же в ноябре собирались! А мы думали, устроимся — напишем. Как вы нас нашли? А да, Саша оставил адрес. Да проходите, проходите!..

Антон внес чемодан в прихожую.

— Как же все-таки вы нас нашли? Тут не всякий москвич найдет. А Саша на работе. Да снимите жалко-то...»

— Я пойду, до свидания, — сказал Антон.

Женщина заметила его.

— А, этот мальчик помог вам? Минутку, молодой человек...

Она выхватила из сумочки рубль и протянула Антону. Он удивился, взглянув на деньги, на нее, посторонился, по-прежнему удивленно посмотрел на старуху, отодвинувшись боком и вышел.

Потом он бежал вниз, прыгая через ступеньки. Было четыре часа. Он бежал по живописному пустырю, веселил иногда себя — взмахивал руками, подпрыгивал высоко, корилю рожки, орал на разные голоса, — дурачился, мог позволить себе, имел право: целый день был серьезным и правильным.

На дороге ему повезло, поймал такси, спокойно доехал до Галинского дома, но никто не вышел, не открыл дверь.

— Так и будет, — решил Антон и побежал домой. Такой был день.

30

Гома его ждали. Ждала вся в тревоге мама; ждала — странно! — Галя; ждал Виктор и — на тебе! — Лена, сколько лет, сколько зим.

Ждал его и стол. Антон твердо знал: в ближайшие два года такой стол он увидит только во сне. Если приснится... Он проглатил сплюн.

— Где тебя носит? — спросил брат. И больше ничего, замолчал. Антон даже удивился. Ведь такая зануда. А тут спросил, и все. Не стал пилить. Да и спросил-то без упрека, по-приятельски, не зло. И даже насмешливо, даже грустно, печально немного.

— Я давно тебя жду, — сказала Галя.

— Сядь, поеши, — сказала мама.

Только Лена молчала.

31

IIIел уже шестой час. Антон мотался по комнате, укладывал чемодан, расшвыривая все, что приготовила мать. Иногда подскакивал к столу, хватал, что попадало в руку, вплоть до жевал. Все сидели, молчали, следили за ним, и только мать время от времени протестовала, когда он отbrasывал что-то важное — шерстяные носки, или теплую рубаху, или кальсоны, без чего не то что в армию — за порог не пельзя.

Хорошо бы, конечно, посидеть час-другой за столом, поговорить со всеми, с каждым и хоть минуту побывать с Галкой наедине.

Лена сидела у стены и смотрела на Виктора, стараясь, чтобы не заметил. «Изменялся», — думала она, — складка на переносице, и непреклонности в лице меньше, непримиримости... И железа в нем побудилось, задумывалось часто. И глаза грустные немного, лицо озабоченное, говорит мирно, по-человечески, а временами даже тепло, даже мягко, печально даже... Как будто отогрели немножко, оживили...»

Антон вспеске шарил глазами по комнате, все ли взял, заметил в углу коньки, вдруг разознал жалость — к нам и к другим своим старым вещам. Он не подумал — угадал: когда вернется, многое не понадобится, будет другим. Он на ходу поцеловал мать, схватил чемодан, сделал всем ручкой — «пок» и умчался. Такие вышли проводы. И было после него тихо-тихо. Только мать ладонью вытирала слезы.

Потом и она успокоилась и сидела, не двигаясь. Все молчали. Виктор в этой комнате казался посторонним. Он и почувствовал себя посторонним. Бывают минуты, когда умеешь только женщины. Они сидели все разные, но сейчас они были связаны вечной связью женщин, провожающих мужчин в армию.

Виктор вышел на кухню, сел на табурет и стал думать.

Он сидел неподвижно и думал, вспоминая брата, жену, себя, маму, наездницу и весь этот день. «Что же дальше, что дальше?» — думал он.

Аnton бежал по улице. За домами садилось солнце. Нестерпимо горели стекла. Солнце заходило, набиралось мёда, и все становилось медным, и медью горели окна, отражавшие свет. На бегу Антон подумал, что забыл напоследок взглянуть на свои окна.

В светлом медном тепле угасал погожий день. У года осталось их уже немногое; славная пора кончилась, приближалось несчастье; а впереди была еще неизвестность.

Но пока светило солнце, и легкий желтый лист невесомо и долго метался в прохладно-теплом воздухе и прикорнула на чём-то подоконнике. И славно так было бежать в тишине, в закатном свете — вроде не торопился вовсе, не летел сломя голову, но текли, разминал себе в радость кости.

Издали на встречу тронулся грузовик, в кузове сидели стриженые новобранцы. Антон понял, дернулся, рванулся, замахал руками.

И тут же пружинно распахнулась дверца, и вслед за ней на подножку вылез хмурый капитан в полевой форме с портупеей.

— Григорьев? — спросил он негромко.

— Да... — ответил Антон, тяжело дыша.

— Что ж вы в армию опаздываете? — проговорил капитан медленно, боясь себя расплескать.

— Я бежал...

— Бежали? — усмехнулся капитан, сдергиваясь из последних сил. — Хорошо начинаете...

Антон хотел объяснить, что так вышло, ненароком случилось, страшлось... И вдруг разом понял: не нужно.

И так же разом подвельась черта под всей прежней жизнью, в которой можно было объяснять и оправдываться.

— А ну марш в машину! — скомандовал капитан.

Антон кинулся к заднему борту. Чемодан расторопно поймал один из сидящих; Антон мимолетно узел гитариста, любителя пива.

Машина дернулась, Антона с борта рвануло назад. И он не удержался бы — несколько рук подхватили его.

«Ничего, не пропаду», — подумал Антон на лету и врезался в гущу тел.

Грузовик миновал Дорогомиловскую заставу, проехал по Кутузовскому проспекту мимо Бородинской панорамы, мимо Триумфальной арки, выскоцил на шоссе и полетел дальше.



Дондок Улытуев



Перевод с
бурятского
Ст. КУНЯЕВ



Время движется величаво
вдоль вселенной, словно река.
Ни конца у него, ни начала —
скрыты в дымке его берега.
То ревет оно, то бесшумно
в вечности воды своим стремит...
А земля, как малое судно,
по его просторам бежит.
То светлеют временем воды,
то темнеют в ненастный час...
Но прекрасны мирные годы,
когда беды минуют нас,
когда лебедь летит к озерам,
прижимаясь к другу плечом,
и когда с землей разговором
трактор, а не танк увлечен.
Ничего нет прекрасней поля
в синеватых дымках костров,
позабывшего привкус горя
и огонь мировых катастроф...

Гла за

Пляшет огонь в человечьих глазах,
и тускло сверкает лед.

В глазах человечьих — улыбка и страх,
радость, и боль живет.

В глазах оленя шумят леса,
 журчат лесные ручьи...

Они, как и человечьи глаза,
то холодны, то горячи.

Вспоминаю свой край

В невеселом, сумрачном kraю
не хватает солнца человеку.

А без солнца родину свою
степняку трудней себе представить.

Где, она, моя большая степь,
где мое начало первой песни?
Где она, с кем повстречал рассвет
в первый раз под утренней звездою?



АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ

наводок

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. НОВОЖИЛОВА.

25 мая. 14 часов 30 минут.
Сергей Иванович Храбриков

С вежеватель лося Храбриков взялся сам. Охотник он был никудышный, но зато славился по части разделки туш еще дома, имея процент от этого своего, как нынче говорят, хобота. Он колол поросенок соседям, мог забить корову. Не очень сильный физически, хотя и жилистый, он применял в таких случаях свои скотобойные хитрости — сперва оглушал животину тяжелым ядром, купленным в магазине спортивных товаров, просверленным специально для этой надобности и надетым на топорище, а потом колол, целись заостренной, как бритва, финкой прямо в сердце.

Окончание. Начало см. в № 7 за 1972 год.

Дома он занимался этим за мзду — приличную долю мяса или за выпивку, и все, кто держал в окруже скот, знали Сергея Ивановича как мастера этого дела.

Здесь Храбриков свежевал дичь тоже не зазря. Была у него, задетого однажды Кирьяновым, обозванного едва ли не жуликом, одна своя идея, вроде бы как страховка мало ли на какой случай.

Для этой своей страховки он купил за двугривенный жестянку с зубным порошком, порошок вытряхнул за ненадобность — своих зубов у Храбрикова не было — только протезы, — а жестянке нашел другое применение.

«Сучий ты сын! — думал он всегда в таких случаях о Кирьянове, — мальчишка солливый, нашел кого оскорблять!». И, свекнувшись туси лосей, первым делом выковыривал из них кирьяновские пули, кладя в коробку из-под зубного порошка.

Никто никогда на это занятие его не обращал внимания, Храбриков помаленьку заполнял коробку, мечтая набить ее полной, а потому и шутли в своем стиле, как пошутил сегодня.

Когда вертолет, закончив преследование, вернулся к прогалине, где лежал убитый, как они думали, лось, зверь был еще жив.

Испуганный громом винтов, он приподнялся на согнутые передние ноги, жалостливо крича.

— Ишь ты! — сказал Кирьянов, сдергивая с плеща карабин. — Живучий!

Понимая, что будет дальше, Храбриков, улыбаясь, шагнулся к начальнику, тронул его за руку и просьительно сказал:

— Дайте же, Петр Петрович, а! Стрелок из меня никудышный, так хоть малость поупражняюсь.

Кирьянов снисходительно улыбнулся, хлопнул больно его по спине и протянул оружие.

Крадучись, Храбриков подошел к лося на верное расстояние и, целясь в холку, дал три выстрела. Зверь рухнул, не издавав больше никаких звуков, но был еще жив, мотал широкой мордой.

— Что ты, как хорек, крадешься! — крикнул Кирьянов Храбрикову. — У него позвончик перебит.

Экспедитор хихикнул, подступил еще на пару шагов. «А то я не знаю, — ответил про себя Кирьянову, — был бы не перебитый, так и полез бы я тебе на рожон!» Он прицепился снова и, чувствуя сильные толчки выстрелов, закончил обойму.

Вчетвером они принялись втягивать матерого лося в кабину, кантуя его, крахтя и надсаживаясь, потому что туша не проходила в неширокую дверь. Не помогала даже кирьяновская мощь. Они отступили, закурив, соображая, как быть.

— А ну-ка, орлы, — подумав, засуетился Храбриков. Глаза его засверкали, дряблые щеки порозовели. — Не найдется ли топора?

Топор нашелся, и Храбриков изложил свою идею.

— Бревно кабы не полезло, как поступили б? — спросил он, изображая сметливого простоватого мужичка. — Распилили, разрубили. Вот и мы его разрубим. — Он засучив рукава, похихиковав. Теперь настала его пора.

Кирьянов поморщился, сказал:

— Ну и мяснись ты, дядя! — но протестовать не стал. Отошел вместе с летчиками в сторону, чтобы не забрызгал его находчивый экспедитор.

Храбриков долго рубил лося и ни разу не поморщился за все время.

Закончил работу, вспотев, с лицом, избрызганым красными точками крови, он приветливо, радуясь себе, пригласил остальных к завершению погрузки.

Тушу по частям втащили в машину, летчики торопливо заняли свои места, машина поднялась в воздух...

Теперь, доставив добчу в поселок, Храбриков снова занялся разделкой туши. Он сдирал с мяса остатки шкуры, полосовал его на огромные куски, отыскивая при этом блестящие конусообразные пули. Время от времени жестянка из-под зубного порошка негромко взвихивала, еще один кусочек металла ложился на ее дно, и было невозможно выяснить, какая пуля кириановская и какая его, Храбрикова.

Он свежевал лося, а соображал другое: как подсадить эту дурь девку, начальнику партии.

Такой хай сегодня устроила, вспомнил тошно. Тихоня, тихона, а вдруг заговорила! Лодку, видите ли, он не доставил. Жалко, Кирьянова не было, уже ушел к себе, а то бы он настропила его против Цветковой. Заставил бы его притчичить ее. Он-то, чай, понимает, что, кроме этих лодок, полно других забот у экспедитора.

Храбриков оторвался от мяса, постучал, задумавшись, финкой по столу.

«Очень может быть, что девка сама к Кирьянову пойдет,— подумал он,— тогда тот метнуть может, тут такая игра— кто на кого раньше наговорится».

Сергей Иванович встал, с трудом подняв миску, набитую мясом, отнес на кухню. Там уже висююша жарка и паркет. День рождения Кирьянова отмечали всегда широко и щедро. Оставшиеся в поселке собирались в общей столовой, завозили заранее ящики выпивки, главным образом спирта, напитки для здешних краев и привычного и рентабельного: хоще покрепче — так пей, хоще — разбавляй, получается вроде водки, и тогда возрастает объем — из бутылок спирта две — водки.

Пошутил с поварихами, выхвачив со сковородки ломтик поджаренной, хрупкой картохи. Храбриков вернулся во двор, к своим мясным делам, и еда снова взялась за нож, как почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он встрепенулся, словно жулик, которого застали за воровством, и закрутил головой.

Перед ним, прислонясь к дереву, стояла Цветкова.

Она глядела приструсья, зло, словно выносила приговор, и Храбриков встал под ее взглядом, чуя недоброд. «Настучала-таки, сучка,— подумал он про себя,— ну, да не испугаешь, видели мы таких».

— Ну вот,— сказала Цветкова,— опоздали вы, Сергей Иванович.

— Никуда я не опоздал,— буркнул он, успокаиваясь, приходя в себя. «С Кирьяновым-то я какнибудь разберусь»,— подумал он, уронив взгляд на жестянку с пулями.

— Опоздали,— повторила Цветкова.— Вот радиограмму держу.— Она помахала листочком.— Им уже не лодка, а вертолет нужен.

«Ага, голубушка!— сообразил Храбриков, уловив в голосе Киры неуверенность.— Чего-то у тебя не так, за меня спрятаться хотишь?» Он почесал лоб, поглядел на нее хмуро и сообщил, выстраивая в цепочки ход своих потайных мыслей:

— Один вертолет на ремонтне, другой только с задания вернулся. Вот пообещают и полетят. А еще лучше завтра.

Завтра! — нервно засмеялась Цветкова, и Храбриков снова уловил это.— Людей запишет, а вы — завтра!

«Раз запишет,— моментально сообразил Храбриков,— вывозить надо немедля, но пусть помучается,

подождет эта дура». И ответил, оглянувшись вокруг, нет ли кого поблизости, свидетелей не найдется ли:

— Ну, раз так, тогда конечно.

— Значит, отправите! — обрадовалась Цветкова, и Храбриков кивнул, радуясь про себя: попробуйка доказки, что был этот разговор. И припомнил еще одну подробность про Кирьянова.

Там, на прогулке, когда вгрузили лося, разрубленного надвое, и Храбриков для аккуратности присыпал снегом кровавое кашево, оставшееся на проглажине, а летники уже торопливо прошли в кабину, Кирьянов, улыбаясь и трепля Храбрикова за плечо, спросил, кивая головой на тайку:

— А впрямь ведь, дядя, губерния целая!

Губерния! — охотно согласился Храбриков.

— А правда, дядя, что меня поэтому губернатом кличут? — игриво спросил Кирьянов.

Цепкий Храбриков понял, к чему этот разговор, обрадовался ему, подтвердил, отводя глаза и как бы сглаживая передать корошему человеку, что говорят о нем заглавно:

— Как есть, кличут.

Кирьянов зареготал, опять больно хлопая экспедитора по плечу, и Храбриков хихинул тоже. Хихинул от души: нет, не зря он жизненный итог такой сделал, что при должности никогда не пропадешь. Не то что на должности.

Подобность эта держалась у него в голове до тех пор, пока Цветкова, довольная разговором с ним, не свернула за избу.

«Петр Петрович не пропадет,— подумал он удовлетворенно и хихинул.— Кабы вот только я его не продал!»

— Юридически пули в жестянке коробке и проишествие на Енисее не связаны между собой. Это особые, отдельные дела.

— Что ж. Вы положили козырную карту. Я действительно не ожидал такого.

— Вы, кажется, полагали, что хорошо разбираетесь в людях?

— Оставил это. Жестянка с пулями — убедительное доказательство. И я готов ответить за это. Но почему вы ставите знак равенства между охотой на лосей и тем, что случилось?

— Но разве это не две стороны одной медали?

— Я не понимаю.

— Понимаете, но не хотите признать. Итак, оставим пока лосей. Вернемся к людям.

25 мая. 15 часов. Слава Гусев

Kогда на рассвете Семка разбудил его удивленным криком и, высунувшись из палатки, Слава увидел, что холм, на котором расположены лагерь, окружён водой, он не испугался, не растерялся, а велел греть завтрак.

Заспанные и взлохмаченные выпутились из нагреваемых спальников дядя Коля Симонов и Орелик, бесцеремонно заколотились, озираясь по сторонам, но Славина невозмутимость произвела на них свое действие.

— А что, мужики! — заорал Валька, подбегая к краю снега и брызгая водой в лицо. — Это даже ничего! Речка сама подгребла! Хоть умоемся!

— Снег, обратно, оттавивать не надо, — поддержал его Семка, набирая чайник. Костер уже трепыхался, будто живой, щелкая сучьями, норовя заговорить, создавая уют и полевую домашность.



— Погодьтесь орать! — осадил парней дядя Коля. — Еще натужимся счас, похоже по всему, таскать оборудование придется.

Гусев обошел образовавшийся остров по кромке воды. Снег заметно осел, ноги хлюпали в снежной жижке, но глубоко не проваливались. Видно, им повезло: они устроились на холме, основательно подтаявшем снизу, и земля находилась неглубоко.

Счастья, однако, в этом было маловато, приходилось что-то соображать, хотя чем внимательней приглядывался Гусев, тем больше успокаивался: постепенно созревал вариант действий. Он воткнул у стыка воды и снега сучья для ориентира и подошел к костру. Вчерашний ужин дымился, разъяряя аппетит, они забаранили ложками, успокоившись при виде хорошей еды и хорошего утра.

Солнце, словно играя, пряталось за редкие облака, выбегало снова, синяя прозрачная вода, роняя слепящие блики. После завтрака наступил обычный сеанс связи, и, когда Семка настроился, Гусев, не говоря ничего другим, не советуясь, продиктовал радиограмму.

Семка щелкнул выключателем, заканчивая передачу, а Орелик сказал глуховато, видно, переживая:

— Слава, может, не надо самим?

Гусев сдержал себя, не выразил ничем своего неудовольствия, спросил:

— Что ты предлагаешь?

— Вызвать вертолет, пока позволяет площадка, и перепрервать вещи по воздуху.

— Я думал об этом,— сказал Гусев. Он действительно думал об этом и говорил правду.— Только ты плохо знаешь Кирьянова и его прихлебателя.

— Храбриков! — спросил дядя Коля. Гусев кивнул.— Да уж, этот хорек вонюч,— пробормотал Симонов.

— За лишний перегон вертолета устроят канитель. Могут сократить премию.

— Но мы же попали в аварийную ситуацию,— возразил Орелик.

— Тут неглубоко,— не согласился Гусев.— Перенесем, может, не замочив ног.

Валька недовольно умолк, не согласившись, видно, с его решением, но Гусев постарался сразу забыть это. «Пусты, пусты выбрасывать свои взгляда»,— подумал он и, выбрав из сучьев багет покрепче, взвалил на себя чеч-то рюзак.

— Погоди-ка,— остановил его дядя Коля.

Он подхватил штатив, приборы в футляре, по примеру Гусева придирично выбрал дрын, и они осторожно ступили в воду.

Первый десяток метров к высотке, где стояла трilaterальная вышка, они прошагали легко и быстро, лишились щоколотку замочив сапоги, и Гусев было обрадовался, что все идет пока гладко.

Прикидывая, он решил, что ничего страшного пока не произошло, просто где-то в верховых начались бурная потайка, вода залила коренной лед и пошла как бы вторым руслом, а это еще ничего, перекинуть можно — такая вода быстро не поднимется, может так и простоять тонким слоем до самого ледохода.

Однако радость оказалась недолгой. Идя по щоколотку в воде, Гусев и дядя Коля все-таки несколько раз остутились — земля тут, видать, была неровной, колдобистой, да и плотный слой снега под водой начиналмягчаться — приходилось торопиться.

Гусев ощущал, как ледовая вода неприятно жжет ноги, но widać тем не менее не подавал, делая это скорее по привычке, нежели из желания скрыть от дяди Коли.

— Охонулись? — спросил тот хрипло, с сочувствием и вдруг спросил:— А может, послушать?

— Чего послушать? — не понял Гусев.

— Орелика,— смущаясь, ответил дядя Коля.

Словно эти будто стегнули Гусева, — вот пришла мало-мальски хреновая ситуация, и его, начальника группы, решение уже обсуждают кому не лень, — он резко, забывшись, пошел вперед, расхлестывая воду, и провалился по колено.

Симонов помог ему выбраться, они постояли минуту, отдохнули, переводя дух. Ледяная вода как бы отрезвила Гусева. Он постарался взглянуть на себя дяди Колиними глазами. Ей-богу, это начиналоходить на Кирьянова, который только и знал, что горлопанил: мой вертолеты, моя экспедиция, моя работа. А у меня, выходит, «мое решение»!

Он обернулся. От лагеря они отошли уже далеко, высотка с вышкой была ближе, и, смягчаясь, Гусев сказал дяде Коле:

— Давай все же доберемся.

— А я разве что говорю? — ответил Симонов.

Гусев пошел снова, продавливая дырным подводный снег, стараясь нащупать твердину, и уже у самого почти холма провалился по пояс.

Дядя Коля стоял сзади. Гусев, приказав ему не трогаться, попробовал было выбраться, но оказалось, выбраться некуда, тут шла низина. По пояс в воде, он прорыдал сквозь хлыбы до подножия холма, вылез, даже не отрываясь, поднялся повыше, снял с себя рюзак и снова вернулся в воду.

Гусев шагал, раздвигая рукой плывущий колючий снег, не чувствуя ног, не чувствуя пысицы, сдерживая себя, чтобы не показать слабости перед дядей Колей и не застонать.

Он принял у Симонова штатив и приборы, снова велев ему стоять на месте, опять вернулся к высотке, уложив принесенное рядом с рюзаком.

Не оборачиваясь лицом к дяде Коле, Гусев с усилием закусил губу. Боль слабым толчком пронзила тело... «Надо бы выпить,— подумал он.— Спирту. Но аварийный запас, наверное, у палатки». Наклониться и проверить принесенный рюзак не было сил. Гусев сорвался, уняв дрожь, и повернулся к дяде Коле.

— Симонов! — крикнул он.— Вели ребятам сворачиваться! Несите сюда имущество. Я здесь перенесу.

— В себе ли, начальник? — ответил ему дядя Коля, не думая уходить.— Сдохнута через два дня хочешь? Никаких планов тогда не кончим. И премии не видать.

— Хрен с ней, с премией! — крикнул Гусев.

— Тогда баш на баш,— ответил Симонов.— Что вертолетом, что на гору. Здоровье токо сохраним! За кой ляд ломаться?

— Ничего! — не очень уверенно сказал Гусев, думая о том, что ему надо поскорее выпить, чтобы согреться.

— Себя не жалеешь, ребят пожалей! — крикнул ему дядя Коля.

На это Гусев ничего не ответил. Он постоял, едва сдерживая дрожь, смерил расстояние, отделявшее его от Симонова.

Тридцать метров полужидкого снега, пробитого его телом, смотрелись обманчиво и неспасно. Он скользил и шагнул в это месиво, с трудом думая, что теперь остается одно: вертолет.

Уже в лагере обнаружилось — аварийный запас спирта Гусев унес на высотку. Возвращаться сюда, или опять через этот ад не было сил. С трудом, отвергая помыслы Семки и Орелика, он переоделся в сухое, но согреться это не помогло.

Снова, не советясь и ничего не объясняя, он велел Семке вызвать экспедицию по обычной волне и попросить вертолет.

— Может, по аварийной? — настырно спросил Семка.

— По обычной,— упрямо ответил Гусев, жадно глотая крутой кипяток и понемногу оттавая.— Пока ничего страшного. Тут пятнадцать минут лета.

Наклоняясь, Орелик подлил Славе заварки. Они посмотрели друг на друга, и Гусев не отвел глаза. Орелик был прав, и Гусев признался это.

— Не горюйте, ребята,— сказал он, улыбаясь по-простакшившимися губами.— В случае, так и не больно нужна нам эта премия.

На другой стороне костра хмыкнул дядя Коля.



— Ты это деньгами-то больно не сорись, — посогревал он, пощучивая. — Деньги нужны вся кому, то есть даже, как кислород. И мне, старому, и Семке, молодому, и тебе, многодетному.

Вечно хмурый, дядя Коля шутил редко, но уж когда шутил, было весело всем и ему самому тоже. Они рассмеялись.

Гусев лежал на полушибке, брошенном поверх брезента, смеялся, а холодными, несмеющимися глазами отмечал, что сучья, которые он воткнул утром у кромки воды, едва торчали из нее.

— Третья радиограмма, как зарегистрировано, принята в 15 часов 30 минут.

— Она тоже не значилась аварийной. Подчеркивало: не значилась.

— Да, Гусев был спокоен очень долго. Он верил в экспедицию, верил, если хотите, в вас.

— Но он обязан был выйти на аварийную волну и поднять нас по тревоге. Таковы правила.

— В свое время он сделал это.

— Что такое «свое время»? И разве я виноват? Меня не информировали!

— Знаете, почему не информировали? Вы боялись! А когда Цветкова доложила вам, что вы сделали?

— Был праздник. День моего рождения.

— Кажется, тридцать шесть?

25 мая. 16 часов. Семен Петрущенко

— Так и сидеть будем? — спросил Семка, откладывая дядю Колю, Славу, Орелика.

— Плясать прикажешь? — откликнулся Гусев. — Валяй. Это полезно.

— А и то! — поднялся дядя Коля, с треском разминая кости. — Поразмыслим не грех.

Шутя, выбивая в снегу глубокие рыхвины и подыгрывая себе на губах, он прошелся вгризыяду. Обрадовавшись, Семка выхватил расческу, приложил кусочек газеты, засунул в свой инструмент, наигрывая пронзительную жужжащую музыку. Дядя Коля наплясался, хохоча поддел Семку под бок, тот повалился, дурачясь, болтая ногами и не переставая наигрывать на расческе бурный марш. — Семка Симонову был не паря, — тогда он поддел Славу, вызывая на бой.

Гусев поначалу отлынивал, отмахивался от дяди Коли, но это было не так-то легко: Симонов захватил Славу за шею, перевернув в снег. Пришлося за них гнаться, бороться, то уступая, то побеждая, едва дыша, слабея от хохота.

Семка изображал судью, гудел в свою расческу, Орелик был за публику, свистящую, орущую.

Наконец они утихомирились, уселись вокруг костра, отдышились, утирая со лба пот, обмениваясь колкими шутками насчет чьей-то силы, а чьей-то немощи.

— Ты не силен, но широк! — шумел дядя Коля. — Никак тебя не перевернешь чабок.

«Публика» хохотала, а Слава отзывался в ответ:

— Сам ты матрасная пружина. Как ни дави, только колешься!

Довольный общим балагурством, желая продолжить, поддержать начатое, Семка сказал:

— Мужики! Теперь потреплемся. Вот, когда я в лагерь ездил, мы перед сном в палате байки рассказывали. Старались страшнее. Только чем страшнее байка, тем больше смеху. Давайте и мы!

— Сказки, значит? — спросил дядя Коля. — Не-а, я сказок не знаю. Вышел из возраста.

— Я тоже, — потянулся Гусев. — Вот вздремнуть бы сейчас.

— Ну, а правду? — просительно сказал Семка.

— Какую же тебе правду? — усмехнулся Гусев, кладя голову на кулак и прячась под шубу.

Семка посмотрел вдаль, словно выискивая там, какую он правду хочет, обвел глазами воду, разливавшуюся вокруг, и придумал:

— Ну, к примеру, про стихийные бедствия, раз мы тут, как цыпки, загораем.

— Эх, хватит, — взорвался Гусев, — стихийных бедствий у нас быть не должно. Разве что отдельные наводнения и частные землетрясения.

— Во дает! — кивнул на него Семка.

— Ему иногда вожак попадает, — усмехнулся дядя Коля. — Под хвост.

— А я бы при одном бедствии, — отозвался Орелик. — На Памире. Ледник там двинулся.

Семка заколготился, подтащил к Вальке спальник, устроился поудобнее.

Орелик засмеялся.

— Ты чего это в рот глядишь? — спросил он.

— Слушаю про ледник.

— Ээ... — шутя толкнул его Валька. — Так, брат, не годится. Сам выдумай, сам первый и рассказывай.

Семка сморщил нос, выпучил глаза.

— Я никаких таких случаев не знаю! Ничего такого не видел!

— Ну, тогда поспим, — обрадовался Слава, поворачиваясь набок.

Семка расстроился. Ему так хотелось хоть раз как-нибудь покатиться, пока все вместе и никто не мешает, как в поселке, и никому не надо идти опять маршрут, посидеть немного, поговорить, повеселиться в конце концов. Сколько они вместе ходят и только вечером собираются. Да и то! Поедят, свялятся от усталости и храпят. А он ходит вокруг них или сидит рядом, и поговорить не с кем. Нельзя же так, все дело да дело. А время — мимо, мимо. Потом же жалеть будут — ходили, жили рядом, а поговорить основательно все времени не хватало.

Гусев уже свистел носом, симулируя сон, дядя Коля тоже чего-то скисал, один Валька глядел на Семку выжидающе, и он стал спасать положение, стал спасать эти минуты, когда он дудел на расческе, а дядя Коля плясал и потом боролся с Гусевым.

— Я... это, — торопясь, начал Семка, — про бедствия не знаю. Смешным можно заменить?

— Дуй! — велел дядя Коля. — Вали смешное! — И растянул рот, готовый смеяться.

Семка лихорадочно и тщетно перебирал свою короткую жизнь, неинтересные, обыкновенные случаи, свидетелем которых ему приходилось быть, но ничего, кроме глуповатых анекдотов и разыгрышей, не вспоминалось. Он решил рассказать про один разыгрыш посмешнее, это было не так давно, когда Семка уезжал от мамы в другой город, на учебу в радиошколу, и там втроем с двумя приятелями снимал частную комнату.

Поначалу оба товарища очень нравились Семке. Один, Леня, привез с собой аккордеон и вечерами громко играл, свеся на глаза челку и наклоняя голову к инструменту, словно прислушиваясь. Второго звали Юриком, он был сероглаз, неприметен и любил поесть, но зато здорово работал на ключе, обходя остальных и в чистоте.

В общем, Семка делил свое добродушное поровну между двумя товарищами до одного случая, вернее, разыгрыша, на который толкнул его и Леняку Юрик-мазурек: так они прозвали соседа после этой истории.

Вечером, после занятий, Семен и Ленька пришли домой. Жутко хотелось есть, днем они заняли у кого-то рубль, пообедали, думая догнать до завтра — завтра выдавали стипеншику, но своих возможностей не рассчитали: по дороге на частную квартиру аппетит разыгрался до чрезвычайности. До стихийного промаха бедствия.

У буничной они проверили карманы, вытряхнули медяки, наскребли восемь копеек, взяли булку, покусали на лодку, перевернутую вверх дном, и еще копейка осталась на разживу.

Дальше до дома они трусили легкой рицью, надеясь, что Юрик, любивший поесть, уже дома и у него можно будет разжиться сахаром и маслом.

Юрик, верно, был дома, пил чай из эмалированной кружки, перед ним стояла слегка подкопченный дюраплевый чайник, поллитровая банка, наполовину заполненная маслом, склита синим от некачественного стекла банки, и возлежал солидный куль из грубой желтой бумаги. В куль был сахар.

Семка и Леонид скинули пальтишки, бросили их на кровать, вытищили свою посуду, Ленька налил чай и сказал Юрику, не очень льстясь, но и не очень грубя:

— Дай-ка сахарку-то!

— И маслица! — добавил Семка.

Юрик поднял на них утомленный взгляд, отер испарину, выступившую на лбу, оставил, однако, бусники пота под носом, и, распрымляя свое хлипкое тело, велел:

— А вы просите!

— Ишь ты, — возмутился Ленька. — Как это у тебя просить, интересно, надо?

— Как следует, — проговорил Юрик, прихлебывая чай, — не грубо.

— Да брося ты, — сказал Семка, — давай гони! Вон у тебя сколько.

— Мое, сколько бы ни было! — произнес Юрик, придягая к себе пухленький куль с сахарным песком.

— Все равно не в коня корм, — попробовал убеждать его Ленька, — сколько ни жресь, вон какой худой! — Но Семка оборвал его:

— Плюнь! Пусть подавится, частный капитал.

Они тогда обозлились здорово, разделили городскую булку пополам, захлебали ее несладким чаем и улеглись голодные.

— Во, идиот! — обзвивал Юрика из своего угла Ленька.

— Куркуль! — бурчал Семка.

— Мазурки! — придумывал приятель.

— Юрик-мазурки! — досочинил Семка.

Юрик-мазурки молчал, не замечая перекрестного огня ругательств.

Назавтра Ленька и Семен устроили над соседом жестокую расправу.

Мысль о мести пришла им случайно, ни о чем таком они не думали, даже забыли вчерашнее, но, вернувшись домой и не застав привычно жующего Юрика, возмутились снова.

— Вот гад какой! — шумел Ленька, кочегаря остывшую злость.

— Надо ему отомстить! — придумал Семка. — Насолить как-нибудь за жмотство.

Они расплакнули тумбочки Юрика, глумясь над ее избиением.

— Буркай настоящий! — бормотал Семка. — Сахара — куль, масла — попланки. Даже тройного одеколону полная бутыль. Давай весь сахар сожрем! — загорелся он. — Или все масло!

— Не съесть, — удрученчо сказал Ленька, — а то бы можно.

Он взял бутылку с одеколоном, раскрыл пробку, щедро побрызгался сам, пропил струйку на Семку.

— Пахнет ароматно! — приказал Леньке и вдруг вскочил от хохота. — Слыши! — заропонил он. — Идея! Да-да одеколон в сахар выльем! Во закукарекаем!

Семке идея понравилась, они вылили в песок почты полбутилки, принююхались, попробовали песок на вкус и еле отсплевались.

Вечером пришел Юрик, принес свой любимый чайник, разложил на столе продукты, набухал в кружку песку, положил шесть, не меньше, и поднес ее ко рту.

Резкий запах дешевого одеколона шибанул ему в нос, он попробовал чай на вкус, сморшился, тайком взглянув на ребят, но они внимательно глядели в книжки, задумался ненадолго и вдруг с удовольствием стал потягивать чай, заедая его намасленной булкой. Семка и Ленька переглянулись, расширили глаза, едва сдерживаясь от смеха, а Юрик спокойно допил чай, сплюхнул куль в тумбочку, — сипал сахар, наверное, целый месяц, так и не решившись выкинуть.

— Неужто не пахнет? — удивлялся Семен, когда они оставались одни. — Нос, может, у него запоило?

— Пахнет, — уверенно отвечал Ленька. — Просто жмот. — И поражался: — Надо же, так и дожжал одеколоновый куль.

Эта история врезалась Семке в память, Юрик-мазурки иногда выпытывал из нее для того, чтобы поведать о нем другим, с удивлением и смехом; смеясь, Семка рассказал о нем и теперь, но засмеялся только Орелик.

— Чего же тут смешного? — спросил Слава Гусев.

Семка растерянно поглядел на него.

— А говоришь, стихийного бедствия не видал, — сказал хмуро дядя Коля. — Я вот по свету полазил, где только не бывал, — проговорил он неспешно, — и скажу тебе, Сема, что этот твой Юрик — самое паскудное гадство на земле. Воишь, гнида, и, что обидно, нет ему перевода.

— Чего хочешь? — спросил Слава. — От старых образуются молодые, каков плод, таков и приплод. Я и то скажу: все, говорят, молодые лучше старых. И новей, и умней, и грамотней. Но вот, рассуждают, тогда откуда подłość берется? Гадство всякое. Помрут, мол, старики, пережитки прошлого, останутся одни молодые, ну, бывшие молодые, и все хорошо станет? Ан, фиф!

— Ты, Слава, молодых не вини, — возразил ему дядя Коля, — и среди стариков гады встречаются.

— Дядя Коль, — всхокотнул Слава, перебивая его, — а впрямь парень этот, мазурки-то, на хорыка нашего похожий.

— И то, — засмеялся дядя Коля. — Вылитый Храбриков.

Семка, все это время молча слушавший рассказ Славы и Симонова, вспомнил Храбрикова — маленького, щуплого, но, видать, хильстого, мелкие его, вертлюговые глазки, морщинистое, изношенное лицо — и подумал, что в самом деле Юрик-мазурки смакивает на этого старика.

— Может, папа его? — спросил он, улыбаясь сплюну, — или дедушка?

Они засмеялись.

— А вот Юрик-мазурки, — вспомнил Семка, оживляясь, — еще девок подглядывал. Уйдет зимой до ветра, и его нет, нет. Ну, думаем, околе, пошли поглядеть, а он к окну прижался, глядит, как девки без платьев ходят — студентки там у нас рядом жили.

— Вот, вот,—сказал дядя Коля,— точно. Мелкий паскудник.

Они не улыбнулись; от этой Семкиной подробности стало как-то гнусно, и Семка заругал себя: вот тебе и посмешил.

— В 16 часов 20 минут рация Гусева вышла на аварийную волну, передав, правда, довольно спокойную радиограмму. Напоминаю: «Остров, котором находимся, быстро сокращается. Просим вертолет». Ни слова «срочно», ни «немедленно». Просто «прописи».

— Слишком спокойная.
— Какие за этим последовали действия?
— Мои?
— Партии, экспедиции? Ваши лично?
— Цветкова радиорвала в ответ, что вертолет выйдет в ближайшее время.
— И пришла к вам?
— В том-то и дело, что нет! Стала искать Храбровика.
— И где его нашла?
— На кухне в столовой. Они поругались.
— Где вы были в это время?
— В столовой. Шел вечер.
— Цветкова не подошла к вам?
— Нет. Она отправилась на радиостанцию и записала, как чувствует себя группа. Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи».
— «Ждем помощи». Разве этого мало?

25 мая. 16 часов 40 минут. Валентин Орлов

«**A**ленка, мы вляпались в забавное происшествие. Сидим на острове, окруженнем водой, и похожи на зайцев, которых спасал дед Мазай.

Только Мазая что-то не видать, хотя Гусев дал с утра три радиограммы. Опять, наверное, не на месте вертолеты или еще какая-нибудь мур — Храбровиков, например, горючее экономят, — вот мы и загораем в прямом и переносном смысле: солнышко жарит неистово.

Погруп Гусев пытался пройти с острова вброд, искупался основательно, околел и послушал меня: на этот раз правым оказалась я. А мой вариант прост — вызвать вертолет, чтобы перенес нас вместе с вещами на недоступную воде точку.

Теперь ждем деда Мазая на вертолете, и я не понимаю только одного: о чём-то беспокоятся Гусев, стараясь скрыть это. Но что? Долго не летят? Прилетят. Тут пятнадцать минут ходу. Быстро поднимается вода? Ну и что? Даже для того, чтобы нас затопило окончательно, потребуется, по моей прикидке, не меньше трех часов. А за это время мы сможем выбраться десять раз как минимум.

Так что волноваться пока не приходится, и мы, загорая, рассказываем байки по предложению радиста Семки. Он вообще малый — молоток, выдумал забавную тему для разговора — о стихийных бедствиях: парень с юмором, учел курьезность ситуации, но сам, правда, толковал совсем о другом — про парня, который не дал им сахара, и они пили несладкий чай. Пересказывала я тебе, понятно, кратко и не очень так: писать всегда труднее, чем говорить. Мужики наши, берендеи эти Гусев и Симонов, Семку не поняли, он хотел посмешишь, они же обернули всерьез. А я, пожалуй, в таких случаях — пас. Слишком угрохом глядеть на жизнь, по-моему, просто скучно. И этот куркуль, о котором говорят Семка, просто глупец, дурак. Жизнь его обкатает,

Я попробовал выразить это, меня не поняли.

— Гадство,— получал меня наш малограмматный дядя Коля, — немстрембо!

Видишь, в какой высоконравственной обстановке я живу! Впрочем, ладно, это я с досады. В общем-то, мужики они отличные. Разве что грамотешки не хватает.

Одним словом, за краткой перепалкой настало моя очередь рассказывать байки про стихийные бедствия, и я вспомнил подходящий случай. Как угораздило меня попасть на знаменитый ледник, вернее, на один из его языков.

Только теперь, рассказав эту историю, понял, что тебе о ней никогда не говорил, не приходилось просто, так что пока ждем вертолета, запиши ее. В истории этой, должен предупредить, есть элементы смеха, так что, излагая ее, здесь, на острове, я дал ей название «Стихийное бедствие, произшедшее из-за свиньи».

Дело было после третьего курса, в Средней Азии, куда меня и еще нескольких ребят послали на практику.

Мы жили в жарком городе, где по вечерам на улицах продавали розы, лежавшие в тазах и ведрах. Цветы издавали одиозирующий аромат, и мы, бездельничая, бродили по этим улицам, удивляясь женщиным, закутанным в блестящие цветные шали, крикам музданов из-под куполов мечети, бородатым старцам с тюрбанами на головах, усевшимися пить зеленый чай чуть ли не на асфальте. Времени нам хватало вдохнуть — работали мы только по утрам, днем, по законам юга, отлеживались в густой тени, а вечером гуляли и, постанывая от счастья, ели великолепные душистые шашлыки.

Возле мангалы, светящегося угольями, а отнюдь не в своей высокочтимой «Гидрометслужбе», где практиковались, и услышали мы впервые про злонастную свинью и про страшное бедствие, которое она навела.

Держа, как букеты, шампуни, унизанные сочным мясом, шашлычик, путая русские слова, рассказал нам, что с гор двинулся ледник.

— Инженер виноват, инженер,— поднимал он папец, и мы не понимали, при чем тут инженер. — Свинью притащили к горе, не ешь свинью, слушай, еще баранину, э?

Тут надо сделать отступление и объяснить, что я на курсе считался альпинистом. Ходил в институтскую секцию. Честно говоря, альпинизм этот был липовый: какие у нас горы, сама знаешь. Тренировались мы на полуосыпавшемся каменным стобле, который был в лесу, недалеко от города, и в известковом карьере с некрутными обрывами, упражняясь в подъемах и спусках, с применением страховки костылей и всякой прочей техники. Окрестные мальчишки над нами смеялись. Наверное, со стороны это действительно было смешно: взрослые люди, а валяют дурака на горках, куда можно запросто залети.

Словом, секция тихо скончалась, никаким альпинистом я не был, не залез ни на единую вершину, но иногда случается так, что слова оказывается сильнее тебя. И я оказался жертвой дурачной славы.

Наутро после нечаянной беседы с шашлычиком мы узнали научную трактовку вопроса: язык ледника, о котором шла речь, двинул вниз с киргизской для него скоростью, запрудил речку, вытекавшую из соседнего ущелья, и там образовалось мощное озеро. В район происшествия формируется экспедиция, которая полетит проводить съемку, подсчитывать объем водоема, наблюдать движение ледника. Ей требуются люди, одновременно альпинисты и специалисты.

Ребята вытолкнули меня вперед, я не сопротивлялся, был приставлен к трем инженерам, обмундирован в казенную амуницию и отвезен на аэродром. Лететь было жутковато, особенно когда пересекали какой-то памирский хребет и приходилось идти вдоль тесного каменного руваха.

Обмияра в воздушных ямах, я глядел через открытую дверь на пилотов, натянутых кислородные маски и вжавшихся в штурвалы, озирался по сторонам, холедил: едва не касаясь крыльев, коричневые, словно иссохшие, каменели отвесные обрывы ущелья, а воздушные потоки подбрасывали и роняли самолет, норовя ударить его о стены.

Когда мы сели на краю маленького поселка в горненой от цветущих маков долине, я долго тряс головой и глотал воздух: в ушах лопались какие-то пузыри. Сказывался перепад давления — мы были в горах, на огромной высоте.

В поселке, у чайханы на маленькой площади, предрика, узнавший о прибытии спецрейса, выкрикивал шоферов, желающих отвезти научную группу к подножию ледника. Шоферы топтались в пыли, отворачиваясь, сосредоточенно разглядывая кур, клокотавших в тени грузовушек, и никто не хотел нас везти.

Я тогда возмутился, сказал что-то резкое предрику: какой, мол, он начальник района, если не может найти шофера, — но тот строго посмотрел на меня и ответил:

— Кому надо, понимаешь? Чего там хорошего?

— А чего плохого? — удивился я. Но удивился, как выяснилось, напрасно.

Предрика обнаружил в водительских рядах какого-то молодого испуганного парня, заставил его сгрузить из кузова ящики с бутылками и силком затолкал нас.

— Команду имею! — кричал он при этом каким-то оправдывающимся голосом. — Отправить ученых!

Зрители и чайханщик глядели на предрика, осуждающе.

Пока мы отъехали от поселка недалеко, наш шофер раза три останавливал машину, вылезал из нее и, прижав руки к груди, добавляя что-то непонятное к русским словам, умоляя нас отпустить его.

Мы ничего не понимали, пока через пять часов не добрались к подножию ледника.

Водитель тут же развернулся и уехал, а к нам приблизились небритые люди — остатки горного отряда, который из-за ледника вынужден был эвакуироваться. Мы сказали про странного шофера.

Горники как-то сразу умолкли, скованно улыбаясь, потом один показал на чан, от которого вкусно пахло мясом.

— В этом все дело! — И добавил убежденно: — В нем!

Мы не поняли, и тогда горники нехотя объяснили, что захватили с собой поросенка, откармливали его, а мусульмане, узнавшие о свинье, пугались итвердили: «Будет беда!» И что ж, подтвердилось. Тронулся ледник.

Мы засмеялись, но, не поддержаные горняками, умолкли. Они сосредоточенно, с яростью, словно вымешивающая обиду на поросенка, поедали его.

Потом горники уехали, мы остались одни.

Я глядел на ледник спереди, сбоку, сверху и не мог побороть отвращения. Он походил на жуткую тварь, выплеснувшую из-под земли. Ледовые глыбы, черные от грязи, перемешавшись с осколками поменьше и просто крошевом, передвигались незаметно для глаза, только изредка взрывая тишину утробным грохотом. На кончике своего языка ледник волок останки сооружения, где была электростанция горняков. Снизу и спереди ледник действительно напоминал гигантский язык, усеянный искореженными, беспо-

рядочно смешанными, заостренными глыбами. Лед тал, и с языка текло.

Мы проводили обмеры скорости движения ледника, его возможный объем, передавали все это в город, а оттуда настоятельно требовали: оставить в покое ледник и выяснить объем озера.

Чтобы выполнить это, надо было взобраться на гору. Альпинистом я оказался бездарным, и старший группы, чертыхаясь, буквально волок меня на верх: отступать было поздно. На высокой площадке мы установили приборы. Дул стремительный ветер, сбивая капюшон, наполняя его, и тогда капюшон становился похожим на камень. Страх пронизывал позвоночник, я делал измерения, стараясь не глядеть по сторонам.

Отсюда, сверху, он действительно походил на доисторическое чудище, которое одним боком прижало реку. Образовалось озеро, по нашим подсчетам, в несколько десятков миллионов кубов.

Не помню, как я спускался вниз, наверное, ползком, моля матерью родную не оставить в беде. В общем, наш старший спустил меня на веревках. Внизу он сморил меня критическим взглядом, приготовился к высыпыванию. Но смолчал: я был мокрый от пота. Мы передали наши измерения в город. По подсчетам выходило, что опасность велика. Озеро медленно накапливало мощь и готовилось сразиться с ледником. Ледовая плотина, хотя и мощная, но неоднородная по структуре, могла не выдержать на пороге воды.

Мы запросили аэрофотосъемку, и вот над нашими высокими горами пролетел самолет, как бы заиндейский в холодном синем небе. Когда он летел, оставляя прямой инверсионный след, старшему пришла в голову блестящая идея — разбомбить ледник. Он радиорвал об этом город, но нам приказали сворачивать работы и прислали за нами машину. С машиной приехал предрика, который отправлял нас в горы. Испуганно озирался на серый лед, уважительно помогал нам и спрашивал, что ему делать. Но как мы могли ответить?

Опасность была известна лишь теоретически, мы только измеряли и подсчитывали, советовать должны другие.

Я уже уехал с практики, был дома, когда узнал: прогнозы подтвердились. Многометровый водяной вал, подхватив вечный лед, промчался по долине. Были жертвы...

Что-то написано я тебе свою притчу и вижу: забавное мало, и поросенок тут ни при чем. Вот и Семка спросил о поросенке, при чем, мол, тут он. Да, дела.

Хотел мужиков наших растормошить немножко, а вышло наоборот. Сидят молчаливые».

— Один, если можно так выразиться, психологический вопрос. Почему вы так рьяно защищаете Храбрикова? Вас что-то связывает?

— Нет.

— Странно. Вы упорно стоите на стороне интересов экспедитора, а ведь он ведет себя иначе.

— То есть?

— Закладывает вас, как говорится.

— Пули в жестянике — этого еще мало. В конце концов я заботился о коллективе.

— А рыба — тоже забота о коллективе?

— Какая рыба?

— Храбриков все записывал. Смотрите. Числа, когда вертолет ходил на станцию. Фамилии проводников. Хранил квитанции об отправке телеграмм вашей жене.

— Я об этом ничего не знал. Может, он хотел сделать приятное?

— Бросьте, Петр Петрович. Храбриков говорит про вас совсем иначе.

25 мая. 17 часов. Николай Симонов

Nиколай сидел, скучаясь, вдавив шею в плечи, и мысли его бродили далеко от этих мест, от этих ребят, от этого времени.

Поперву, когда видно стало, что хвататься им своим островом ни к чему, начал шутковать, а вот Орелик сбил все, о стихии говорить подначивал и сам такое рассказал, что теперь ему, где Коля, как они его кличут, не до смеха и не до шуткования.

Вспомнил он себя в многодневной давности, странно, будто и не с ним это было, а с кем-то иным: другого лица, другого сложения, другой жизни,— и, вспомнив, влез в то изгояненое годами, забываемое и никак не забываемое, в то, что норовил он как бы заасфальтировать, сгладить, да так видать, и не смог.

— Дядя Коля, твой черед! — окликнул его Орелик, уже не ульбаясь, как сперва, не хорорясь, погрустнев.

— Нет, я про стихии-то не знаю, — ответил дядя Коля и, подумав, будто убеждаясь в этом, снова подтвердил: — Не знаю.

— Ну что иное расскажи! — потребовал Семка.

«Надо ли?» — подумал нерешительно дядя Коля, поднимая глаза и обводя пацанов этих, обощедших его в жизни, расторопных, толковых. «Надо ли и к musty ли сказано будет?» — снова взвесил он, не понимая толком, отчего вдруг после ледника Валькиного пришло на ум покротче давнолетней забытостью. Какое-то слово, ровно камень, обрушило и повлекло за собой память. «Какое же слово? — напряженно вспоминал он. — Стихия? Нет... Хотя это, может, тоже стихия? Все же, видать, не оно. Жертвы. Вот жертвы».

Не глядя на парней, заскорузлыми, огрубелыми пальцами выхватил Симонов из kostра уголек, прикурил цигарку, отхаркал густо и сманно вечно застуженную глотку и сказал:

— Я про войну скажу.

— А ты воевал, что ли? — удивился Семка.

— Воевал и не говорил! — спросил Славик.

Он мотнул головой, потому что и воевал, и не говорил, и не гордился своей солдатской службой, которая бывает разной: и геройской, и не геройской, и обычновенной, и такой, как у него, жуткой. Про войну он не рассказывал никому никогда, не говорил и Кланьке, боясь напугать ее, но теперь чувствовал, что не устоит, что расскажет этим пацанам всю про себя правду, что не должен он более держать в себе такое.

В сорок четвертом, восемнадцать лет от роду, необразованного, необученного, его призвали в солдаты и сразу отправили на фронт. Здесь Колька попал в армейские тылы.

Он сперва не болично разобрался, понял только, что, хоть и не придется ему стрелять по немцам, винтовку ему все же выдаут, а это было приятно, льстило самолюбию. К тому же он мечтал раздобыть кинжал, настоящий немецкий кинжал с какой-то там надписью по блестящему лезвию и красивой рукоятью со свастикой. Свастику Николай предполагал сточить, а кинжал носить при себе.

Сейчас понять трудно, что ему был какой-то кинжал, пацанство еще не выветрилось. Однако оно исчезло скоро. Очень скоро.

По прибытии в часть его направили, согласно предписанию, к худому, будто лущеным стручку, старшине с лицом, изрытым оспой, шрамами да еще и обожженным: старшина был в прошлом танкистом, горел, но выжил и попал сюда, — так что вместо лица была у него полумаска. Губы, глаза, часть кости жили, остальное, глянцевито блестя, никогда не менялось.

Увидев его, Колька вздрогнул, старшина усадил его напротив себя и спросил, верно заметив смущение солдата:

— Испугался?

— Не-а, — сказал Николай, а старшина добавил:

— Это, Симонов, еще не страшно. — И удивился: — И кто тебя только сюда направил?

Колька бодро, не тушусь, сослался на свою необразованность. Но старшина пожал плечами, спросил:

— Ты знаешь хоть, где служить придется?

Колька молчал.

— Не повезло тебе, брат, — вздохнул старшина. — В очень страшное место на войне ты попал. В похоронную команду.

Колька молчал, соображая, что это, конечно, нехорошо, но тут он свой кинжал непременно добудет, потом пошел спать в свое отделение — к старшим, молчаливым солдатам, и они оглядывали его удивленно, жалеячи, а его заведала эта непонятная жалость.

Понял он все только поутру, когда, поев, они сели на телеги, запряженные обыкновенными лошадьми, и направились в поле.

Эта езда напомнила Николаю деревню, страду, или сенокос, или сдачу хлеба: вот так же, колонной, они возили мешки с зерном на хлебосдаточный пункт, — он повеселел, замурлыкал, опять поймал на себе жалостливые взгляды, замолчал, хмуриясь, а потом зрачки его сами по себе расширились до предела.

Поле прорезали траншеи, и в них, и между ними, и возле обугленных танков лежали мертвые люди...

Наутро старшина отвел Кольку к какому-то офицеру, и тот спросил:

— Хочешь, Симонов, мы тебя отправим куда-нибудь? На кухню, что ли?

Колька молчал, понуря голову.

— Говори, хочешь? — толкнул его старшина, и Колька сказал мертвым, безлиским голосом:

— Теперь все равно.

Офицер долго молчал, молчал старшина — его лицо ничего не выражало. Только подрагивали губы и часть живой щеки. Потом они поднялись, и старшина с Николаем вернулись в команду.

Он осунулся, походул, как его командир, стал молчалив и не боялся мертвых: теперь его глаза видели все, что может видеть человек. Больше ничего не оставалось.

Уже за границей, в Польше, получив несколько медалей — похоронную команду, видно, из сочувствия к ее работе, никогда не обходили, — Николай вместе со своими товарищами был неожиданно поднят по тревоге и грузовиками переброшен в неизвестное место.

Дело было ранним утром, стоял туман, на ветках кустов вспыхивали капельки влаги. На большой поляне, куда пригнали грузовики, стояли «виллисы», много офицеров, генерал, какие-то люди в штатском и немец в фуражке с кокардой.

У немца было мордастое, курносое, совсем не немецкое лицо, длинная голубая шинель застегнута на все крючки. Руки он держал за спиной и опустил их только раз, когда все закончилось и с ним стали говорить люди в штатском.

Пока же команда стояла в сторонке, строем, хотя и волно, перекривала перед заданием, а офицеры отмечали на поляне какие-то точки.

Потом они начали копать. Николай думал, это склад снарядов, однажды им приходилось уже работать за саперов, но под снегом и тонким слоем земли было совсем другое.

Это был ров, заваленный расстрелянными людьми.

Лопаты звякали, цепляясь иногда одна за другую; на поляне, где было много народа, стояла мертвая тишина. Старшина с обгоревшим лицом работал вместе со всеми, на правом фланге, ведя ровную линию, соответствующую обрезу ямы, и вдруг краем глаза, разглаживая, чтобы отбросить землю, Николай увидел, как старшина бежит. Бежит к немцу, подняв над собой лопату. Николай молча кинул ему наверх, пытаясь задержать, но не успел. Мордакстому фрицу повезло: он уклонился, и одна лопата пришелся по плечу, да и та черенком, который, правда, с треском переползла, хотя черенки к лопатам в похоронной команде насаживали крепкие. Немец упал, старшина с остервенением пнул его пару раз, но его скватили подбревшие люди, стали оттаскивать, а он хрюпал, оборачиваясь к генералу:

— На передовую! Отправьте меня на передовую!

Николай повел старшину в лесок, подальше от рва. Тот послушно переставляя гнущущиеся, словно враз одеревневшие ноги, часто спотыкался, глядел вперед остановившимися взглядом. Пугаясь, Николай негромко звал его по имени, но старшина не отзывался. Николай усадил командира на пенек. Тут было совсем тихо, даже звенело в ушах от такой тишины. Старшина был бледен, и цвет его губ совсем сравнялся с цветом белого лица. Верхушки деревьев тронул ветерок, рядом неожиданно шлепнулась щека, старшина вздрогнул, и Николай увидел, как торопливо запрыгали кадык над воротом старшины. Из глубины его, будто тяжкий выдох, вырвался нарастающий глухойвой.

Командир всегда был молчалив и угрюм, и никто, казалось, не пугало его. Мaska обожженного лица скрывала его чувства, а сам он, как и все остальные в команде, никогда лишенного не говорил. Теперь что-то сломилось в командире, он рыдал, но это был не плач, а что-то необъяснимое, странное, похожее на приступ или судорогу.

— Не могу! — проговорил старшина сквозь стон. — Больше не могу! Сил нету... Моих вот в таком же рву уложили, ссыпши, Симонов. Всю деревню в таком же рву.

Они посыдили, старшина притих, потом велел Николаю иди работать.

Вечером команду отпустили на отдых. Николай сходил в лесок за старшиной. Тот все сидел на пеньке, но Симонов не узнал его: за эти полтора, от силы два часа, пока его не было, старшина осунулся и постарел, будто прошли целых десять лет. Он и так был немолодым, бывший танкист с обожженным лицом, но сейчас перед Николаем сидел старик.

Симонов тронул его за руку, старшина поднялся, вздохнул, сказал: «Что-то сердце сквитило» — и снова вздохнул.

Они поехали в деревню, где предстояло ночевать все эти дни, пока не закончит работу комиссия и пока они нужны. Вечером, когда уже все легли, старшина позвал Николая.

Он присел к командиру, придвинув поближе «клеточную мышь».

— Николай, ты, однако, просиська на передовую, — сказал старшина. — Не то худо все обернет-

ся. Ты молодой еще, тебе еще жить, любить надо, веселиться. А ты только смерть видишь. Коли не убьют, передовая все заровняет.

Николай кивнул.

— Я за тебя похлопочу, — прибавил старшина.

На рассвете Симонова грубо растрясли. Ничего спросонья не понимая, Николай вскочил, стал наматывать портняхи, думая, что тревога, но вокруг тихо, понуря головы, стояли солдаты, товарищи по команде, и он остановился, соображая, посмотрел наконец в угол, где лежал старшина, и, поняв, ощущил, как, помимо его воли, дергаются плачи. Изба, солдаты, старшина расплылись перед глазами, но он не стыдился этих слез.

Вызвали военврача из комиссии, он увез старшину в пустующую избу, а потом команде сообщили, что старшина их умер от сердечной болезни.

Похоронили командира там же, в прозрачном лиственном лесу. Могилку отрыли быстро, умеючи, а когда открыли, застыдились своей спорности и долго сидели кружком вокруг старшины у зияющей коричневой ямы. Еще одной ямы, в которую надлежало прибрать еще одного человека, убитого войной.

На передовую Николай не отпустили, он заменил старшину, дошел до Берлина, в солдатских разговорах представлялся как пехотинец, да и кем он был в самом деле, если не пехотинец, пехом истоптавшим землю. И как истоптали!

От того рва и от могилы старшины у Николая начались как бы другой отсчет жизни. Был он пустой, словно вытрянутый, и жил и глядел вокруг себя склерой по привычке, чем из интересу. Ровно вышла из него жил вся кровь.

— Мы с вами разбирали последовательность, в которой ответственны виновные. Первым вы назвали Гусева, и тут у меня к вам вопросов нет. Вторым — Цветкову. Третьим — Храбровика. За это время, пока мы беседуем, вы не переменили места?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

— Однако изменилась.

— Вы меня просто удивляете. Давайте начистоту. Одно условие — без протокола. Ведь стало меньше одним преступником.

— Я много видел циников, Петр Петрович. Но то, что говорите вы, даже не назовешь цинизмом.

— Вам же, следственным органам, правосудию, меньше работы.

— А вы еще и добрењакий, оказывается.

— Добрењакий — понятие отрицательное.

— Это я слышу впервые.

25 мая. 17 часов 20 минут. Кира Цветкова

Пиршество по случаю дня рождения Кирьяно-вашло уже давно, но Кира никак не могла заставить себя пойти в столовую.

Что-то с ней случилось, понимала она, что-то надломилось в этот знаменательный день: перед ней возникли преграды — естественные и искусственные, она пыталась проломить их плечом, слабым своим плечом, но только расшибалась. С ней такое уже бывало не раз: неожиданно, в один день, в одну неделю, месяц или еще какой-нибудь ограниченный отрезок времени, обстоятельства, ситуации, не зависящие как будто от нее, прихливило переплетались, и каждый шаг, каждый поступок, даже самый мелкий, незначащий, приводил исключительно к неудаче.

Сети обстоятельств оплетали ее, и чем энергичнее она действовала, тем бесполковее все выходило. Сегодня был такой день, однако именно сегодня синя не склонялась винить нечто высшее — рок, судьбу, случай или что там еще, которые опутывали ее своей незримой властью. Нет, сегодня ее неудачи зависели от людей, только от людей, и она видела, понимала это, скимая в отчаянии и бессилии свои маленькие кулачки.

Кира была давно готова, одета по-праздничному, в закрытое, строгое платье со стоячим воротником, серое, элегантное, которое очене шло ей; на ногах влезали изящные туфельки; среди своих недостатков женщина всегда может найти и выделить достоинства — Кира втайне гордила маленькими ногами и маленьким размером обуви, это было чисто женское преимущество; волосы она причесала очень изысканно, подкрутки локонов у висков, под Марии Волконской — в альбоме храниласьrepidукация миниатюры с ее портрета.

Все было хорошо, Кира гордилась немногими своими плюсами; среди них умение одеваться со вкусом, негромко, соответственно облику и характеру. Было основным и раньше; одеваясь празднично, она чувствовала какое-то обновление, внутренний подъем, легкость. Хорошая одежда все-таки вдохновляет, что ли, человека, тем более женщину и трижды тем более, если она одевается так редко, обычно не вылезая из презентовой робы, грубых чулок и резиновых сапог с высокими голенищами.

Да, Кира радовалась хорошая одежда, частно признаться, она ждала день рождения Кирьянова, думая о редком случае выглядеть хорошо, скромно и непринужденно для этих мест, но теперь все было сломано.

Она стучала каблучками по дощатому полу своей комнаты, скимала кулаки и, не чувствуя приятности одежды, не могла думать без содрогания и ненависти о Храбрикове.

Днем, после возвращения вертолета, она сказала Храбрикову про лодку, потом, позже, про вертолет. Он резал мясо, несчастный мясник, заверил ее, что машину направят после обеда, но через час Кире передали уже аварийную радиограмму.

Она, как девочка, как школьница, какая-нибудь, побежала к этому кретину, разыскала его на кухне — прихлебатель, приедало, мразь! — и устроила, не узнавая себя, скандал. Она подстегивала, понукала свое еда просыпающееся самолюбие, в конце концов она начальница партии, и этот пень на дороге — человеком его не назовешь, — это ничтожество, глядящее в рот одному Кирьянову, должно подчиниться ей.

Она не неприведлива и никогда не вмешивалась в эту странную связь Кирьянова с Храбриковым или Храбриковым с Кирьяновым, кто из них разберет, не собирается соваться не в свое дело, но теперь эта дворцовая игра раздражала ее. В опасности оказались люди, и в этом случае служебные и частные пирамиды, воздвигнутые Храбриковым и Кирьяновым, должны рухнуть — о чем разговор?

После скандала на кухне она хотела немедленно поговорить с Кирьяновым, открыла уже двери в столовую, но тут же притворила ее. ПЭП говорил речь, похояхтывая, модулируя голосом — речи его всегда отличались бескрайностью и определенным уровнем исполнительства — приглашенные сидели тихо, словно мыши.

Кира ломала пальцы, нервничала, несколько раз заглядывала в дверь одним глазком, но Кирьянов, покрасневший от выпитого, все говорил и говорил, и она не выдержала, накинула пальто и побежала к радиостанции. Преодолевая расстояние от столовой до

дома, крыша которого была усыпана причудливыми антенами, она лихорадочно думала, что поступила очень верно, побежав сюда, а не объяснилась немедленно с Кирьяновым. С мерзяцами надо бороться доказательно, сильно, а у нее, кроме эмоций и одной аварийной радиограммы, ничего не было, хотя аварийная радиограмма говорит сама за себя. Однако это можно доказать кому угодно, Кирьянову же лучше всего предложить более веские доказательства: флегматичную аварию Гусева он обсмеет, и только. Она бежала к радио, надеясь, что запросит у Гусева подробности, что он на конец объяснит внятно, что там случилось, забывает тревогу.

Радисты — Чиладзе был в столовой — выполнили ее требование, но в ответ на запрос, как чувствует себя группа, Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи». Чертыхнувшись в душе, Кира пошла назад к столовой, но на поздороге повернула домой. И вот психовала, нервничала, злилась.

Пытаясь успокоиться, она анализировала причины своего состояния. Может, это просто форма женской истерии? Реакция уязвленного самолюбия? Перестраховка безвольного существа, боящегося любое ответственности? И, черт побери, люди, которые просят вертолета, тут совсем ни при чем?

Она прохаживалась по скрипящим половицам. На верное. Может быть. Даже очень может быть. И истерика, и самолюбие, и в конце концов перестраховка неуверенного в себе человека, но не только, не только! Гусев, широкий, костистый, хотя и невысокий, с крахмалими, крепкими ухватками, не выходил из головы. Да, он спокоен, даже чересчур, поэтому просто непробиваем, но тем более! Если он просит вертолет, значит, уже перепробовал все другие.

Кира остановилась у окна. Больше тянуть невозможно. Ее поведение и так походило на вызов. Она оделась и вышла из дома.

В столовой дым стоял коромыслом, Кира обрадовалась, что, может быть, ее появление не заметят, будет считаться, что она тут давно, но Кирьянов, сидевший в голове стола, заорал истошно, ломая Ванью:

— Кира Васильевна! Голубушка! Где же вы? — и без перехода: — Штрафную ей Штрафную!

Окружающие засмеялись, Кирьянов, помаясь, поднес ей граненый стакан, наполненный спиртом и подкрепленный заваркой.

— Конячку отведайте, — прогремел он, — нашето, сибирского конячку, — в сам кланялся, изображая хлебосольного хозяина.

Кира пригубила спирт — все внутри обожгло, но она сдержалась, не закашлялась, приложив все силы, чтобы отвлечь от себя внимание гостей и хозяина. Кирьянов, поломавший недолго, отошел, и взгляд Кирьи упал на стулья, составленные в углу.

Там лежали подушки: перевязанная бечевкой и свернутая в рулон, мэздрай наружу, медвежья шкура, три одинаковых транзистора ВЭФ-12, купленные, верно, в небогатом поселковом магазинчике, грузинский большой рог на серебряной чековке — от Чиладзе, наверное, — и охотничья двустолка. «Сколько же у него этих ружей? — подумала Кира, соображая, что второпях забыла дома свой подарок, приготовленный для ГЭПа, — изящно изданный двухтомник Лермонтова. Книги прислали Кира подружка; она специально и заранее заказывала подарок, зная по опыту, что дни рождения начальника экспедиции отмечается шумно, непременно с презентами.

Заказывая книги, Кира искренне хотела выразить свое благодарное отношение к Кирьянову — к его

уважительности и терпению. Надо отдать должное: не каждый начальник был бы столь снисходителен к ней; этот, зная ее, никогда не попрекал, ругая других, и в Кире не было к нему, как говорится, никаких претензий до сегодняшнего дня.

До сегодняшнего дня... Что же случилось сегодня? Да ведь ничего. Просто она испугалась. Пришли эти радиограммы, она затрепыхалась, и все предстало перед ней в мрачном свете.

Вышли за семью Петра Петровича, он снова принялся со стаканом спирта в руке говорить длинную речь, теперь его слушали не столь внимательно, в столовой висело гудение, брякали вилки, слышалась шепоток.

Кира выпила еще чуточку, как будто ненадолго отлегло. Она улыбнулась Чиладзе, поддержала разговор с соседом, немного поела жареной лосиницы, вкусной, но жестковатой. Заноза, засевшая с утра, все-таки не выходила. Нет, дело не в испуге. Дело все-таки в духоте, да, да, в духоте. Ей нечем дышать, не хватает кислорода, и хотя вполне может оказаться, что лично для нее кислород губителен, и ей и всем остальным в экспедиции надо вздохнуть. Поглубже вздохнуть, распрямить все клеточки легких.

Кира поднялась. Она не была пьяна, ну, может, самую чуточку, но это не в счет. В голове что-то позванивало едва, а так в ней было чисто и прозрачно.

Увидев ее со стаканом в руке, Кирянов забрехал ножом о графин, наполненный спиртом. Не так скоро, как вначале, не столь послушно гости умолкли, перешептываясь: «Тост, тост, тишев!» — и, услышав это, Кира демонстративно поставила стакан. По столовой прокатился шумок.

Кира обвела взглядом столовку, поглядела на Кирянова и вдруг бухнула:

— Какого черта!

Пээ, задыхаясь от хохота, молча отвалился на спинку стула, громогласно захлопал в ладоши, крикнул:

— М-молодец!!

Ему нравилось начало тоста, и эта пигалица выглядела совсем ничего сегодня — надо же, а? — и он скомандовал:

— Просим дальше!

— Какого черта! — повторила Кира, решительно призвавшись себе, что все-таки немного пьяна и что это даже хорошо: трезвой бы она так никогда и не сказала б. — Там люди шлют аварийки, а мы пьем спирт.

Кирянов сбросил все маски, смотрел пристально, настороженно.

— Петр Петрович, — сказала Кира, оборачиваясь к нему. — Ну когда будет покончено с этим безобразием?

— Кира Васильевна! — нависла над гостями, поднявшись Кирянов — Здесь, простите, день рождения, а не общее собрание.

— Но там люди!.. — восхлинула Кира, не столь требуя, сколько умоляя, протянув руку к окну. — Там люди, они на острове, их заливает. И я не могу добиться вертолета.

На мгновение в столовой стало тихо, и Кира успела окунуть взглядом лица гостей. Что-то неуловимо сломалось в этом беспечном празднике, полпутила какая-то пружина. Кира поняла это сразу, определив по застывшим или, напротив, неестественно оживленным лицам, что ее бунт — факт неожиданный, что большинство сидящих тут как будто давно готово к неприятностям, ожидающим экспедицию, и дело тут не в ней, Кире, отнюдь не в ней.

Мимолетная пауза кончилась, гости зашумели, спора пока между собой, потом вскочил начальник Лаврентьев, близорукий и странноватый, всегда выступавший невплывом, на летучках у Кирянова, не понимавший его тонких внутренних схем, и крикнул:

— Надо организовать группу спасения!

Кира увидела, как передернулось побуревшее лицо Кирянова, как он вжал голову в плечи — начиналась обычная игра.

— И вообще, — опять крикнул Лаврентьев, несущий размахивая руками, — с Храбриковым никогда не договоришься, для него мы все мальчишки!

— Я подтверждаю! — напрягая голос, сказал начальник радиостанции Чиладзе. — Радиограммы идут, Кира Васильевна хлопочет, а ей никто не поможет. Возмутительно просто! Храбриков у нас важнейшая экспедиция!

При упоминании Храбрикова партийным секретарем Чиладзе, которого Кирянов если и не побивался, то старался не задавать, слововая оживилась еще больше. «Нет, оказывается, у него сторонников тут, кроме Пээз», — подумала Кира, — но зато Кирянов — сторонник серьезный. Что дальше?»

Пээз все бурел, склоняя голову, привлекая к себе внимание, но, странно, то ли от выпитого спирта, то ли еще отчего, гости на хозяина внимания не обращали. Они гадали, возмущались, они обсуждали недопустимость такого поведения Храбрикова. Лаврентьев, севший было за стол, вскочил снова и уже вызывая желающих срочно лететь на спасение.

Кира молча поглядывала на галдящих гостей, приходя в себя, чувствуя если и не серьезную поддержку, то единогласное недовольство Храбриковым. Сиючно лететь вызвались лысы, хотя и молодой, бухгалтер, Чиладзе и чья-то жена. Кирянов, молчавший все это время, изучающий обстановку, вдруг вскочил со стула и зарыдал, надрывая плотку и наводя своим криком порядок и тишину:

— Хра-абр-риков!!! Храбриков! Хр-раб-риков, в конце концов!!!

— Когда Цветкова таким странным образом, которой она выбрала, потребовала от вас хоть каких-нибудь действий, что сделали вы?

— Приказал лететь.

— И только?

— А что еще?

— Нет, ничего. Сумма еще не переменилась. Или вы такой тугодум, Кирянов?

— Ну, я велел залететь потом еще в одно место.

— Потом или вначале?

— Не помню.

— Я вновь это в протокол

— Вносите. Такое ваше дело.

— А вот Храбриков помнит, Петр Петрович. Очень хорошо помнит и ссылается на свидетеля. На повариху.

— Нет, не может этого быть, не может... Хотел бы я поглядеть на этого подонка!

— Не волнуйтесь, скоро, возможно, встретитесь.

25 мая, 19 часов. Сергей Иванович Храбриков

Руки у него тряслись из-за происшедшего, склеротические щеки раскраснелись от выпитого спирта, урчал желудок — верно, сказывалось не очень прожаренное лосинное мясо, и вообще он недомогал, вообще он чувствовал себя разбитым, а тут приходилось лететь.

Привычный к грохоту вертолетных моторов, к дребезжанию стенок, сиденья, пола, к тому, что выбирался он сам вплоть до кончиков пальцев, до мочек ушей, сейчас он раздражался, отчаялся, изнемогал, испытывая неумолимое желание открыть дверь и немедленно, несмотря на высоту, выйти из машины.

Зная глубину своей хитрости, он чувствовал себя сильным, когда удавалось благодаря ей получать преимущество над другими, прямой или косвенной процент хоть какой-нибудь пользы. Но если случалось проигрывать, он трусил, липко потея, винувшая самому себе мысли о недомогании, усталости.

Так было и сейчас.

Вертолет летел над тайгой, а Сергей Иванович стервенел от обиды и злобы — все, что произошло в столовой, на этом дне рождения, для которого он столько хлопотал, столько работал, было унизительно. Бог с ним, унизиться иногда не грех, если видишь пользу для себя, тут же не было никакой пользы, а была публичная порка, порка...

Леденея, Храбриков перебирал подробности происшедшего; в таких случаях он не торопился забыть, успокоиться, а, напротив, терзая себя, подзуживал, теребил по частям, по фразам и минутам, словно лоскуты, свою обиду.

Он сидел на кухне, ел лостины — одну, без хлеба, для пользы здоровою, — разрезал ее своей финкой на мелкие куски, и ему было хорошо, очень хорошо. Храбриков любил такие минуты одиночества. На кухне было много людей, но он отвернулся от них к стенке, к бревнам, конопаченным мхом, и был как бы один. Только иногда от плавного течения мыслей его словно отдергивала повариха, толстозадая, обрюзгшая, недолюбливавшая его.

— Ты хоть прожекивай, Храбриков! — кричала она, довольно вззвизгивая от собственного остротума. — А то глотаешь, как енисейская чайка! Подавись, гляди!

Он вздрогивал, посыпал ее про себя в соответствующие места и снова углублялся в еду, неторопливо и основательно. Подбородок его блестел в жире; маленькие, пыльные глазки как бы отставали; в нем звучала внутренняя музыка, невразумительная, без мелодий, означавшая сошедшую к нему доброту и умиротворенность.

Так он ел, не думая ни о чем неприятном, и вдруг из-за прикрытой двери, откуда неслась взрывы хохота, ганджик и рокочущий голос Кирьянова, раздался крик.

Храбриков прислушался, звал как будто его. Он недовольно вытер о штаны масляные руки, наверное, подсобревший ПэПэ приглашал к общему столу, сплюхивавшись, что нет ближайшего помощника, а ему больше нравилось здесь, в одиночестве. Вздохнув, Храбриков взял в обе руки тарелку с куском лостины, прикрыл ногой дверь и, повесив на себя улыбку, пошел к общему столу.

Сейчас в вертолете, вспомнил этот первый шаг в столовую, Храбриков проклял себя за минутное благодущие. Надо же, старый хрен, решил, что его зовут к столу! Особенно его убивала эта тарелка с огромным ложем налипнувшего мяса — он так и стоял с ней до конца и с ней потом вышел. Из всего, что случилось потом, его никто не угнетало столь сильно, как эта первоначальная промашка, мысль о том, что его зовут к столу, и эта тарелка.

Он вошел, и, уже когда переступил порог, Кирьянов крикнул:

— Хэрраб-риков, в конце концов!

Сергей Иванович, улыбаясь, подошел к Кирьянову вместе с тарелкой — гости глядели на него снис-

ходительно, словно на прислугу, и, даже не видя их, Храбриков чувствовал это.

— Храбриков! — воскликнул Кирьянов, прохаживаясь возле него, разыгрывая опять спектакль. — Сколько это может продолжаться??

Приходя в себя, видя стоящую за столом Цветкову и соображая, о чем будет речь, Храбриков все же слегка ссунулся и дрогнувшим, упавшим голосом спросил:

— Что продолжаться?

Кирьянов прошелся возле него, и Храбриков заметил, как он встал, чтобы казаться еще выше, на какую-то приступку в полу. Что-то должно было произойти, какая-то неприятность, это было ясно, неясно только, в какую сторону и как поведет Кирьянов свой цирк, даст ли возможность экспедитору, от которого, между прочим, не ведет того, зависит и сам, сманеврировать, выкрутиться? Или пойдет, как бульдозер, сквозь чащу?

Насторожась, подобравшись, Храбриков посмотрел Кирьянову прямо в глаза, как бы намекая на существующую между ними связь. Но Кирьянов был непробиваем.

— Долго будет продолжаться это безобразие?? Начпартии просит вас переправить людей в безопасное место, людям угрожает опасность, может, даже смертельная, а вы ту, — он оглядел Храбрикова с головы до ног и закончил уничтожающе, — занимаетесь обкрайловкой!

Храбриков вздрогнул, в мутных глазах от обиды навернулись слезы, но он тут же спрятал их, поморгал и сказал:

— Не понимаю, об чем речь?

Цветкова, все еще стоявшая за столом, кажется, поперхнулась. Храбриков заметил, как Кирьянов мельком, подозрительно взглянул на нее и довершил:

— Про лодку мне Цветкова действительно говорила, тут я виноват, запамятовал, а больше ничего не знаю.

— Как не знаете! — крикнула Цветкова. Заметив, что она побледнела, Храбриков вновь почувствовал себя в форме.

— А так! — удивился он наивно. — Ничего вы мне не говорили!

— Вы что! — всплескивая руками, плачущим голосом закричала Цветкова. — Белены объелись?

— Э-э, — заблезя Храбриков, щуря глазки и мотая головой, — некошоро обзываешься-то, девушка! — Он переходил в атаку, по многолетнему опыту зная: чем наглеев он будет себя вести, тем лучше. — Ты ведь мне в дочки годишься, а старика обзываешь.

— Да он подлец! — крикнула Цветкова. — Разве вы не видите?! Подлец! Отказывается от своих слов.

— Ну-у! — прогрянул Храбриков, победно глядя на Кирьянова. — Так она пьянка!

В зале стояла шум: не зная истины, люди всегда много и охотно толкуют, строя предположения, догадки, осуждают и обсуждают. Важно было вызвать симпатии у этих незнающих людей — и Храбриков сказал громко:

— Ишь, набралась!

Он пошел к выходу, сутуясь, изображая несправедливое, оскорблённого. Цветкова бухнулась на стул, заплакала — громко, истерично, ее бросились утешать долговязый начпартии и Чиладзе. Но Храбриков довольно усмехнулся, подумав: «Съела, сопливая? Съела!»

— Стоя! — услышал Храбриков окрик Кирьянова.

ПэПэ кричал властно, словно собаке, но Храбриков, линку победы над Цветковой, не заметил этого. Он обернулся.



— Я не знаю,— воскликнул Кирьянов,— как там было! Кто и что сказал или вообще не говорил...

Столовая слушала его внимательно, притихнув, только слышались всхлипы Цветковой, а Кирьянов смотрел лишь на гостей, не замечая как бы ни Цветкову, ни Храбрикова, выключая их из дела, бегра решение в свои руки, играя, опять играя.

— Сейчас важно не это! Важно другое! — Пэлз стоял с наполненным стаканом в руке, но глаза его казались холодными, деловитыми. Стакан был лишь подробностью, он не имел никакого значения в том, что говорилось.— Важно другое! — воскликнул Кирьянов.— Важны люди! Группа Гусева! Их надо спасать! Немедленно! Товариц Лаврентьев,— сказал он, успокаивая нескладного начальника.— Никакой группы спасения не надо. Ничего страшного пока не произошло. Храбриков обязан лететь, он и поплетит.

Кирьянов поднял стакан. Лицо его опять выражало сердечность и добродушие.

— Выпьем за людей! За тех, кто в поле! За тех, кто решает все! — И перед тем, как выпить, велел Храбрикову: — Слышишь! Летите немедленно! Сию секунду!

Храбриков сжался, понимая, что ему приказывают унизительно, властно. Тарелка с куском лостины снова стала оттягивать руки, он увидел, что гости

смотрят на него — недоверчиво, с опаской, как на жулика.

Плачущая опустились, он вышел в кухню под придирчивый, насмешливый взгляд поварихи, поставил тарелку на стол.

Заскорузлые пальцы тряслись, как после контузии, в животе противно заурчало. Он натянул картофель, когда двери из столовой хлопнула и его обнял Кирьянов.

— Ничего, дядя! — хохотнул он, залезая в карман, и прибавил, приглушая голос, укорительно:— Нехорошо, нехорошо девушек непорочных обижать! Храбриков вскинул голову, прищурился, готовясь защищаться, но Кирьянов добродушно поглядывал на него, подмигивал, едва заметно, как бы успокаивая, все понимая и даже присоединяясь.

— Вот возьми,— сказал он, протягивая мятые, потные бумажки.— Долетишь заодно до станции, ящик спирту возьмешь. А то кончается!

Пэлз хохотнул, болно ударил его по спине, даже засеняло что-то в груди — оголбяя створосовая, — и исчез за дверью.

Храбриков мгновение соображал, держа на ладони деньги, потом, веселясь, подмигнул поварихе.

— Слышила! — спросил он.

— Слышила! — недовольно ответила та.

— Запомни! — привередливо велел он.

— Чего запомни? — удивилась повариха.

— Запомни, что велено мне долеть заодно до станции, взять спирту. — В голосе его слышалось злорадство.

— Ну! — промялила повариха.

Он ничего не ответил ей, не стал вдаваться в подробности, матюгая ее про себя за бабье тугодумство, и пошел к вертолетам.

Теперь, в воздухе, его мутило, ему было некошко, и единственное, что помогало, что выводило из удручения, — приказ Кирьянова.

Храбриков знал: группа Гусева сидит где-то по дороге к станции. Кирьянов велел купить спирту, но не сказал, что раньше.

Притивившись у иллюминатора, Храбриков глядел в темнеющую тайгу, норовя разглядеть палатку. Когда машина пересекла Енисей, он понял, что внизу вода — она была темнее снега, лежавшего на берегах. Прямо над водой стоял туман. Отмечая эту подробность, Храбриков увидел красную ракету. Она, померкавшая, светилась сзади и правее их курса. За ней поднялась еще, еще...

Храбриков прищурнул веки, отмечая сквозь ресницы шарки, исплеснувшиеся позади. «Только бы не заметили пилотов», — отметил он, но вертолет летел точно к станции, не зависая, не разворачиваясь.

Сергей Иванович успокоенно закрыл глаза, жалея в душе всемиленого Кирьянова за его грубость, не воспитанность и... глупость.

— Я хотел бы подробнее поговорить о Цветковой.

— Говорите, один черт.

— Некоторые утверждают, что у вас близкие отношения.

— Это тоже имеет отношение к делу?

— К сожалению, да. И этим объясняется ваша к ней мягкость. Анализируя характер «губернатора», можно подумать, что так оно и есть — к остальным вы были строже.

— Просто жалел ее, дуру.

— Теперь ваша жалость исчезла?

— Теперь у меня все к ней исчезло. Вы, пожалуй, правы, от перестановки мест — изменяется. Прежде всего виновата она. Цветкова. В конце концов она начальник партии и непосредственно отвечает за жизнь людей. Гусев виноват меньше.

— А Храбриков?

— Храбриков вообще сволочь.

25 мая. 19 часов. Петр Петрович Кирьянов

Оправив Храбрикова, ПэПэ подсед к Кире и стал, как ему казалось, восстанавливать равновесие.

Гости, настроим для громкости все три подарочных ВЭФа на одну волну, твистовали, шейковали — у кого что шло, — галдели, хохотали, пили. Решительные действия Кирьянова успокоили их, разом прервали минутную смуту, которую внесла в общество Цветкова, и, дрогнув пониже, обозлася на ее выходку, теперь Петр Петрович был до чрезвычайности доволен собой. Он опять оказался в форме, и это прекрасно, неповторимо, когда ты сознаешь свое преимущество над толпой.

ПэПэ ощущал приподнятую взволнованность, ему очень нравились этикет бесшабашные гуляния, отключение на краткое, но необходимое время от всяких дел, хлопот, решений. Его дни рождения были

как бы венцом справедливости, когда за тяжкий, неблагодарный, ответственный труд приходил долгожданное вознаграждение. Нет, до истинного, полного вознаграждения еще далеко, но эти вечера уже что-то, и что-то немалое, потому что они свидетельствуют о его авторитете среди людей и о превышенности иму. И разве мог он — боке! — допустить, чтобы в его день рождения кто-то из любящих его плакал, переживал, страдал.

— Кира Васильевна, — склонился он к Цветковой, деликатно, держася в рамках приличия, загиная едва обнинавшей ее огромными лапищами, — Кира Васильевна, успокойтесь, вы правы, конечно же, но теперь все поздно!

Кира подняла голову, достала из рукава батистовый платочек, промокнула слезы, внутренне стыдясь себя. Так она еще никогда не срывалась. И хотя дело как будто закончилось благополучно, пусть не для нее лично, для группы Гусева, сама она ничего не прибрала, кроме глупого публичного скандала, — надо все-таки держать себя в руках.

Кирьянов улыбался, поглядывал на нее с видимым удовольствием. Ну вот, кажется, она уже прогоргасла, уже отошла благодаря его такту, умению ладить с людьми — когда властно, а иногда деликатно, даже с долей нежности.

Он подвинул к ней стакан, вынудил выпить немногол, застыла посиятию, делая все это снисходительно и то в же время заботливо, добродушно.

— Милая вы моя, — приговаривал он, — нас, мужчинов, прижимать надо, ружье на нас надо наводить, а то тут, в безлюдье и, простите, в беззабыть, омеваживаюсь вовсе.

Пигалица, отходя, недоверчиво взглядала на него, и он, честно признаться, удивлялся ее сегодняшней прыти: устроить такой спектакль у него на дне рождения, разве мог он подумать? Но ничего! Кто-то, а он, ПэПэ, мог уладить и не такое.

Приговаривая, успокаивая Цветкову, Кирьянов, однако, скучал. Спроси его об этом, он ни за что не признался бы, наоборот, театрально захочет, но факт оставался фактом. Эти гости, орующие, поющие, пляшущие, вновь не обращали на него никакого внимания. Словно отбыли обязательную программу, высушали, к примеру, доклад, едва дождавшись конца, и теперь — дорвались до спирта, до еды, музыки. Улыбаясь, но с трудом сдерживаясь, Кирьянов оглядел публику. Народ был сбродный: несколько поселковых, здешних, приглашенных для количества, остальные — бухгалтер, некрасивая радиостанция, допущенная в общество из-за отсутствия женщин, завхоз, к которому приехала жена, начальник радиостанции Чиладзе, этот Лаврентьев.

В другом, цивилизованном месте, подумал Кирьянов, эту необразованную голышью он не подпустил бы близко; единственное, на что могли рассчитывать они, скажем, в городе, так на снисходительный кивок головы при встрече. Здесь же приходилось. Приходилось сидеть с ними, пить спирт, загибывать, ломать Ваньку, изображая добродушные и щедросты.

«Послать бы сейчас их к черту, — подумал Кирьянов, — врезать кулаком по столу, чтоб проломить фенерную столешницу, да напугать до смерти, затратить надрывная глотку, — должны же они понимать, с кем пьют!»

Он зевнул, скучая. Цветкова сидела, успокоенная, больше уговаривать ее он не собирался, но и стучать кулаком не собирался тоже. Все-таки вокруг демократия, народность. И он должен быть кумиром окружающих его людей. А тут уж — любишь

кататься, люби и саночки возить — само не стронется...

К нам подсели Лаврентьев и начальник радиостанции Чиладзе.

— Пе-ет Петро-ови! — протягивая слова, сказал Лаврентьев, жестикулируя своими аршинными руничками. — Приструнить этого Храбрикова надо, а то в конце концов житья никакого!

— Приструним, приструним! — отговаривался Кирьянов. — Накажем, если надо, а то и уволим. Чего там в самом деле! Но вы уж тоже! Будьте справедливы. Вон он сколько скономил нам. И потом работать с ним надо! Воспитывать! Он человек беспартийный, недорозелый, мы доводить до кондиций его должны.

— Ха, до кондиций! — воскликнул Чиладзе, погиравая глазами. — Он тут любого из нас сам до кондиций доведет. И похоронный марш сыграет.

— Ну вот, — вскинулся, хохотнув, Кирьянов, — уже о похоронном марше заговорили! Да разве мы на похороны собирались?

Лаврентьев в рдист отчужденно молчали.

— Все-таки надо бы с Храбриковым кому-нибудь полететь, — сказал Лаврентьев. — Не ровен час...

— Летите! — беспечно ответил Пэлз. Занудство Лаврентьева и Чиладзе порядком надоело ему. — Летите, — повторил он снова, — но меня увольте. Я чужую работу делать не намерен.

Наступила неловкая пауза. Вокруг веселились люди, а они молчали.

— На минуточку! — сказал неожиданно Чиладзе. Кирьянов сначала не понял, чего он хочет.

— На минуточку вас, Петр Петрович, — повторил начальник радиостанции.

Кирьянов нехотя встал, отошел вместе с ним в угол, к оружии во всю глотку ВФЭам.

— Слушайте, Петр Петрович, — волнуясь и потея, проговорил Чиладзе. — Ты что, в самом деле, глупости делаешь? — Когда Чиладзе волновался, он не только потел, но и пугался в обращении, пересекавшись с «ты» на «вы» и обратно. — Чего ты, в самом деле, губернатора строишь?

«Ну вот, — подумал Кирьянов, — еще один псих. Власть, видишь ли, чувствует, партийный секретарь. По душам беседует с руководством. В порядке воспитания».

— Знаете что, товарищ Чиладзе, — строго сказал Кирьянов: надо было осадить все-таки секретаря, — не предполагал, что партийный секретарь может собирать обо мне грязные слухи. Не для того, конечно, существует партийная организация. Вы должны помогать руководству в реализации планов, а не ставить палки в колеса...

— Какие такие палки? — удивился Чиладзе.
Приходилось быть гибким.

— Ну, хорошо, хорошо, — изменил тон Кирьянов. — Разве же я не прав, отправив Храбрикова самого? Оснований для тревоги нет. И вы мне помогите, успокойте людей.

Улыбаясь, он вернулся к столу, стараясь выгнать из себя неожиданную хандру, стараясь искусственно создать хорошее настроение, это он умел, чего же не уметь, если вон черную ику и ту искусственно научились производить, а настроение уж как-нибудь. Он вскочил, огложивший светлы, по слуху — праздник наездный костюм.

— Кира, Васильевна! — крикнул Кирьянов, вновь привлекая к себе внимание, как бы раздвигая других. — Давайте сюда!

Он не повторил приглашения, хотя Цветкова еще сидела, не решаясь, подхватив ее со стула, аккуратно поставил рядом с собой, наклонился, чтобы добраться до ее талии, пошел в старомодном танго.

Гости образовали круг. Глядя в глаза Цветковой и смущая ее до краски, Пэлз выделял всевозможные сношшибательные пирузы, вспоминая то, что умел, импровизировал, и все это выходило у него легко, даже изящно, потому что партнериша не мешала ему, он не должен был припрорачиваться к ней: партнериша он просто вскidyвал, если она не понимала его, переносил по воздуху, как переносят легкую мебель.

В каком-то крутом повороте краем глаза Кирьянов увидел Чиладзе и Лаврентьева. Подхватив пальто и шапки, они топтались у двери. Пэлз понял их — хотят утащить с собой и Киру, но она, слава Богу, не видит их, от спирта и стремительных поворотов, поди-ка, кружится голова, не то что люди, стены плывут у мыши, да и ни к чему она вам, господа хорошие. Потолкавшись, Чиладзе и Лаврентьев вышли из столовой, никем не замеченные, кроме Пэлза.

«Пусть летят в конце концов, — благодушно подумал Кирьянов. — Пусть летят, коли охота, только не паникуют и компании не рушат».

Танец продолжался, гости посмеивались, однако негромко — Кирьянов танцевал все-таки с начальством, а там черт знает, какие у них отношения, ведь иногда даже смеяться надо сознательно, к месту и с толком.

Пэлз махнул рукой, видя умоляющие глаза Кирьи; гости, словно бы по команде, расслабились вновь, наполнили стаканы, закусывая, шумя, танцуя.

— А ведь вы, — сказала неожиданно Кира, — вполне обошлись бы без них.

Он кинул, щедро улыбаясь, потом сообразил, что говорит Цветкова о гостях, отдинул ее от себя, продолжая танцевать, окинул взглядом. Сначала он думал вразумить ее, дать понять, что психоанализика не для нее, но неожиданно расхохоталася.

— Точно! — хрюкнул сплюнул ей в ухо. Она слегка отдинулась. Танец разгорячил его, и, видя, что Кира отстранилась от него, он несильным движением прижал ее к себе.

«Ого, — подумал он тотчас, — а я-то думал», — и деликатно переложил ладонь чуть ниже. Цветкова покрасилась, он исправился, боясь спугнуть ее, а сам захочат, как бы продолжая разговор, но думал совсем о другом.

— Точно! — повторил он, наклоняясь к Кире и приносявясь к ее приятно пахнущим волосам, и вдруг предложил: — А давайте пошлем их к черту!

Кира не поняла, он разъяснил, что можно сходить на радиостанцию, и эта дурочка обрадовалася, немедленно побежала одеваться. «Надо бы заставить ее выпить, — подумал он, чувствуя, как в висках начинает тукать кровь. — Ну, да ладно. Дома, кажется, есть коньяка».

Стараясь быть непринужденнее, он подкрался на половину моще транзисторы и как бы невзначай вышел за Кирой.

На улице были густые сумерки. Луна просвещивала мутную кисево, образуя возле себя круг, напоминающий белесый нимб.

— Похолодает, что ли? — спросил вслух Кирьянов, беря Киру под руку и погружаясь от холода.

— А по сводке метеор, мокрый снег, — засмеялась Кира. — Ну, эти синоптики!

Несспешно, прогулочным шагом, они дошли до радиостанции, и Кира совсем было успокоилась. Она делала все, что могла, и оказалось — возможно неизбежное. Да, самым удивительным во всей этой истории ей представлялось поведение Пэлза. Готовясь к своему публичному бунту, она ждала возмущения и ярости Кирьянова, а вышло все гораздо

проще и нормальнее — то ли он понял, не дурак же в конце концов, то ли испугался? А может, опять играет?

Так и не поняв, что произошло с Кирьяновым, Кира толкнула дверь. Посреди радиостанции стояли Чиладзе и Лаврентьев, оба какие-то взъерошенные. «Как они обогнали нас,— удивилась Кира,— улича в поиске однажды!» Тут же она поняла: прозвала что-то очень важное словно закрыла глаза и на мгновение уснула. Да, да, да! Так оно и случилось. Всех исполосила, подняла на ноги, а сама, успокоенная Кирьяновым, стала думать о случившемся в прошедшем времени. В прошедшем... Почему в прошедшем? Ведь ничего еще не прошло, ничего не закончилось.

Как бы стражиная с себя оцепенение, Кира шагнула вперед, но ее опередил Пэз.

— Ну? — властно спросил он.— Какие новости?
— Не успели,— ответил ему Лаврентьев.— Прибежали на площадку, но вертолет уже ушел.

— А что здесь? — спросила Кира.

— Молчать, — хмуро сказал Чиладзе.— Не откликаются ни по обычной, ни по аварийной волне. Пэз потребовал последнюю радиограмму. Она была краткой: «Нормально. Ждем помощи».

— Неразговорчив, бродяга! — бросил он и повернулся к Кире.— Ничего страшного. Может, батареи подмокли или еще что...

— А если не подмокли? — спросил Чиладзе. Он был собран, взвинчен, от праздничного настроения не осталось и следа, а Кира вздрогнула. Но вечеринка она вызывала спаси группу Гусева, говорила, что им угрожает опасность, а Чиладзе сказал уже не об опасности. О другом.

— Не паникуйте! — сказал шутливо Кирьянов.— Вы же не барышня.

— Я не барышня! — согласился Чиладзе.— Просто я не желаю быть безучастным свидетелем.

— Вы увлеклись праздником, — сказал Кирьянову Лаврентьев.— Выйдите наконец. Петр Петрович, из этого состояния! Там же люди, они погибнут!

— Да, черт возьми! — воскликнул Пэз, и Кира вновь увидела прежнего «губернатора».— Я здесь не первый день! И все это было, тысячи раз было, поймите! И аварийки, и прерванная связь, и так называемые ЧП! И все кончалось нормально!

— Раз на раз не приходится, — возразил Лаврентьев.

Пэз сорвался с места и заходил из угла в угол, выскоки, широкоплечий, и заnimалась его большая темя. Потом остановился.

— Хорошо! — взмахнул он рукой.— Вот вам доказательства от противного. Я не прав, вы правы. Я спокоен, вы беспокойтесь. Но посмотрим на ситуацию реально. Вертолет ушел. Вторая машина на профилактике. Что мы можем поделать? Вы? Я? Ждите! Нам осталось ждать! Можно было, конечно, вскочить из-за стола, сесть всей компанией в вертолет и колективно полететь на выручку Гусева. Но это дешевый энтузиазм, поймите! Энтузиазм наполовину со спиртом. И потом, если действительно виноват Храбриков, пусть он и исправляет свои ошибки. Или я не прав?

Чиладзе глядел в сторону, Лаврентьев стоял потупившимся.

— Храбриков за людей не отвечает, — сказал, помолчав, Чиладзе.— Он отвечает за вертолет, да и то — отвечает ли?

— Не сгущайте, — ответил твердо Кирьянов,— и возьмите себя в руки. Все будет в порядке. И контролируйте эфир. Если что, докладывайте.

Отдавая команды, Кирьянов был равнодушен. Весь этот психоз выдумала Цветкова. А сейчас его

занимало другое, совсем другое. Пэз подхватил Киру под руку, они вышли на улицу. Четверть часа, не больше, пробили Цветкова и Кирьянов в радиостанцию, а погода уже переменилась, как это часто бывало здесь. Луна едва пробивалась сквозь дымку, а с севера дул холодный, обжигающий, мощный ветер. Казалось, невидимая, но плотная и необъятная воздушная стена наваливалась на тайгу, на поселок. Уличная грязь сковывалась морозом, становясь вязкой, лужи хрюстали льдом.

Навалился на ветер своим тяжелым телом, Кирьянов тащил Киру. Она мрачно молчала — видно, выходил на таком связке хмель, а может, опять перекивала за Гусева.

— Бросьте! — крикнул ей Кирьянов.— Вертолет уже забрал их, вот весь и секрет, потому молчат.

— Они молчат давно! — ответила Кира.— И потому такой ветер...

— Это порывы! — весело соглашал Кирьянов.— Скорро успокоятся.

Они были возле кирьяновского дома. За руку, как маленьку, Пэз завел Киру к себе.

Потирая покрасневшие щеки, она сидела на диване, и Кирьянов, разглядывая ее, подумал, что эта серая мышка, в сущности, не так уж дурна собой и что, щадя ее в деле, не предъявляя особых требований, какие он предъявлял к другим, он, кроме прочего, подспудно, про себя, имел ее в виду... на будущее.

Эта маленькая мышка могла пригодиться, ведь всякий человек интересен по-своему, любопытной оказалась и она, повысив сегодня голос и этим как бы напомнив о своем существовании, об окончании своего статичного, консервированного состояния. «Ну вот, — подумал он, ограждаясь морально от предстоящего.— Она виновата сама: если бы молчала, я не обратил бы на нее внимания».

Пэз подошел к Кире, поднял ее за плечи, проявляя заботливость и генитальность, помог снять пальто, она, ничего не понимая, кивнула, благодаря, и Кирьянов оценил это как одобрение последующих действий.

Пэз обнял Киру, обхватив ее за спину, так что она не могла шелохнуться, не наклониться, а приподнял ее, оторвал от полу, к своей бороде, поцеловал по-медведицьи, овладев ее ртом.

Нагрягаясь, извиваясь всем телом, Цветкова проворовала вывернувшись из его лапиц, но это было бесполезно. Неожиданно Кирьянов ощущил пронзительную боль, вздрогнул и засмеялся — мышь вцепилась в него зубами, даже, кажется, прокусила кожу у запястья, но это только подхлестнуло его.

И вдруг он услышал, как она сказала — спокойно, даже равнодушно:

— Какое производное слово от испанского «кабальеро»?

Он опешил, потом захохотал: «Ну, девка!»

— Какое? — спросил он, останавливаясь.

— Кобельеро.

Кирьянов захохотал вновь.

— Слушайте, «губернатор», — сказала она опять столь же спокойно, — что вы рвете мое платье? Ведь, кажется, я еще не ваша наложница?

Он рассмеялся вновь, отпустил ее на минуту. Завизжал, кажется, деловом диалог.

— Ну так будешь! — успокоил он ее.

Неожиданно, словно выстрел, зазвонил телефон. Чертынувшись, Кирьянов отпустил Киру и скжали трубку. Он молчал, слушая, что говорят на том конце провода, потом крикнул, свирепея:

— Но вертолет ушел! Ушел!

Швырнул трубку, обернулся к Цветковой. Она стояла, накинув пальто, из-под которого топорицилось разорванное платье.

— Чертов проповедник! — ругнулся он.— Грунзинская кровь заговорила! Требует, видите ли! — и неожиданно велел Кире: — Раздевайся!

— Что там? — спросила она.

— Твой Гусев подал голос. Говорит, падала антenna. Их заливало. Раздевайся!.. — Ему надоело с ней бороться: в конце концов он не мальчик, и у них не такие отношения, чтобы она могла пренебрегать им. Эта мышь должна уступить сама! Тем не менее Пэлз шагнула к Кире, повторяя: — Раздевайся!

— Между прочим, это — уголовное дело, — сказала она совсем спокойно.

— Что? — не понял он.

— То, что вы хотите сделать.

— Дрянь, — ответил он ей лениво, подумав: «А что, такая может! Эта дура все может». — И вдруг заорал, сатанея: — Дрянь! Девка! Я тебя вышивану отсюда!

— Давно пора, — грустно ответила Цветкова, и эта готовность быть вышиванутой вывела его из себя.

Пэлз ощерился, походя даже внешне на волка, подскочил к стене, схватил карабин и нажал на спуск, целясь в потолок.

Жажнул быстрел, комната заполнилась дымом.

Он устало высыпал оружие на диван и понял, что противен сам себе.

Цветкова уже исчезла из комнаты, да и игрой была вся эта пальба. Играй для единственного зрителя — самого себя, и это было отвратительно, невыносимо.

— В 19 часов 10 минут от группы Гусева поступила последняя радиограмма. Связь вновь оборвалась. По каким причинам, вы знаете. Это был уже сигнал бедствия.

— Вертолет в это время уже ушел. Отбросив все предыдущее, скажу честно: я не боюсь ответа. Но тут уж я не виноват. Остальное ложится на Храбрикова.

— Напоминаю: он утверждает со ссылкой на свидетеля, что вы не указали ему, куда лететь вначале — за спиртом или за людьми.

— Доводы подлеца, что тут говорить. Если даже так, я не говорил, куда раньше, неужели нельзѧ понять?

— Вы стали говорить точнее. Но в том, что Храбриков поступает так, разве не виноваты вы сами?

— Виноват. Я теперь понимаю. Вы занесете это в протокол?

— Да, это мой долг.

25 мая. 19 часов. Слава Гусев

Kогда кончили рассказывать байки и очередь дошла до Гусева, он был уже настянут, словно на тетива, хотя лежал развалился, непринужденно. Пока говорил дядя Коля, Слава пристально смотрел, как окончательно скрылись в воде сучья, воткнутые им для ориентировки, прикинув по часам и высчитав, что вода поднимается стремительно, примерно по дециметру в час.

Островок таял на глазах, но Гусев был спокоен, знал, что остальные не заметят резкого подъема воды не могут, а если и говорят о чем-то постороннем, то только для того, чтобы убить время, чтобы не деградять понапрасну. Но теперь, когда очередь дошла до него и Орелик сказал: «Валерий, Славик!» — он резко вскочил.

— Вот она, моя байка, — сказал Гусев, сгинаясь побокам.— Видите, что такое стихийное бедствие!

Никто ему не возразил, даже Орелик, и Гусев выбранил себя в душе за утреннюю покорность. Теперь это было очевидно, настолько очевидно, что становилось тошно. Надо было настоять на своем тогда, пусть всем промокнуть, даже заболеть в результате, но перенести лагерь юброд. И хотя, по логике, Орелик был прав, предлагая вызывать вертолет, кроме логики, на свете были еще кое-какие вещи, и уж он-то, Гусев, это прекрасно знал.

Да, знал поговорку: «На боях недесят, а сам не плоший», — всегда ей следовал, но вдруг вот поддалася агитация Орелика и дяди-Колиному незаметному попреку, сранил себя с «губернатором», уличив вдруг в себе его черты, озяб и сдался: «Немного же, немножко было надо тебе», — корил он себя, думая о том, как спокойно сидели бы они сейчас под триангуляционной вышкой, безбоязненно оглядывая речную стынь, и не думали бы ни о каком вертолете.

Успокаивая себя, стыдя за нервность, которая сейчас передастся другим, Гусев обошел остров.

Южная сменился северным ветром, вода у закрайков покрывалась тонким льдом, но большое пространство не оставалось неподвижным, и ледок ломался, позывкая и качаясь на волне. Теперь территория, свободная от воды, походила на язык длиной метров в пятнадцать и шириной метров в семь. Со временем язык превратится в снежный гребень — впрочем, языки или гребни, какая разница, — если не подойдет вертолет, язык превратится в гребень, а гребень скроется под водой. «Что тогда?» — думал Слава, присыпавшая нахудшие варианты.

До холма, где стояла триангуляционная вышка, было метров двести. Утром три четверти из них Слава и дядя Коля прошли легко, изредка оступаясь, и лишь последние пятьдесят — тридцать метров он двигался по груду в воде. Теперь дорога к вышке была неодолима, он понимал это: упущен слишком много времени.

Скрывая озоб, охвативший его и перемежавшийся неожиданным жаром, Слава подошел к палатке. Костер угас — кончился хворост, — только в его глубине изредка полыхивали оранжевые угольки, отдавая последнее тепло. Гусев погрел над ними руки, велел Семке настраиваться на аварийную волну, но радист не шелохнулся. Слава вопросительно поглядел на Семку и почувствовал, как его опять пронзил жар. Он стер со лба выступившую испарину, повторил Петрушко:

— Давай быстрее!

Семка поднялся, затоптался на месте и шевельнулся посиневшими от холода губами.

— Славик, антenna упала!

Гусев вскочил, глазах поплыли круги, он обернулся к кустам, куда тянулась антenna. Шест, за который была запечена проволочная нить, их единственная связь с поселком, лежал в воде, а антenna исчезла.

Он ругнулся, переходя на крик, но его остановил дядя Коля.

— Не стали тебя будить, — сказал он. — Ты прокорнулся, а дрын отвалился. Видно, подтаял снег.

«Верно, — отметил Гусев, — снег, в который вонзилась подставка для антенны, осел, может, даже растаял, и все свалилось». — Но спросил, холодея вновь, чувствуя недомогание:

— Чего же не разбудили?

— Какой толк? — сказал Орелик не так беспечно, как утром. — Лезть в воду? Ты уже заболел. Хватит.

Гусев оглядел их — посиневшего, виноватого

Семку, угрюмого дядю Колю, Орелика. Эти рационалистические идеи Орелика уже давно надоели ему, он захотел сказать по этому поводу что-нибудь резкое, грубое, но сдержался, наступила, взвешивая положение, измеряя пространство до вышки, где было спасение, до неба, откуда спасение не приходило, до места с антенной — ниточке к спасению.

Из трех вариантов этот был самый близкий, самый пристой.

Не говоря ни слова, Гусев медленно, но твердо двинулся по острову в сторону, где лежал, почти затонув, шест, и равномерно, не сбавляя и не прибавляя скорости, вошел в воду.

— Славик! — звонко сзади Семка, бросаясь за ним и шлепая по мелководью. — Славик! Я сам!

— Назад! — прикрикнул Гусев, оборачиваясь, и снова рявкнул: — Назад!

В приказе его были нотки, незнакомые Семке, он послушался и побрел обратно.

Гусев шагал дальше. Удивительное дело, вода не казалась теперь ледяной. Он был в ней уже по пояс, порхаявая, как быстро поднялся уровень, прикидывая, что, верно, кроме подъема уровня, резко осел, стял снег под водой, сообразя не к месту, что неожиданный ледоход может ускорить подъем реки, и уж тогда, тогда...

Гусев хмыкнул, отгоняя дурные мысли, взялся одной рукой за скользкие ветки куста, подхватил шест с антенной, воткнул его вновь. Над водой, перерезая небо, протянулась черная нить.

Слава повернулся, чтобы идти назад, сделал несколько шагов, но сзади с плеском вновь обрушилась подставка. Разгребая ледок, он вернулся, теперь уже обеими руками всадил шест в дно. Мерзлая земля под снегом, однако, не поддавалась, шест не держался, и Гусев, обернувшись к острову, крикнул Семке:

— Передавай! Я стану держать!

Издели он увидел, как Семка напялил наушники, засуетился возле своей машинки, затих.

— Давай, аварийку! — крикнул хрипло Гусев. — Требуйте срочно вертолет!

Семка и Орелик с дядей Колей скрутились на острове в одну темную кучу и затихли.

Гусев услышал тихий плеск воды, какое-то журчание и чмоканье.

Он любил воду, любил купаться, не вылезал, было, из реки в детстве. Умел таскать раков, рыбачить, закидывать всевозможные снасти, ловить и бреднем и неводом. С детства обученный плавать отцом — тот бросал его с лодки и, подставив корму, потонкому отпывал, — он мог часами находиться в воде.

Но не в таковой воде.

Держа обеими руками шест с антенной, опираясь на него, Гусев ощущал онемелость всего тела. Только голова была горячей. Незаметно для него в сознании стали наступать провалы. Синяя вода перед глазами вдруг становилась серой, чернела, изменения цвет, неожиданно становилась красной, и на то время, пока все возвращалось на место, приобретая прежние краски, Гусев отключился. Звуки долетали до него с опозданием, как бы сквозь плотную шапку с ушами, обвязанными поверх еще и шарфом. Он забывал, где находится, и едва приходил в себя, усилив воли заставляя опомниться.

Когда Семка принял ответную морозянку, узнав из нее, что вертолет вышел, и звонил, надрываясь на радостях, Гусев его не слышал.

54

Он стоял, прислонясь к шесту, теряя сознание, слух и волю. Новый крик дошел до него с трудом. Он едва повернулся.

Три тени на острове подпрыгивали, мелькали. Отпустив шест, рухнувший тут же, Гусев пошатнулся, упал в воду, но, мгновенно приподняв в себе, поднялся. Ребята приняли его в мелководье, подхватив под руки.

С него текло ручьями, и одежда тотчас леденела, покрываясь тонким, хрупким, но въедливым льдом.

Гусев сопротивлялся, с трудом выговаривая слова, но его донага раздели. Командовал дядя Коля. Велевбросить в костер спальники и загородить Гусева брезентом, он содрал с себя рубаху. Семка напялил на него две пары запасных трусов. Орелик вытряхнул из мешка трикот и кеды. В запасе у дяди Коли обнаружились валенки. Еще один спальник Симонов расплоскал ножом, проделав дыры для рук и ног, и Гусев хрюкло захочатал. Теперь он походил на черепаху или еще на какую-нибудь странную для здешних мест тварь, но только не на начальника.

Желтый, душный дым, валивший от тряпок, раздался, ел глаза, но дядя Коля держал Гусева у самого огня, чтобы согреть хотя бы чуточку. Брезентовый полог сдергивал, прогибаясь, ветер, костер давал тепло, и Гусев постепенно приходил в себя. Провалы в сознании не проходили; время от времени он вздрогивал, словно проснувшись, и все-таки мысль действовала, боролась: «Вертолет не летит, вертолет не летит. А связи больше нет».

Темнота сгущалась. Над головой повисла луна, окруженная туманным кольцом. «Логода переменился», — отметил он. — «Возможно, ударят морозы». Он обвел глазами остров. Вода скимала их все теснее, она плескалась у самой палатки и недалеко от костра. Еще час, может быть, меньше, и он погаснет. Будет темно и холодно.

Голова походила на ватную, внутри что-то жгло. Он чувствовал, что еще немножко, и он потеряет сознание. Ледяная вода не прощает таких купаний.

Однако надо было что-то делать. От него, начальника группы, требовалось действие. Он отвечал за людей и, упустив время утром, обязан спасти их теперь.

— Вы говорите о квалификации происшедшего? Что ж, пожалуйста. Вы предлагаете назвать это халатностью. Если подходить формально, пожалуй, и можно.

— Постарайтесь, пожалуйста...

— Зачем просить. Я называю дело уголовным.

— Вам не хватит доказательств.

— Экспертиза подтвердила доказательства оставшихся живых: вертолет мог подлететь к группе со временем первой серьезной радиограммы по крайней мере десять раз.

— Не учтивая...

— Учитывая посадку на месте происшествия и эвакуацию лагеря. Халатностью это не назовешь. По крайней мере в трагическом финале.

— Но хоть в начале-то это была халатность. Я просто не придавал значения! Доверился другим! В конце концов что вам надо? Что вы хотите со мной сделать?

— Спокойно, Петр Петрович. Вы, видимо, утратили чувство меры. Вам кажется все доступным. Вы посыпаете вертолет за ящиком спирта. И в этом ящике заключены сразу три преступления: перед людьми Гусева — первое, колективная пьянка, имеющаяся днем рождения, — второе, — злоупотребление служебным положением — третье! За все это вы ответите на суде.



Bалька увидел, как через силу поднялся Гусев. Нелепый в своем странном обмундировании, он приказывал четко и разумно.

В углу палатки лежали ящики с консервами. Их вытрянули, а ящики разломали, соединив в нечто похожее на плот. Палаточные опоры придали сооружению некоторую надежность. В ход пошла измерительная рейка, а Семка догадался, вытащил за антенну из воды шест.

Его разрубили, плотик стал крепче.

Работали молча, насмешь крепля дерево, не обсуждая, что, зачем и к чему.

Втайне Орелик упорно надеялся, что вертолет все-таки прилетит и плотик не пригодится. Утром и потом, позже, он был уверен в своем правоте, но собираясь отступать и сейчас, обнявши во всем какие-то иные, не зависящие от них обстоятельства, о которых они не знали, не подозревали и из-за которых так долго не шел вертолет.

Последняя радиограмма, полученная Семкой, всенаправленная окончательную уверенность, что все нормально, и он до звона в ушах вслушиваясь в тишину, старательно, однако, связывая плот.

Но тишину ничто не нарушило, кроме стука обледеневших ветвей кустарнике и прерывистого дыхания людей.

В первое мгновение, когда к этим звукам примешалась еще один, похожий на гудение шмеля, Орелик, перестраховываясь, не поверил себе и смолчал. Но голос шмеля был все громче, и Валька, лицуя, крикнул:

— Ара! Летят!

Оставшиеся плотики, они сгрудились, враз; вдруг не стесняясь больше друг друга и не таясь, громко и радостно заговорили, а Орелик засвистел — пронзительно, переливисто, заложив в рот два пальца, как свистят пташонкам. Это было смешно: вертолет находился еще далеко, да и вблизи разве можно расслышать свист сквозь грохот винтов? Но Орелик заливался, не умолкая, и остальные хохотали, размазывая руками, бросаясь к мешкам, собирая их в кучу, чтобы было удобнее и быстрее грузить.

Шмель увеличивался в размере, напоминая теперь уже небольшой темно-зеленый огурец, и в какое-то мгновение Орелик, как и остальные, отметил, что машина пересекает реку, что она совсем и не видит лагерь. Это было так просто, так элементарно. Ведь уже наступили сумерки и с вертолета могли не разглядеть их.

— Ракеты! — услышал Орлов хриплый крик Гусева, кинувшись к мешку, где хранили патронные гильзы со спасительными зарядами, но его опередил дядя Коля.

Огромными прыжками Симонов подскочил к мешку, склонился и в одно мгновение, даже не поднимаясь, с колена, выстрелил. Красный шар послушно взлетел вверх, осыпая за собой огненное крошево, а дядя Коля, не давая остыть ракетнице, стрелял и стрелял.

Догоняя друг друга, ракеты тревожно металлись по небу, озаряя низкую облачную кисею и черную, жутковатую от красного света воду.

Вертолет, монотонно тарахтя, прошел над рекой ниже лагеря, исчез за деревьями, не заметив сигналов.

Орелик словно окаменел. Он стоял на краю пятачки, оставшегося от острова, и глядел, не веря, в ту сторону, куда ушел вертолет. Ему казалось, это шутка или оплошность. Сейчас шмель снова вынырнет из-за тайги и возникнет над ними. Но вертолет исчез, уже не слышалось жужжание, и в упавшей на

остров тишине Орлов услышал опять хлюпанье обледенелых ветвей впереди, а за спиной — сдержанное дыхание людей.

Он обернулся.

Гусев, дядя Коля и Семка копошились серыми тенями над плотиком. Они молчали, не обронив ни слова с тех пор, как исчез вертолет, и в их движении Орелик увидел ожесточенность.

Медленно, не понимая происходящего, он подошел к товарищам и повторил исступленно:

— Но почему? Почему??

Вертолет пролетел мимо, и это было ужасно, глупо, неправильно! Это было ошибкой и ошибкой, только ошибкой! И он не понимал этого, не мог понять!

Гусев обернулся к Орелику, взял его за плечи и крепко тянул.

— Валентин! — сказал он осипшим голосом — Вал! Хватит! Понял? Надо спасаться самим! — И засмеялся хрипло, подбадривая: — Ничего! Спасемся! Теперь нам нужны только силы и терпение.

Плотик был готов, и Гусев принял сбросывать с себя спальник. Его движения казались судорожными, какими-то скованными, и Валька, еще не зная, что затевается, понял: это должен сделать не Гусев, а он.

Истина казалась очевидной, просто элементарной: во всем, что случилось, виноват он. Пусть ему хотелось как лучше, но не зря говорится: благими намерениями устает путь в ад. Его намерение было благим, но теперь, когда от острова осталось по несколько шагов вдоль и поперек, это не имело никакого смысла. Вода поднималась, и жизнь их группы зависала теперь от кого-то одного.

Орелик видел, как раздевался Гусев. Как готовился он в третий раз сегодня вйти в ледяную воду. И он не должен, не имел права допустить этого.

Орелик скинул с себя телогрееку, подошел к плоту, отсекая Гусева, который уже склонился над ним, аккуратно сматывая шнур.

— Теперь я! — повторил Орелик. — Теперь я!

Он заметил на себе серьезный, взвешивающий взгляд Гусева и стоял к нему на воду.

— Слышишь, Орелик? — оттянул его за рукав Гусев. — Я тебе ведь сказал: — Он смотрел на Вальку с укором. — Я сказал: сила и терпение. Нам нужны сила и терпение. — Он хрипал, с присвистом дышал. — Не сердись, — продолжал Гусев, — понимаешь, у нас такая работа. А у тебя не хватит сил, чтоб добираться до вышки. Я не уговорившись тебя, дело не в этом. Дело во всех нас. Нам надо спастись обязательно всем. До единого, понял?

Валька поднялся. Слова начальной группы были правильны. Ни мгновения не сомневаясь, Орелик готовился к берегу. Но он не мог поручиться лишь за одно, что доберется.

— Ты болен, — сказал Орелик, думая о том, что Гусев тоже может не добраться.

— Я смогу! — ответил Гусев. — Я должен, понимаешь, должен долопыт! — Он помолчал, потом добавил, обращаясь к дяде Коле: — Ты будешь старшим, Симонов! Если что случится со мной, притяните плотик назад, и попробует следующий.

Гусев сжал Вальке локоть, вступил в воду, сделал несколько шагов и, отступаясь, проваливаясь, стал толкать плотик перед собой.

Сперва глубина достигала ему до пояса. Потом он начал скряться под воду. Затем поплыл, навалившись на плотик, наполовину топя его и часто передыхая. Ветер резко похолодал, там, где только что прошел Гусев, вода сразу сковывалась тонкой коркой льда.

Орлов тянул бухту шнуря, глядываясь в темень, которая стучалась Гусева. Он слышал плеск воды, легкое потрескивание непрестанно нараставших льдин и кляя. беспрестанно кляя себя за утреннее благородство, за свою правоту, которая теперь обходилась такой ценой.

Ни на минуту страх за себя не навешал его. Страха вообще почему-то не было, но было сознание вины перед товарищами, и теперь, когда Гусев, сказав свои слова, исчез в сумерках, тарана плотиком ледяную воду, это чувство вины, которую ничем невозможно искупить, вновь овладело Ореликом.

Дрожа на ветру, он нетерпеливо вслушивался в звуки плащающейся воды, шуршащего льда, определяя про себя расстояние, которое осталось Гусеву.

То, что делал сейчас Гусев, про себя Орелик назвал подвигом, боясь даже думать о мере этого поступка.

Не раз он читал, много слышал о людях, попавших в ледяную воду. Это всегда плохо кончалось — речь не шла, конечно, о каких-нибудь суперменах, сверхзакаленных мэржках, — люди заболевали.

Орелик вдруг вспомнил, словно карды из старой ленты, как лежал он в больнице, подхватив двустороннее крупозное воспаление легких. Это было по-зней осенью, он щеголял в болонье и без шапки, подражая моде, потом стал потеть, харкать кровью, свалился, теряя даже сознание на больничной койке.

Не к месту, не вовремя Орелик вспомнил вдруг, как сидел, выздоравливая, на подоконнике в больничной пижаме, махал рукой демонстрантам — мимо больницы текли яркие ноябрьские колонны — и как было сразу и весело и грустно.

Ему, студенту, симпатизировали молодые сестры, делавшие небольные уколы пенициллину, врачи, любившие при случае поболтать о науке, ему делали поблажки и послабления, и Валька жилось, признаешься, неплохо там, в этой больнице, даже нравилось, если бы не один старик.

Старик этот лежал в коридоре: мест не хватало. Его изможденное, морщинистое лицо напоминало коричневую кору усюхого дерева, и старик кивал по утрам Вальке: его кровать стояла против открытой двери в палате. Они не говорили, однажды только Валька остановился на минуту возле него, и старик сказал ему, что у него три таких же, как он, сына. Валька кивнул, стараясь поприветливее улыбнуться, но больше говорить не стал, думая иногда, где же эти сыновья: к старику приходила только жена.

Читая или просто глядя в окно, Орелик часто ловил на себе взгляды старика и смущался, но тот улыбался добродушно, одними глазами, прикрывал веки, поворачиваясь к стене и утикал. В пристальных взглядах Валька улавливал странное любование, а иногда зависть. Он тогда не очень понимал это.

Понял позже.

Однажды утром, проснувшись, он пошел в коридор поразмыться и, только возвращаясь, заметил, что кровать лежал старик, аккуратно застелен.

— Выписали? — спросил он у медсестры, краснosoей и конопатой.

— Выписали, — ответила она, сморкаясь, но поже, от врача, узнал, что никуда старика не выписали.

Валька понял: стариковские взгляды, и ему захотелось плакать. Глотая комок, засевший в горле, он подумал тогда впервые в своей жизни: «Как ужасно, что есть смерть!»

Да, смерть была ужасна, она непоправима — нет ничего страшней даже мысли о смерти. В этом он

убедился чуть позже — из-за своей мальчишеской дуэсти.

Его долго не выписывали: то подпрыгивала, то падала температура. Наконец, после утреннего обхода врач объявила, что ладно, так и быть, пусть собирается домой, и Валька понесся по больничному коридору, едва не сшибая иненек и больных, к телефону, который стоял в приемном покое.

Там никого не было. Он набрал мамин рабочий телефон и, изменив голос, впечатительно и сердечно объявили Маргарите Николаевне Орловой, что ее сын, Валентин Орлов, скончался.

Он тут же захочтал, выдав себя, мама обругала его дурнем, а приехав, за ним на такси, сказала в машине, что ей делали укол и приводили в себя на-штырем.

Мама у Вальки не была нервной особой — работала инженером на производстве, после ухода отца к другой женщине стала курить и как будто немногого огрубела, она не проронила ни слезинки и не дрогнула даже лицом, когда отец уходил — а тут потеряла сознание от неуместной шутки сына...

Орелик вспомнил старика. Вспомнил, как лежал он, уткнувшись в подушку. Он не знал даже имени старика. Нет, дело тут не в чувствительности. Дело в том, что невыносима даже мысль о смерти.

...Травя бухту веревки, прислушиваясь к плеску, доносившемуся из мрака, Орелик подумал без переборов о том, что ведь вот сейчас, сию минуту, может настать это ужасное, даже сама мысль страшит.

Пока человек жив, его смерть трудно представить. Но когда его уже нет...

Он вспоминался в плеск плотика, который то возникал, то замирал. А вдруг Гусев затихнет сейчас? Затихнет навсегда?

Валька порывисто дернулся шнур. Он натянулся, а Слава крикнул из мрака:

— Чего?

Это отрезвило Орелика. Он ответил:

— Норма!

Но мысль о том, что в гибели Гусева или кого-нибудь будь еще будет повинен он, только он, не отпустила его.

— Итак, протокол заполнен. Осталось его подписать.

— Просите еще что-нибудь! Может быть, вы что-нибудь недовыяснили.

— Благодарю. Все «довыяснило».

— К чему же вы пришли?

— Я веду следствие, дознание, я опрашивал свидетелей. Прямого убийцы пока в этом деле нет. И все-таки он есть.

— Это Храбриков?

— Нет. Вы. Если бы вы не были таким, какой есть, не было бы и Храбрикова. И ничего бы не произошло. Однако вы не под стражей, и вы не прямой убийца. Вы не поднимали нож на человека, как какой-нибудь бандит. Но такие, как вы, страшнее бандитов.

— Эк вы куды! Обвинять легче всего. Следователем или прокурором быть очень удобно: тебя самого не касается ты с стороне. А как быть, еслиrukовиць сотнями людей, техникой, ворочаешь миллионами! Я же человек, поймите, просто человек, а разве человек не может ошибиться?

— Ошибиться может. Но не может убить. Не имеет права! И ваша биография споткнулась не на ошибке, нет, не утешает себя. Вся ваша деятельность, вернее, суть ее, нравственная сердцевина, преступна,

понимаете, преступна! Не надо опускать голову. Я не верю, что вы раскаиваетесь. Вы еще не скоро поймете, что сделали и что случилось лично с вами. Одного понять не могу. Разве не было взлоя вас людей сильных и честных?

— Были! Были! Но не ценил. Отталкивал. Прогонял.

— Видимо, все поняли?

— Ну, если понял? Это учится? Будет принято во внимание?

— А вы неплохой актер, Кирьянов. Загубленное дарование.

25 мая. 19 часов 30 минут. Николай Симонов

Помалу — по шажочку, по ступне они отступали назад, от кромки воды, напряженно вслушиваясь в хруст льда и дальние всплески.

Слава плыл, борясь за их спасение, и дядя Коля оставался спокойен, в то же время готовясь к худшему. В своей жизни он видел так много смертей, принял на себя долю других людей, которые получали лишь подтверждение смерти в форме листка бумаги, заполненного стандартно, что уже не боялся этого и мог рассуждать о худшем без страха, без паники, с готовностью принять эту мысль и жить дальше.

Жить дальше, даже если погибнет Слава, его обязывал последний приказ начальника — немигословный, но вполне ясный. Уходя первым, Гусев возложил ответственность за ребят — за Орелика и за Семку на него, и дядя Коля, признаваясь в этом только себе, выработал план дальнейших действий на тот случай, если Гусев не доплынет.

План был прост, он являлся необходимым продолжением гусевских действий: вытащить плот назад и пойти вторым. А для спасения ребят надо непременно плыть вторым, выбираться на высоту возле вышки, вернуть плот назад, а дальше — тянуть шнур, помогая ребятам скорее преодолеть пространство до сущих. Вот все.

Все? В милях пока выходило просто, но Симонов хорошо представил, что кроется за этой простотой. Пройти две сотни метров льдистого крошка на хлипком плотике было непоморено трудно, и то, что делал сейчас Слава, дважды уже искупавшийся, пре восходило все известные дяде Коле физические испытания. Но он сознавал и инею, скрытое пока от глаз: даже пройдя эти двесоти метров, не получив гарантии остаться в живых. То, что называлось у стариков горячкой, подстерегало каждого из них, и, понимая это, Симонов приготовил себе роль второго на случай Славиной гибели вовсе не из гордости, а опять же выполняя приказ и полагая, что быстрее протащите ребят до вышки. Помочь им, сократить их купание, охранить от горячки, к которой молодой организм, может, более уступчив, чем старый.

Размышляя так, Симонов хитрел сам с собой. Горячке мог уступить скорее организм как раз немолодой, но это было теперь не так уж для него важно.

Он оставался старшим среди этих ребят, хотя занимал самую младшую среди них должность, и понимал, отлично понимал Гусева, решившего так. Бывают в жизни события, когда отступают на сторону должности, а вперед, выходит возраст, опыт, споровка. В нынешней ситуации из трех человек, оставшихся после Славы, он был самым бывальным, опытным, и Симонов принял приказ Гусева как должное.

Сумерки обдували его холодными, упрямими накатами ветра, влажный шнур, тянувшийся к Славе, обмерз и побрякивал деревянною на корку льда, а вода все подступала и подступала.

В какое-то мгновение Симонов понял, что еще не

много, и остров исчезнет совсем, и он принял решение возвести остров искусственный, как бы нарастить ту малую часть земли, что оставалась под ногами. Орелик держал шнур, это требовало внимания, и тогда дядя Коля, мобилизовав Семку, принялся стаскивать в кучу все их имущество — палатку, спальные мешки, рюкзаки, радио, образовывая из этого спокойно и деловито небольшую высотку.

Теперь они стояли на казенном и своем имуществе, тесно прижавшись друг к другу. Вода медленно пропитывала брезент, покрывая его льдом, островок становился скользким, а Слава все еще не добирался до вишк. Однако он и не сдался. Плеск и стук льда слышались явственно — Гусев добирался до суши остервенело, настырно, наверняка.

Симонов представил себе его: зядыхающийся от холода и от внутреннего жара, выбивающийся из сил, с окровавленными, немоющими руками, изрезанными о тонкий, но острый лед. Изредка Гусев подавал голос, кричал что-нибудь несвязное, и дядя Коля, понимая его, немедленно отвечал: одному в этой хрупкой зыби было жутко, неимоверно страшно, и видно, Слава кричал, чтобы увериться в себе, нащупать ниточку, соединявшую его с людьми, ободрить вымотанный, окостенелый и, может, почти мертвый организм за борбу, которая не должна, не имеет права остьаться бесполезной. Хруст льда и плеск доказывали продолжение этой борьбы, существование Славы, а значит, надежду, и дядя Коля вздрогнул — хотя готовил себя к худшему, — когда все стихло.

Он звярал, загигкал, окликая Славу, требуя подать голос, если живой, и Семку, и Орелик заряли тоже. В их голосах Симонов услышал страх и тотчас, без перехода — радость: с той стороны, от вишк, с натугой, тяжело кричал Слава. Он выговаривал какие-то слова, на островке разом умолкли, вслушиваясь:

— Поряд-о-к! — изнемогая, орал Гусев. — Пью спирт! — Они хотохнули: значит, правда, порядок! — Тяните плю-о-т!

— Тянн! — скомандовал дядя Коля, но Орелик и без команды уже яростно мотал шнур. Оншел с натугой — видно, плот цеплялся за льдины. Валька стал помогать Семке.

Симонов смотрел, как споро, по-музикам молча тянут шнур ребята и, хотя было совсем не до этого, залюбовался ими. И Валька и Семка вполне могли быть его сыновьями — одному двадцать, другому двадцать три, а ему за сорок — могли, что же. Но все у него сложилось иначе, и хотя считалось, что женщины после войны много и можно было, конечно, выбрать себе жену, равную по возрасту и понимающую, и народить после войны ребят, Симонов жил по-другому.

Обнесло его, демобилизовался без единой нашивки за ранения, считалось, крепко повезло, но не так это было в самом деле, не так.

Глядя на ребят, тянувших шнур, дядя Коля вспомнил сегодняшнюю день, ненужную свою откровенность, обругал себя по этому поводу, не очень понимая, зачем это он рассиропился здесь, перед тем, что сейчас...

Мысль, однако, вернулась к тому, послевоенному, с китанием с места на место, когда был он неприкаян и не знал, чем заняться: до войны ведь ремесла не было, кроме простой крестьянской работы, а то ремесло, которому научила война, он хотел забыть.

Да, крепко пометила его война, хотя считалось, будто он обнесенный. Правда, пуля не цапнула, осколок миновал, но ведь и другие меты от войны остаются. Сперва он вернулся домой в деревню,

работал в поле, как все, но война, как ровно патефон, что ли, раскручивала в нем свою пружину, снимли ее по ночам пирамидки, обугленные танки, гробы, он просыпался, плакал самогонку посреди ночи,— после ушел из деревни, убежал от себя. Деревенские девки шутили про него, наемная: «Да, может, Николай не в туда ранило, а не признается»,— но он восстанавливать свои достоинства не стал, ни к одной не приблизился. Боялся себя, боялся людей. Боялся, что, заведя семью, родит уродцев, произведет на свет страшные теми войны — слыхали, что и такое бывает.

Он побежал от тягостных воспоминаний по городкам, по артелям, по заводам, но война всюду настигала его, привычного к смерти, привычного к горю и не слезливого, грубоватого по натуре: даже далеко от бывших фронтов, в глубине Сибири, встречал он воинские могилы, где хоронили умерших в госпиталях.

Потом зацепился в маленьком городишке. Решил получить специальность, выучился на шоferа, водил грузовики. Но совсем отлегло, только когда повстречал Кланкну — долгое у нихшло ужажество, потом долгая бездезная жизнь. Наконец Шурка родился... А ведь Шурка мог бы быть уже как Семен или как вон Орелик. Ходили бы по тайге вдвоем, говорили про жизнь, про разное...

Дядя Коля сплюхнулся, вспомнив, по какой нужде попал в тайгу, как оказался здесь, словно бы прозревел, и стал помогать ребятам.

Шнур натянулся, и плотина не шел. Вначале они пробовали тащить вместе, напрягаясь. Не помогало. Тогда Орелик, отстравив других, принялся брать по мелководью, окружившему их искусственный островок, как рыболовную снасть из-под коряги, пытаясь освободить плотик от одолевших его льдин.

Не помогало и это.

Взгромоздяясь повыше и направляя зрение, дядя Коля разглядывал черневший в сумраке плот. Он трезво взвешивал обстановку, и получалось куда хуже, чем предполагалось сперва: плот застрял где-то посередине пути, скованный льдом. Тонкий, как стекликко, под первым морозного северного ветра он упрочнялся мгновенно, а плотик вдрабав ташил, наверное, перед собой ледяное крошево, увеличивая сопротивление.

Валька все бегал по воде со шнуром, то потягивая его, то отпуская, и Симонов велел ему:

— Брось!

Дальше надлежало единственное. Дальше полагалось исполнить свою часть дела, которую оставил ему Гусев, и дядя Коля, не крикнув ничего Славе, не желая его беспокоить, неспешно держась за Семку, снял сапоги и покакуртнее, понадежнее подкурил портняжки. Особо обнажаться он не хотел, но, деловито прикладывая, что вода, конечно, тотчас пропитает всю одежду и будет тянуть вниз, снял еще телогрейку.

Расстегивая пуговицы, дядя Коля услышал сильный плеск, а вскинув голову, увидел, что Валька Орлов плывет к плоту, руками ломает перед собой лед.

— Назад! — заорал дядя Коля и кинулся в воду. — Приказываю, назад!

Орелик, однако, не слушая его, торопливо двигался вперед. «Дурак», — отметил про себя дядя Коля. — Дурачок глупенький, эдак не сто, и двадцать метров не проплынет.

Он настиг Вальку, заграбастал его за живот и потащил назад. Орлов упирался, брыкаясь ногами, будто на пляже или в купальне какой, и дядя Коля беззлобно и деловито врезал ему по лицу. Орелик захлебнулся, ушел под воду, выскоцил, тараща глаза, но послушно повернулся назад.

На мелководье, у острова, дядя Коля ударили Вальку еще раз, посыльное, метя в подбородок. А делая это, он думал только об одном: привести Орелика в себя, заставить опомниться, дать понять, что здесь не самостоятельность, а геодезическая группа, и, пока они живы, надо уважать приказ.

Валька пошатнулся, но устоял, не проронив в ответ ни слова, и дядя Коля почувствовал себя виноватым. Однако размышлять не приходилось.

— Подай-ка варежки, — велел он Семке, не глядя на Орелика. Потом взял телогрейку, чтобы обламывать ю лед, повернулся.

— Дурачок ты, Валька, — сказал он, смущенно улыбаясь. — Только запыхал меня до холода. Глядишь, я бы уплыл.

Он вошел в воду и, уже плывя, крикнул Семке:

— Семен! Ты за старшего! Гляди за этим полуумным!

И засмеялся.

— Ну вот, мы и подошли к концу.

— Куда торопиться, поговорим. Вы женаты? Давно кончили юрфак?

— Примерно тогда же, как и вы, но почему вам это интересно?

— Конечно, интересно. Может быть, встретимся как-нибудь? Поговорим, посидим? Коньячок, правда, вздорожал, но ничего, достать зато можно!

— А вы, ей-богу, молодец! И что вас только сможет остановить, если не остановлю даже этот? Даже гибель человека.

— При чем тут я! Тут виноваты другие! И обстоятельства.

— Вы слыхали такое слово — «доброта»?

— Вот-вот, вам надо, чтобы я добренъким был. Чтоб я на себя чужое дело взял?

— Не прикидывайтесь, Кириянов. Хотите послушать Чехова?

— Ну вот, давно бы так, по-человечески.

— Чехов писал однажды: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

— Опять вы! А при чем тут я?

— В том-то и дело, что ни при чем.

25 мая. 19 часов 30 минут. Семен Петрущенко

Семка стоял на куче имущества, сунув руки в карманы, замерзший и испуганный.

В отличие от дяди Коли Симонова, относившегося к событиям с готовностью выполнить свое дело, и от Вальки, который чувствовал за собой вину, Семка не испытывал ничего такого.

Он просто боялся. Боялся и еще жалел.

За спиной у него висело ружье, Славин двустрелка, с которой он добывал дичь, разнообразия сырый, но уж слишком концентратный, а оттого тоскливы обед, и ему мгновениями становилось смертельно жаль того, прошлого.

Семеке почему-то казалось в отчаянии, что теперь уже все, что ничего не повторится больше, и они никогда не станут выружать, перекриваясь, приборы из грохочущего вертолета, обедать, усевшись кружком у костра, а потом балакать между собой, и никогда уже Валька не станет писать свое бесконечное письмо, а Слава с дядей Колей Симоновым хранить при этом в спальных мешках.

С дрожью и жалостью Семеке предвидел конец, общую смерть, когда их зальет и они останутся здесь, в пойме Енисея, постепенно погрузившись в эту жуткую, стремительно поднимающуюся воду.

Поначалу, до того, как вертолет прошел мимо них, ему передавалась Валькина беспечность, тем более что он сам, собственными ушами принял радиограмму о выходе машины. Но теперь все было иначе. Теперь он воспринимал происходящее по-другому, и это подобное ощущение надвигающейся беды не оставляло его, вызывая страх и непонятные, ненужные, глупые мысли. Одна была особенно навязчива и неотступна.

Оглядывая взбунтовавшуюся реку, перебирая события дня, он снова и снова думал, что их предали. Да, предали! Кто, зачем, почему, Семка не знал, не мог знать и даже предполагать, но не могло же все, что происходило, быть чистой случайностью!

«Странно... — думал Семка, — мы даже ни разу не сказали об этом. О предательстве. Как удивительно, что это даже никому не пришло в голову!»

Он останавливал себя. А может, пришло? Слава, например, не зря он не любил Кирьянова, хотя и не распространялся о нем. Да и над Храбриковым все они посмеивались, называя хорьком. В этом прозвище была не только нелюбовь, неприязнь, но и недоверие. И дядя Коля и Слава не верили Храбрикову, человеку с лисьими глазами и обманчивыми словам.

Семка не знал толком ни Кирьянова, ни Храбрикова, ему только не нравилась Цветкова, тощая и, как казалось, пустяя. «Что ж, — соображал он, — она виновата, начальница! Может, это она?»

Мысли о предательстве походили на речную волну — то наплескивали, то отступали — и отступали все чаще: Семке казалось невозможным такое. Люди просят вертолет, сообщают обстановку, и никто не обращает на это внимания.

Что-нибудь такое могло быть у маленьких, у ребят, но только не у взрослых.

Семка вспомнил себя в седьмом классе и своего приятеля Демидку Львова. Демка учился в другой школе, но это им ничуть не мешало дружить, и каждый вечер, выучив уроки, Семка шел домой к приятелю, оставил маму одну.

Он делал это беззаботно, естественно, да мама и сама отправляла его погулять, всегда поощряя, как она выражалась, «хорошее товарищество»: у Демки и отец и мать работали в институте, хорошо зарабатывали, причинично одевались; хорошо и небрежно, не обращая внимания на то, что штаны, рубашки, костюмы недешево стоят, одевался и Демка. Семену нравилось в нем это сочетание, хотя сам он ходил в аккуратно штопанных брюках, в курточке с латками на рукавах.

В доме у Демки всегда было тепло, уютно: отбрасывал на потолок яркие пятна зеленый торшер, тихо, как бы вполголоса, играл прогреватель со стереофоническим звучанием. Семку всегда ужасно смущало время чаи. Анна Николаевна, Демкина мать, приносила им на красивом подносе, как господам, чайник, пирожные, разрисованные ею самой чашечки, которыми она очень гордилась, подвигала хрустальный кораблик, полный дорогих шоколадных конфет, печенье и, усевшись рядом с ними, закинув одну на другую красивые полные ноги, начинала угощать.

Особенно она усердствовала, когда угощала Семку, стараясь при этом взглянуть в глаза, расспросить о школьных успехах, и он прямо не знал, куда деться. Кусок не шел в рот, Семка ерзal в ставшем неудобным мягким кресле, чашечка дрожала на блюдце, норовя покинуться, и Анна Николаевна, шутя, предупреждала, чтобы он был поаккуратнее, объясняя всякий раз, что это ее работа, и после этого Семка вообще готов был испариться.

Иногда он замечал, что, если нет Анны Николаевны, Демка может повторить ее слова. Особенно на счет чашечки. А еще больше — про угощение.

— Еши, пожалуйста! — великолепно взывал Демид. — У вас-то таких, наверное, нет. — У него получалось грубее, чем у Анны Николаевны, но зато яснее. И Семка иногда вскакивал, глотал обидные слезы и убегал.

Демидка приходил к нему назавтра, они мирились, потом все начиналось снова, и Семка как-то привык к этим бесконечным угощениям, только иногда задумывался: «Что ж, они, выходит, жалеют меня? Думают, раз мы одни с мамой, так я и конфет не ем!»

Таких, как у Демки, он, пожалуй, не ел действительно, но суть от того не менялась, он улыбался: «Смешные люди! Им кажется, меня надо жалеть!»

Они дружили, бегали в кино, фехтовали на деревянных шпагах, катились на подке — у Демидовых родители был знакомый на лодочной станции, Демка хвастался этим и пользовался своим преимуществом, — и Семка ко многому привык, а многое не замечал или просто еще не понимал.

Однажды в кануну, летом, Демидка объявил, что они втроем — мать, отец и он — едут не на юг, как обычно, а в деревню. Чтобы быть доказательным, он провел Семку в пустой отцовский кабинет. На полированном столе лежали катушки с леской, грузила, крючки разных размеров и блесны, великолепные блесны, посыпывающие латунь.

Семка кивнул, стараясь быть равнодушным, но сердце его запыльяло от зависти. Счастливчик же этот Демек: у него есть отец и он едет на рыбалку. В Семкином понимании рыбалка тогда соединялась только с отцом, ведь не могла же мать по примеру Демидовых родителей поехать рыбачить с ним в деревню.

Несколько дней в доме Демки шла суетня, шли сборы. Семка, приходя вечером, сидел неприкаянно в кресле, его как бы не замечали, сократив с ним разговоры, он чувствовал себя посторонним, уходил печалься, а мама все спрашивала, что с ним.

Он отмахивался, молчал, потом прибежал возбужденный, сказал, что Демкина семья берет его с собой, засуетится. Мама, конечно, все поняла, одобрила Семкину поездку, собрала рюзачок с небольшими пожитками и едой. Еды она хотела положить побольше, но был уже вечер, магазины закрылись, а утром спозаранку уходила электричка, и мама положила запасы из буфета, уж что было: сахар, мараконы, хлеб — буханку черного и батон, немного дешевых конфет, консервные банки с треской в масле.

Семка подтачивал напильником единственный свой крючок, пробовал на зуб леску, отыскивал поплавок — ярко покрашенное гусиное перышко.

Неделя пролетела словно во сне. Большой, взрослой рыбаки у Демкиного отца не получилось неизвестно по каким причинам, но ребята удили здорово, просто сотнями таская жадную щеклею на простой хлебный шарик.

Все было прекрасно, они дурели, бегая по полям, усевшись одуванчиками, отпевливались от назойливых паразитиков, хохотали, плескались в реке, спали в душистом сене.

Потом Семка уехал, а Демид с родителями остался. Пока Демка жил в деревне, а Семка парился в городе, он едва ли не каждый день наведывалась к приятелю. Дверь была закрыта, хозяевья не возвращались, и Семка жутко тосковал по Демеку.

Когда он совсем уж решал, что Демидовы родители, видно, проживут там до осени, дверь оказалась открытой.

Демка был один, он не обрадовался Семену, кивнул, пропуская, потом улегся на диван, стал писать журнал как ни в чем не бывало, словно в комнате никого нет.

— Ты что? — удивился Семен, думая, что Демка, может, заболел или расхандрился, тоже бывает, особенно когда родители накажут. Но Демка молчал.

— Обиделся, что ли? — засмеялся Семен, и Демка нехотя ответил:

— А разве не за что?

— За что же? — спросил он тихо.

— А за деньги, к примеру, — лениво поднимаясь, произнес Демка.

— За какие деньги? — удивился Семен.

— Не стыдно тебе? — вдруг поразился Демидка. — Совсем не стыдно! Недавно прохиж, а провизии привез — смех сказать. Консервы вон можешь забрать — мы такие не едим!

Семка обалдело глядел на приятеля, не понимая, шутят он или нет, хмыкнул было, не зная, что и сказать, но Демидка его оборвал.

— Можешь не смеяться! — сказал он. — Лучше плати. С чего это мы должны тебя задаром кормить? Думается, моим, раз в институте работают, денекки легко достаются?

Семка ощущал, как окаменело у него лицо.

— Сколько? — спросил он.

— Чего сколько? — не понял Демка.

— Сколько платить? — произнес Семка.

— Ну... — замялся Демка, — не считай, — потом откупил сомнения. — Двадцать пять.

Семка бежал домой, кусая губы, боясь разреветься при всех, на улице, но, переступив порог, дал себе волю.

Мама, слушая, гладила его по плечу, говорила какие-то слова, но он не мог, никак не мог понять: почему, зачем? Зачем такое предательство?

Слезы лились, мамины слова не помогали, — они не объясняли, а просто успокаивали.

Неожиданно мама сказала:

— Перестань! Ты ведь всегда был сильным.

Она сказала это жестоко, уже не уговариваая, и Семка сразу успокоился. Мама заняла у соседей денег, Семка пошел в институт, где работала Анна Николаевна, разыскал ее, отдал деньги.

Сперва Демкина мать ничего не поняла, спрашивала: «Какие деньги? За что?» Но когда до нее все-таки дошло, Анна Николаевна скакала губы и замолчала, глядя в окно. Она долго думала о чём-то, потом сказала медленно, словно про себя: «Как же так?» И повторила: «Как же так?» Словно Демка ее обманул.

Семка был тогда поглощен своей обидой и не очень внимательно смотрел в лицо Анны Николаевны, не очень стараясь понять, чего это она задумалась, только уж позже, когда все утихло в нем, когда он подрос и прошло время, он понял, что Демкина мать себя это спрашивала, себя и никого больше.

Анна Николаевна помочилась, решительно взяла деньги и сказала:

— Тебе их вернёт Демид. Он принесет сам.

— Не надо, — сказал Семка, но Анна Николаевна не дала ему говорить.

— Молчи! — сказала она. — Молчи!

Демка пришел наутро, принес деньги. Семка не брал, и Демка готов был встать на колени чтобы его простили. Семка не мог выдержать этой истеричной сцены, не мог глядеть в умоляющее Демкино лицо, он кивнул головой, прощающая, они пошли на пододную станцию, катились в байдарке, но ничего у них не выходило, ничего не клепалось: Демка, торопливо говорил о чем попало, Семка отвечал междометиями, и когда стало немоготу, спросил:

— За что же ты меня так?

— Не знаю, — сказал Демка, мрачнея. — Сам не знаю. Чего-то мне жаждо стало. Какая-то напала жаждность, а я не удержался.

Они встречались потом не раз, но Семку уже не тянуло к Демидке, хотя Анна Николаевна старалась склонить его старую дружку. Что-то поселилось внутри Семки, какое-то отвращение к Демиду. Он спрашивал себя, поражаясь: неужели жаждность может вызвать предательство?

Выходило, может...

Демка все приходил и приходил к нему, и всякий раз, увидев лицо приятеля, Семка вспоминал то предательство и думал, что раз было однажды, может повториться снова... Демка сказал: жаждность. И еще сказал, что не удержался. Но откуда в нем вдруг оказалась жаждность — вон Анна Николаевна какая... «Может, — думал Семка, — жаждность, предательство и всякая прочая гадость в каждом человеке есть, все дело действительно в том, чтобы удержаться. Чтобы эту гадость в себе утопить, уничтожить?»

Это он думал тогда, мальчикой. А с Демкой они так и разошлись.

Демкино предательство долго саднило Семкину памяти, обижая чем-то горячим, обидным, но потом все прошло, забылось.

А вспомнилось вдруг сейчас. Не к месту, не временно.

Предательство Демки касалось только его, здесь же их было четверо. Тогда оскорбили его честь и достоинство, теперь речь шла о жизни.

Семка мотнул головой, отбрасывая эти глупые мысли. «Смешно даже, — подумал он, — разве можно сравнивать — детство и то, что сейчас? О нас думают, — решил он, — знают и непременно спасут».

Семка взглянул на небо.

Луна в окаймлении мутного круга равнодушно озирала окрестность.

— Хорошо! Я признаю свою вину. Вы, вероятно, правы. Я не всегда проявлял достаточно человечности, гуманизма, доброты. Но согласитесь: это вина нравственная. Понимаете? Не уголовная, а нравственная. Это из области человеческих ошибок, о которых не говорится в уголовном кодексе

— У вас дети есть?

— Двое. Жена. В конце концов не я, а моя семья, сознание того, что я единственный ее кормильец, могут вызвать, ну, не оправдание, так снисхождение. Моральное опять же.

— И у него остался ребенок. Он тоже был единственным кормильцем.

— Я готов искупить свою нравственную вину, если уж вы меня обвиняете. Ну, я могу, скажем, платить алименты на воспитание его ребенка.

— Слушайте, Кирьянов! Я вот гляжу на вас, внимаю вашим речам и никак не могу понять: где же предел вашего цинизма, вашей... впрочем, стоит ли подбирать слова, вашей подлости!

— Жалею, что мы встретились с вами в такой нервной ситуации.

— Ситуация неравная, это верно. И, боюсь, выровнять ее не удастся. Вряд ли судья и народные заседатели захотят увидеть лишь вашу нравственную вину, лишь вашу халатность, хотя и за халатность судят. Вы совершили уголовное преступление, Кирьянов. Я не прокурор и не судья, вы пока только подследственный, но я говорю вам: убийца — это вы!.. Впрочем, достаточно. Следствие окончено. Вы рассказали мне многое больше, чем требуется от под-

следственного, Кирьянов. И вы мне ясны. Мне же хотелось узнать еще лишь одно. Что думал каждый из вас в 20 часов 20 минут 25 мая? Что было с каждым из вас по ту и по эту сторону разделившей вас черты?..

25 мая. 20 часов 20 минут. Валентин Орлов

Oрелик сидел на краю островка, и его знибило. В попутные слышался хруп льда и виднелось небольшое пятно. Дядя Коля проридался к плоти.

Неожиданно для себя Орелик заплакал.
— Дурак! — прощептал он, ругая себя. — Дурак!
— Что ты там шепчешь? — спросил, наклонясь и вглядываясь в него, Семка.

— Это я виноват! — крикнул Орелик. — Я! — залпал истощенно, дико, испугав Семку. — Дядя Коля! Вернись!

Семка толкнул Вальку в плечо, и тот заплакал на взрыд, не таясь, полез по привычке в карман ватника за платком и вытищил тетрадку.

В нем было письмо Аленке.
Бесконечное, недописанное письмо.

Лицо Орелика вытянулось. Он смахнул рукавом слезы, нерешительно замер.

Потом стал рвать тетрадку.
Мокрые страницы поддавались легко.

— Свихнулся! — крикнул ему Семка, дрожа и тоже плача. — Свихнулся, да?

Но Орелик исступленно рвал тетрадку. Глаза его глядели в темноту, и вдруг он замер.

— Люди добрые, — пробормотал он. — Помогите!

25 мая. 20 часов 20 минут. Петр Петрович Кирьянов

Eдкий, желтый дым от выстрела карабина послушно плыл за плечами Кирьянова то в одну, то в другую сторону.

Он метался по комнате, исходя злости.
Наконец шаги его стали ровнее и тише.
Потом остановился, прислушиваясь к себе. Злость угасала, как костер, ее требовалось залить окончательно.

Он подошел к зеркалу, поправил сбившийся галстук, провел, ероша волосы, ладонями по бороде и вышел на улицу прямо так, в светлом костюме, не одеваясь.

Мороз освежил его, пробозил, и в столовую Пэз вошел румянчик, в прежнем расположении духа.

— Ну-у! — гаркнула он, открывая ногой дверь. — Наполним бокалы и выпьем их разом!

Гости загудели: спирт уже кончился. Разлили остатки.

— Сейчас приедет машина! — объявил Кирьянов, глядя на часы. — Привезет ящик спирту!

Гости засуетились, рассаживаясь по местам, готовясь к продолжению праздника. Петр Петрович ревниво оглядел их лица. Чиладзе и Лаврентьев не было. Не было и еще кое-кого. Он запомнил это, сделал зарубку в своей памяти: «Зашевелились людишки», — подумал он. — Крысы прыгают с корабля».

— А пока, — крикнул Кирьянов, — выпьем... — Он подумал, пошатываясь, опустив голову, потом снова вздернул голову. — За нас!

Он присосался.
— За нас! — повторил он. — За покорителей Сибири! За переустройтелей жизни! Виват!

25 мая. 20 часов 20 минут. Николай Симонов

Nяда Коля плыл в темной воде, и каждый метр отдавался болью. Телогрейкой он обливывал лед перед собой, но запястья рук были не защищены, и лед резал их. Перевхватываться было некогда, неудобно, и он скрипал зубы, думая — странно — не о плотике, не о своей цели, а совсем о неважном теперь деле.

Он думал о Вальке, о том, как ударил Орелика, и хотя понимал, что иначе не мог, что иначе, с разговорами, они проваландались бы еще боят знает сколько, вина перед парнишкой никакого не оставляя. Его все не оставляла мысль, что Орелик годится ему в сыновья, и это беспокоило его особо, будто стукнуло он малое дитя...

В какой-то миг он, однако, забыл о нем.
Дыхание стало прерывистым, кровь бухала в висках, тело напалило усталостью.

Перед глазами пошли красненькие пузырьки. Симонов решил, что это пот, потянулся рукой смахнуть его, выпустил ватник, а взять снова не смог: намокшая телогрейка ушла одним краем вниз, под воду, и потянула его за собой.

Дядя Коля отпустил груз, всплеснулся вверх, вырылся из власти воды, обрушил лед на ладони, попробовал плыть саженками, но плот был далеко.

Напрягаясь всем телом, выжимая из него остатки сил, Симонов рванулся вперед, сожалея о других — об Орелике и Семке. — Гусев уже выбрался сам, — он всплыл воду и почувствовал без страха, с одной лишь тоской, что правую ногу свела судорога.

Он исхитрился ущипнуть себя изо всех сил за голени, снова рванулся вперед, гребя ободком ногой, захлебнулся. На зубах скрипнула лыдника.

Теряя силы, он захотел было крикнуть, но сдержался, как тогда, на войне, чтобы не пугать ребят. «Шурика жаль, — мелькнуло последнее, — Шурика...»

25 мая. 20 часов 20 минут. Кира Цветкова

Pридя домой, Кира долго стояла, прижалась к косяку и не включила свет.

Скрипел сверчок, давний ее приятель, в комнате было тепло и тихо, и никуда не хотелось двигаться.

Превозмогая себя, Кира щелкнула выключателем. Лампочка, то светлая, то желтая, осветила бледное Кирину лицо, отраженное в зеркале, расширившиеся, но спокойные глаза.

Она стояла еще минуту, не решаясь распахнуть пальто, потом вздохнула и, не отворачивая взгляда от зеркала, а, напротив, напряженно, словно пытаясь запомнить увиденное, разделилась.

Серое элегантное платье, которым она так гордилась, было измято и ободрано. Не сохранив ни одной пуговицы, оно болталось, как тряпка, открывая соочки.

Решительно и сосредоточенно Кира перешла в спальню, накинула пальто и вновь остановилась у порога.

Прикрыли глаза, Кира представила себя такой, как минуту назад: в разворзбанном платье, но с напряженным, решительным взглядом.

Она переступила порог.
Плотный, похожий на невидимый парус ветер навалился на ее слабое тело, но она продавила его плечом и пошла.

Ее дорога лежала к дому на окраине поселка, возле которого так и ваялась лодка, предназначенная для Гусева.



Она шла к этому домику, означавшему край вертолетной площадки, думая о том, что машине пора вернуться и место ее здесь, на пронизывающем, густом ветру. Подойдя к полю, Кира заметила мутную тень, которая двинулась ей навстречу. Это был Лаврентьев.

— Черт возьми,— сказал он,— хмель вышел, и я склоняюсь к себе, что отступил. Надо было лететь с Храбриковым.

Кира не ответила, зябко прячась в воротник пальто.

25 мая. 20 часов 20 минут. Слава Гусев

Гусев старался не сидеть. Превозмогая озноб, по-прежнему сменявшийся жаром, он пытался бегать, прыгать, чтобы согреться, но прыжки его и пробежки были несурзаны и слабы. Преодоление этих страшных метров до вышки обессилило его вконец, и, хотя он пил спирт из фляжки, спрятанной в мешке, который удалось перенести утром, болезнь наваливалась все тяжелей и душней.

И все-таки он пригнал и прогебался, согревая себя и готовя мысли, что ему, может быть, еще раз придется сегодня войти в ледяную воду.

Гусев знал, что дядя Коля плынет к плоту, надеясь на него, был уверен почти как в себе и хвалил Симонова за правильное решение. Нет, Орелика нельзя пускать в воду, не выдергит, как не выдергит и Семка, и они — Слава и Николай — должны теперь сберечь паченов.

В первый миг, когда с той стороны, с острова, раздался хриплый и невнятный крик Орелика, Гусев решил: что-то неладно у них. Но ему в голову не пришло ничего про дядю Колю.

Он застыл, собирая остатки сил, и тут только понял, что ребята не такие уж слабаки и не выдержали потому, что беда пришла к Николаю. Не веря еще, он прислушался к реке. Плеск больше не слышался, и Гусев закричал, отчаявшись впервые сегодня:

— Симонов! Отзовись! Дядя Коля...

Было тихо, до жути тихо, но Гусев не поверил в это и ширнулся свое тело в ледянку кипяток.

Тело не почувствовало холода, он заработал рукаами, глотая снежную кашу и сдерживая стон.

Он вспомнил Кланьку, которую никогда не видел, — странно, не Николая, а его жену Кланьку, — и сквозь хруст ледянок явственно услышал шум винтов.

Он остановился, понимая тщетность своих усилий, огруз в воде, а потом выхватил из нее кулак, свой широкий кулак и показал его небу.

25 мая. 20 часов 20 минут. Сергей Иванович Храбриков

Бутылки в ящике дребезжали, издавая тонкий, комариный звон, спирт плескался в них мелкими фонтанчиками, и Храбриков думал, что спирт теперь этому подлокотнику Кирьянову уже не поможет.

Тридцать шесть начальнику, планировал повыше взлезти, мол, все впереди, да нет, скрежет его Сергей Иванович, как есть скрежет, если будет Кирьянов над ним по-сегодняшнему выхаживать: «Детей нам вместе не крестить,— думал Сергей Иванович успокоенно,— а там поглядим». Пенсионный стаж — два за год — набегал все это время, можно на худой конец и дома доработать, у жены, у сыновей.

Вертолет кружил воздух, пилоты знали ориентиры, шли теперь как по часам, и лисы глазки Храбрикова

млели: резь в желудке и недомогание прошли, пропадло, видать, проветрило на этом дьявольском самокате, лешил его побери.

Поглядывая в иллюминатор, Храбриков увидел змеистую полосу реки, подошел к лестнице, склонной перед дверцей, поправил ее по-хозяйски, приготовился выбросить по команде.

Машинка зависла — это он чувствовал нутром, привыкшим к перелетам, и подумал, жалеючи, о Кирьянове, о Цветковой, о всей этой шатии-братьи: «Эх-ма! Да кабы не Храбриков, архангел-спаситель, куда бы вы делились?»

25 мая. 20 часов 20 минут. Семен Петрущенко

Вертолет трепал воду, плескал льдинами, гнал ветер, надвигая на них темное пузо, из которого вываливалась лестница, похожая на кишку, а Семка плакал, плакал захлебываясь, и нижняя губа его дрожала и тряслась, совсем как в детстве.

Не обращая внимания на треск винтов, не понимая, что не сможет их осилить, он кричал, надрывая голос, и две жилы надувались на шее, синея от натуги.

— Да-а-адя! Ко-о-ля! — кричал Семка и повторял, изнемогая: — Да-а-адя! Ко-о-ля!

Память выбрасывала Семке мгновенные картины сегодняшнего дня — вот они обедают, вот дядя Коля плачет, а он подыгрывает ему на расческе, вот они борются с Гусевым, вот Гусев стоит в воде, поддерживая шест с антенной, а он работает на ключе, и эти воспоминки ужасали его.

— Да-а-адя! Ко-о-ля! — орал Семка в серую простины, заменившую реку, берег, триангуляционную вышку, горизонт.

— Да-а-адя...

Но голос гремящей машины заглушил его хриплый крик, и, теряя власть над собой, ожесточаясь, не понимая, что делает, Семка перекинул из-за спины ружье.

Окоченевшие пальцы нащупали спусковые крючки, он нажал на оба разом, пламя полыхнуло над головой. Но в последнее мгновение ствол качнулся, отброшенный от вертолета, и оба заряда ушли в небо.

Семка увидел возле своего лица округленные глаза Орелика.

Орелик смотрел непонимающе, отрешенно. Семка сумел разглядеть в его лице решимость и еще что-то неуловимое — это бывает, когда человек неожиданно проснется и, хотя не понимает, где он, готов действовать.

Это Семка вспомнил позже.

А тогда закричал вертолету:

— Подлецы! Предатели!



И НАШИ
ВКЛАДЫ

ВРЕМЯ ОТРАБАТЫВАТЬ АВАНСЫ

В апреле—мае в залах Академии художеств прошла выставка молодых художников, работавших по договорам с Академией и в ее творческих мастерских. Были выставлены произведения, выполненные в 1967—1972 годах художниками большинства союзных республик. Это событие имело уже достаточно обширную прессу.

Редакция журнала «Юность», публикующая работы молодых художников, дает читателям возможность составить о них собственное мнение. Поэтому мне, участнику экспозиции, вряд ли имеет смысл давать оценки своим коллегам. Но, мне кажется, интересно поговорить об особом значении именно этой выставки для большинства ее участников.

Надо сказать, что в отличие от тех многих случаев, где соседствуют авторы, впервые видящие работы друг друга, здесь были представлены коллективы людей, которые долго трудились бок о бок не только в институтских мастерских, но и в творческих мастерских Академии художеств. Эта форма организации работы молодых художников заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее.

В творческие мастерские принимаются сразу после окончания института или спустя небольшой срок после него те, кто с отли-
чием закончил институт. И здесь в течение трех лет молодые ху-
дожники имеют возможность го-

товиться к своим первым последипломным выставкам, пользуясь благожелательным вниманием и советами старших коллег. В академических мастерских создается атмосфера общей творческой заинтересованности.

Для примера укажу на московскую графическую мастерскую. Кроме Е. А. Кибрика, руководившего мастерской с 1966 года и не прерывавшего творческих контактов с ее питомцами и после окончания срока их пребывания в ней, работы мастерской регулярно просматривали А. А. Дениека и Д. А. Шмаринов, помогали мастерской художники Ю. И. Пименов и А. В. Сойфертис, О. Г. Верейский и Вернер Клемке, шефствовавший над ее художниками в ГДР, во время их пребывания там по соглашению между Академией искусств ГДР и нашей Академией. Бывали в мастерской и члены немецкой Академии Г. Тухольский и К. Э. Мюллер. Если к этому добавить, что молодым художникам предоставляются длительные командировки по выбранным темам, материалы, натура, наконец, договора по окончании срока пребывания в мастерских, то станет ясно, от скольких организационных и бытовых трудностей избавили мастерские своих питомцев в первое, самое трудное время их становления, какие возможности творческих окрепнуть, поверить в себя дала она им.

Мастерские стали местом передачи творческих традиций моло-
дым художникам. В мастерских создается азартная атмосфера творческого соревнования, где младшие хотят работать лучше старших, старшие же ревниво стараются не ударить лицом в грязь. Ощущение коллектива как творческой среды стало баражом едва ли не более ценным, чем толстые папки этюдов и эскизов, которые увозят с собой художники по окончании мастерских.

И будучи благодарным выпускником творческой мастерской Академии, я рад предоставившему поводу сказать слово своей признательности ей. Впрочем, дело не только в этом. Смысль этого развернутого отступления о творческих мастерских еще и в том, что без него не был бы ясен характер той работы, результатом которой явилась большая часть экспозиции нашей выставки.

Сама выставка показывает, что молодое поколение живописцев, скульпторов, графиков входит в жизнь не случайным скопием разрозненных одиночек, а сплоченным отрядом с общими традициями, с общими этическими и эстетическими принципами. И в этом, по-моему, самый значительный итог выставки.

Еще одно конкретное замечание о ее специфике.

Надо сказать, что в большинстве экспоненты уже участвовали в республиканских, всесоюзных да и зарубежных выставках, но ни на каких других до этой они не имели возможности увидеть свое творчество так полно. Достаточно сказать, что живописцы наряду с сюжетными вещами представляли серии портретов, пейзажей и на-
тюрморты. Пейзажи и портреты вместе с эскизами росписей и витражей показали монументалисты, что же касается графиков, то экспозиции в 12—15 листов одного автора отнюдь не были исключением.

...Теперь выставка уже закрыта. Настает наше время отрабатывать авансы...

Ю. ВЕЧЕРСКИЙ



Ю. КУЗЬМЕНКО

«СЛИТЬ СЕБЯ СО СВОИМ ПРИНЦИПОМ»

Почтайте журналы, послушайте выступления на разного рода литературских встречах — есть уже бесспорные приметы того, что не давние указания и рекомендации партии о повышении активности литературно-художественной критики подкрепляются практическими делами. Вот еще одно свидетельство этого, еще одна отрадная весть: создан и начнет выходить с января будущего года массовый критический и библиографический журнал «Литературное обозрение». Можно надеяться, что он станет добрым попутчиком литераторов, журналистов, издателей, преподавателей, работников книжной торговли да и всех людей, так или иначе причастных к художественной литературе.

Критика получает возможность писать о литературе больше. Это отлично грустная статистика о проценте книг, не находящих в печати никакого отзыва, достаточно известна. Но главное, критика должна стать лучше. А краткое это слово вмещает в себя и верность исходных позиций, и высокую философскую культуру, и умение соотносить художественное произведение с жизнью, и глубокую заинтересованность в успешном развитии нашего социалистического искусства, и мастерство эстетического анализа — все то, чем с момента своего появления была сильна марксистская эстетическая мысль и о чем так своевременно напоминается в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

Традиции марксистско-ленинской эстетики, их значение для современной литературно-критической практики — этому посвящается наш очередной «Дневник критика».

Издательство «Художественная литература» только что вновь выпустило в свет сборник «В. И. Ленин о Л. Н. Толстом» (составление, послесловие и комментарии С. Брейбург). Издание второе. Ценность этого издания состоит в том, что знаменитые ленинские работы сопровождаются здесь характерными выступлениями печати того времени статьями, с которыми полемизировал Ленин, подробными комментариями, короче говоря, всем, что помогает понять важность ленинского обращения к творческому наследию Толстого.

Маленькая эта книжечка, содержащая работы шестидесятилетней давности, лучше многих томов отвечает на злободневный сегодня вопрос, что такое социология литературы в подлинном, научном смысле этого понятия. Органическое единство социального и эстетического анализа сложнейших литературных явлений, историзм теоретического мышления, позволяющий видеть творчество большого художника в движении, в бесчисленных «сцеплениях» с эпохой, точно раскрыть взаимосвязи в художественном творчестве классового и общенародного, национального и общечеловеческого, последовательная партийности исследования, которая на поверху оказывается и его высшей объективностью,— вот он, непреходящий ленинский урок, делающий эти статьи и в наши дни бесценным руководством для каждого литературоведа и критика.

Вновь и вновь будем мы обращаться к и другому недавнему изданию, связанному с ленинским наследием. Речь идет о книге «В. И. Ленин и А. В. Луначарский» («Литературное наследство», т. 80, «В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы»). Издательство «Наука», 1971).

В обстоятельных письмах и кратких, в несколько строчек, записках, в докладах и распоряжениях, сообщениях и телеграммах — во всем, что составляет содержание этого обширного тома,— оживает эпоха, образно называемая когда-то Леонидом Леоновым «утром новой эры». Мы видим ветерана революции, а потом первого наркома просвещения Луначарского в кипении общественно-политических событий, в делах и заботах, далеко выходящих за пределы искусства. И начинаешь понимать, как правильно поступили составители тома, представив в нем всю многогранную деятельность Луначарского, все стороны его многолетнего сотрудничества с Лениным. Проблемы культуры, формирования социалистического искусства оказываются не изолированными, предстают в общей сложной картине творческого создания нового мира.

Сегодня для нас аксиомами являются необходимости целенаправленного воздействия партии и государства на развитие художественной культуры, использование прогрессивных традиций классики, всесторонний учет специфики литературы и искусства и в практической работе и в понимании их социалистического содержания, их новой классовой сущности. Тогда эти аксиомы были еще теоремами, и «доказывались» они не тиши кабинетов, а в бурных спорах, в острой борьбе с формалистическими вывертами, сепаратистскими настроениями пролеткульта, мелкобуржуазными подделками под «пролетарское искусство», вульгарно-социологическими концепциями теоретиков, мало того, с известной уступчивостью, склонностью к увлечениям самого народного комиссара просвещения. И опять-таки перед нами далеко не только история. Книга «В. И. Ленин и А. В. Луначарский» учит непринимости в принципиальных вопросах и умению видеть в чело-

веке главное, последовательности в отстаивании основ марксистско-ленинского учения, читят творческому подходу к их практическому применению.

Современником и соратником Ленина был выдающийся немецкий марксист Карл Либкнехт, чье эстетическое наследие, по существу, впервые стало в полной мере доступным советским читателям (Карл Либкнехт. Мысли об искусстве. Трактат, статьи, речи, письма. Составление, вступительные статьи к сборнику и его разделам, примечания М. Кораллова. Издательство «Художественная литература», 1971). Наряду с Францем Мерингом, Розой Люксембург и Кларой Цеткин, Карл Либкнехт внес заметный вклад в развитие марксистской теории искусства, посвятив этому специальный трактат, по верной оценке составителя сборника, «первый опыт цельной эстетической системы, в которой искусство рассматривается со строгой последовательностью в его отношении к революции и народу».

Сражение с немецким милитаризмом — этим, по словам Либкнехта, «злым духом, губящим культуру» — включало в себя борьбу за свободное развитие первого демократического искусства, за доступ трудящихся масс к его ценностям. «Надо широко распахнуть все окна и двери перед искусством и наукой, впустить волны ветер духовного прогресса, дать возможность развернуться художественному творчеству и восприятию». Либкнехт исходит из марксистского положения о том, что искусство глубоко социально и по своему происхождению и по своим функциям, подчеркивает активное, действенное начало художественного творчества, предельно заостряя эту мысль: «Главная задача искусства — создание не совершенных произведений, а совершенного мира». «Аполлония тенденциозного искусства», «Народа» и искусства» — так называются заключительные параграфы исследования Либкнехта, свидетельствующие о том, что его поискишли в одном направлении с Лениным, что одной из самых актуальных задач марксистских партий в ту пору была разработка основополагающих принципов пролетарской, социалистической культуры.

Наконец, откроем еще одну книгу из этого ряда — сборник литературно-критических выступлений Вацлава Вацлавовича Воровского (В. Воровский. Литературная критика. Составление и подготовка текста О. В. Семеновского и И. С. Черноуцана, предисловие И. С. Черноуцана. Издательство «Художественная литература», 1971).

Первая статья Воровского, «О М. Горьком», написана в конце 1901 — начале 1902 года. Последние вошедшие в сборник выступления датированы 1912 годом. Всего десять лет литературной работы — и, конечно, работы «по совместительству», наряду с боевой большевистской деятельностью во время первой русской революции, вынужденной поездкой в Вятскую губернию, отсидкой в московской тюрьме, руководством подпольной партийной организации в Одессе. Разбросанные по разным газетам и журналам статьи Воровского были разысканы, собраны и впервые опубликованы вместе только в 1923 году — уже после того черного майского дня, когда белогвардейская пуля в Лозанне оборвала жизнь революционера, дипломата, публициста ленинской школы.

Воровскому довелось писать о Белинском, Добролюбове, Писареве. Он прекрасно знал наследие русских революционных демократов, восхищаясь их умением соединить слово и дело, «слить самих себя со своим принципом». Он прямо продолжал их очистительную литературно-критическую работу, когда действительно «пришел настоящий день», когда «лишние люди» новой поры безвременья сходили со

сцены, освобождая дорогу горьковскому «герою с идеалом». Но это было не просто повторение прежних, даже самых блестящих образцов критической мысли. Воровский оценивал литературный процесс с высоты пролетарской идеологии; с позиций ленинского этапа развития марксизма. И это вместе с талантом критика придало его «поденной» работе в журналах «Образование» и «Мысли», в газете «Одесское обозрение», в «Черноморском портовом вестнике» такую глубину и точность, что подписаные им статьи, фельетоны, заметки не только перекликались между собой, но и читаются сегодня почти без каких-либо поправок.

Воровский чрезвычайно чуток к общественным настроениям, находящим выражение в художественном творчестве.

Голос Воровского достигает щедринского сарказма, когда он пишет о литераторах, которые не просто предавались отчизнию, но пытались довершить поражение первой русской революции ее духовным развенчанием. В одной из блестящих статей критик создает образ мародера, обшаривающего карманы убитых в ночь после битвы. Это позорная социальная роль, по его мнению, равным образом принадлежит и тем, кто производит мрачную переоценку ценностей (рассказ «Тьма» Леонида Андреева), и тем, кто, свергая вчерашние кумиры, ищет уладу в женских или мужских телесах («порнографически-политический» роман Ф. Сологуба).

Воровский не ограничивается памфлетом, посвященным упадническим тенденциям в художественной культуре. Одним из первых, если не первым в марксистской критике он дал глубокий социально-эстетический анализ декадентства — его истоков, сущности, классовой природы. Отвлеченный рационализм, ужас перед жизнью, кульп разрушения, отрицание света, разума в пользу смерти, тьмы и безумия — вся эта «вакханалия пошлости», по Воровскому, — мнимое новаторство, мнимая революционность. «Нет, господа модернисты, ваша новейшая литература — дополненный плод буржуазного общества, его гнилой плод, порожденный им и нужный ему для самоуспакливания».

«Неясный интеллигентский революционизм, неопределенная интеллигентская идеология могли существовать, пока им не приходилось соприкасаться с классовыми интересами», — писал Воровский. Теперь же, в пору революционных бит, история заставляет делать выбор. Одни из них — стать добродорядочным буржуа, действовать в соответствии с циничным поэзунгом: «Анафема принципам буржуазного общества, и да здравствует мещанско благополучие в личной жизни!» Другой, подлинный выход — рассстаться с надклассовыми иллюзиями, решительно шагнуть в ряды тех, кому принадлежит будущее.

Там — расчет с прошлым. Здесь — мост в будущее, предугадывание новаторских особенностей грядущей социалистической литературы. И в любой статье, чему бы она ни была посвящена, то «во имя», которое делает литературную критику высокой публицистикой, придает ей широкое общественное звучание.

...Не годы — десятилетия отделяют нас от времени, когда была написана последняя строка книги, упоминавшихся в этом обзоре. Но они врываются в наши сегодняшние раздумья и споры, заставляют оценивать свой труд, труд критика, особой мерой требовательности, помогают выверять наше теоретическое оружие. По существу своему, по методологии, содержанию пафосу, а не только по времени издания это книги и семидесятых годов ХХ века, книги-современники.



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ



Рисунки
К. БОРИСОВА.

В РЕЛЬСУ!

Читатели «Юности» знают, что наш журнал не раз обращался к вопросам образования. Из последних выступлений сошелся на вызвавшую

большой читательский отклик дискуссию о методах воспитания и письмо Героя Социалистического Труда В. Сухомлинского в № 4 за этот год. В новой же рубрике, которую мы сегодня открываем статьей поэта

П. Антокольского, мы хотим систематически вести разговор о преподавании литературы в школе. Нам кажется, что внимание общественности к гуманитарному образованию сейчас

повысено.

Темпераментная статья П. Антокольского может послужить хорошим началом для всестороннего и объективного обсуждения положения дел с преподаванием родного языка и литературы в школе.

Детство и отрочество нового поколения всегда были и навсегда останутся насыщенной заботой и тревогой взрослых. Взрослые ответственны за свою смену. Люди убеждены, что идущие за ними будут вознаграждены за неудачи, беды, ошибки отцов и примут как законное наследие все, что отцам посчастливилось совершить доброго в течение жизни. К этим тревогам и надеждам возвращается каждое поколение.

Детство и отрочество решаютным образом скзываются на всей дальнейшей дороге и деятельности человека. Они формируются и в средней школе. Вот отчего интерес писателя к тому, как в средней школе поставлено обучение родному языку и литературе, естествен и неизбежен. Как знакомится сегодняшний подросток с родной литературой? Насколько питательна духовная пища, поглощаемая учениками в часы уроков языка и литературы? Раскрыто ли подростку богатство нашей культуры?

Эти вопросы не случаины. Они вызваны серьезными причинами. Задача, стоящая перед учителем русского языка, сложна сама по себе. К тому же о ней существуют различные суждения, диаметрально противоположные одно другому. В наше время встречаются взгляды, далекие от внимания к гуманитарным дисциплинам. Не однажды приходилось сталкиваться с пренебрежением, с отрицанием сложности вопроса, а то и с обывательским равнодушием.

В таких случаях тревога словесника превращалась в печаль, а печаль в протест.

Вот что я прошел лет восемь назад в письме моего друга, старого, заслуженного учителя ленинградской средней школы:

«О русском языке в школе. Важно это, очень важно! Но еще важнее положение литературы! В старой десятилетке (хороший нормальный тип учебного заведения) в восьмом классе было пять часов в неделю, в девятом, десятом классах — по четыре, итого тридцать. А теперь... Беззастенчиво обворована наша литература, и классическая и советская... Настоичны и упорно выхолащивают живую душу литературы. И тут, в предмете идеологическим и эстетическим, вреднейшее экспериментирование. А раз так мизерно количество часов на литературу, то на

русский язык и вовсе не остается времени. До занятий русским языком, естественно, руки не доходят. Часов нет. Это беда».

Так пишет учитель, опытный, талантливый, каждый год поставляющий нашему обществу хороших словесников. Первенство в течение многих лет принадлежит этой школе, как раз в отношении учеников моего друга. Стала быть, он умудряется преодолевать рамки считанных часов и суженной программы! А что же делает другим учителям, менее опытным, а то и совсем неопытным, только что окончившим пединститут или филологический факультет? Прежде всего что делать юношам и девушкам, начинаящим среднее образование со скучным багажом русского языка и русской литературы? Постарайтесь представить себе реально этот багаж!.. Правда, с той поры, когда было написано письмо учителя, во многом положение улучшило.

Задумаемся всерьез о значении родного языка.

Думаю, что наш язык, что ни год, скучает и тощает в штампах общих мест, заменяющих мысль. Он искается уродством бытового просторечия, жаргоном обывательским и рыночным. Когда читается в торговой рекламе «ущепленные товары» или «захоронение» (не о находке археолога, а о сегодняшнем событии), когда магазин сувениров предлагает «памятные подарки», когда оратор предупреждает, что коснется предмета «крателько», а любезный муж обращается к жене с «приветиком», когда входит все чаще в обиход безличное (потому безответственное) «думается» вместо «думаю» или глагол «переживает» без указания, что именно переживает человек, когда употребляют «откровение» вместо «откровенность», — то каждое из этих нарушений правильной речи само по себе не внушиает особой тревоги. Но в совокупности все они сути показатели не только невнимания или равнодушия к языку, но и невежества. Особенно в силу того, что эти искаания распространяются стремительно. Своего рода массовый гипноз.

Стоят вспомнить о всяком роде «приболек», «припоздаю», даже «пристрипа», проникших в прозу, по недоразумению считающуюся художественной. В том же печальном ряду выстраиваются «слабняки», «чокнутые», которые где-то «натерпелись страшки» и многие другие прихоти поэтов, беллетристов, драматургов, переводчиков.

Иное дело, когда писатель сознательно, для характеристики той или иной социальной или возрастной группы нашего общества, воспроизводит жаргон, блатной язык. Это — решение художника слова, его отношение к изображеному средствами языка, это тоже действующих лиц.

В том, как извращается русский язык, в конечном счете виновата система обучения русскому языку. До той поры, пока русский язык преподается неудовлетворительно, пока учитель стоном стоит об отсутствии часов на важнейший предмет в образовании подростка; пока ученики не чувствуют радости на этих уроках; пока грамматика и синтаксис кажутся им скучной нагрузкой; пока школьники не знают истории русского языка, его сложившихся веками формообразований, то есть морфологии языка; пока, наконец, организации, руководящие средней школой, не примут срочных мер для того, чтобы избавить растущее поколение от невежества в родном языке, — до той поры, говорю я, существование уродств и в повседневной речи и в печати будет неизбежно возрастать количественно и качественно.

Меры должны быть применены те же самые, которые уже давно применены по отношению к точным наукам, ко всему естествознанию. Советскому обществу нужны физики, инженеры, врачи, летчики-космонавты, верно! Но не менее нужно нашему обществу,

чтобы и представители этих высоких профессий, и народные учителя, и все ныне растущее поколение были не только грамотными, но и высокограмотными.

Нужно достаточное количество учебных часов для обучения родному языку, для серьезного пропинкования в историю нашей поэзии, прозы, драматургии! Широта школьной программы по знакомству с величими сокровищами нашей классики девятнадцатого века! Хороший учитель отвечает и за знания учеников и за их душу. Это и есть та служба русского языка, о которой так вдохновенно и умно говорил Корней Иванович Чуковский.

Подрастающее поколение не виновато в том, что «ущепленный русский язык приболеет в кратеньких приветиках».

Две задачи, стоящие перед средней школой, тесно связаны одна с другой: образование и воспитание. Говорить о них в отдельности неправомерно.

В наши вузы приходят молодые люди, в основном уже сложившиеся — взрослые, во всяком случае, выбравшие для себя дорогу, будущую специальность, профессию. Их нравственный облик в той или иной степени сформирован в средней школе, в семье и всей окружающей среде. Но школа призвана к этому в первую очередь. Годы, проведенные нашей молодежью в высших учебных заведениях, будут по настоящему плодотворными, если школа способствовала нравственному, гражданско-политическому здоровью драгоценных для советского общества кадров. Воспитание предшествует образованию. Это грунт, взрыхленная почва, куда ложатся семена любой науки: от таблицы умножения до квантовой физики, от первоначальной грамоты до вершин и глубин философского мышления. Так происходит развитие каждой личности. Так оно будет происходить и в те времена, когда нас уже не будет, а следом и тех, что придут нам на смену.

Итак, две задачи, тесно между собою переплетенные, — образование и воспитание. Вся практика уроков не только родного языка, но и «точной» дисциплины, например, физики, убеждает в том, что образование без воспитания обойтись не может.

Но вот что при этом в иной момент школьного периода представляется мне странным.

На одной конференции учителей в Академии педагогических наук было прочитано, как образцовый пример, сочинение десятиклассницы. Очевидно, это девушка честная, с серьезными требованиями к себе самой. В сочинении она перечисляет нравственные уроки, извлеченные ею из «Войны и мира»: и истоки





красоты, и природа подвига, и отношения между влюбленными. Вспомнилось, что учитель целих полгода в десятом классе посвятил «Войне и миру». Правильно ли это? Нет ли здесь разбазаривания капитала, бывшего в распоряжении учителя? Я имею в виду не метод, но исключительно время. Ведь сочинение, о коем только что сказано, было итоговым, а свидетельствует оно исключительно о воспитательном значении великого произведения. А сам роман гениального писателя? А его эпоха и эпоха 1812 года? Может быть, в этом случае воспитание заглушило образование? В этом ненормальность, характерная как раз в изучении произведений русской классики.

Следует ради суровых уроков прошлого наставлять на образование, как на основе системы обучения в средней школе. Наша школа общеобразовательная. Ее учителям поручено — в первую очередь — образовать вступающих в юности, стоящих у порога юности, тех, кто получает атtestат зрелости!

Чему же надо учить в средней школе гражданина, будущего Лобачевского, будущего Моцарта? Дисциплине в познании мира. Вот отчего учитель физики поступит разумно, если начнет курс с обзора развития своей науки. Бековая дорога поисков, провалов, увлечений, открытий, от наблюдения античного следопытства природы, от Гераклита, через Ньютона, Лейбница, через молекулярную теорию, через теплород начало прошлого века, через Даавина, Менделеева, Павлова, Энштейна — в то будущее, которое предстоит сегодняшнему ребенку! Вот метод, который представляет себя лучшим для средней школы.

Преподавание литературы, хотя бы только русской, есть вторая часть работы учителя-словесника. Первая часть — сам русский язык. Не свод grammatickikh правил, не диктант, за который можно поставить пятерку с плюсом, — это дело нехитрое, хотя и важное. Необходимо живо, подробно, увлекательно рассказать о том, как на протяжении двух тысячелетий развивался русский язык. Иначе не объяснишь, отчего, например, в русском прошедшем времени глагола нет спряжения, зато происходит изменение по родам: был, была, было. История развития языка учит и грамматику и синтаксису. Зная историю, легче и быстрее овладеешь этими последними.

Далее! Очень важная вещь в средней школе — эстетическое воспитание, но еще важнее практические навыки в сфере любого искусства, поощрение всех попыток самостоятельного творчества, в прозаического поэтического — почему бы нет, спрашивается!

Само преподавание родной литературы есть в основном преподавание истории литературы, связное, конкретное, по мере возможности яркое. Панорама развития русского поэтического слова, от «Слова о полку Игореве» вплоть до советских поэтов и прозаиков — панорама движущаяся («спирала») — во что бы то ни стало должна быть усвоена, пережита школьником. Надо ему показать, что Пушкин не на пустом месте явился, что не только Жуковский и Батюшков, но и автор «Слова о полку Игореве» был его учителем. Что Пушкин, так же как его Онегин, есть «наследник всех своих родных», не только кровных, но и духовных. Вот в чем действенность истории литературы в средней школе. Лев Толстой твердо знал, что не будь лермонтовского «Валерика», не было бы и его «Севастопольских рассказов». Но разве Маяковский был только новатором, разрушавшим старые нормы русского стихосложения, разве он не был очень дисциплинирован в почитании великого Чехова?

Если обратиться к первоисточникам детского развития, то вспомним, что воображение ребенка требует топлива для себя. Дети друг друга учат игре в «казаков и разбойников», в Чапаева и другим играм. И вот они приходят в школу. Как она помогает в том же деле своим питомцам?

Можно научить любого ребенка всему на свете, и для этого существует один только путь: собственное увлечение и данным предметом и самим ребенком. На школьном учителе лежит немалая, порою и невыносимая тяжесть, но зато у него и крылья. Быть увлеченным и суметь увлечь малых сих есть феномен искусства, мастерства, ремесла учителя. Вот школьный класс. Это первая встреча Его с Ними. Разные дети за партами. Среди них могут оказаться и турицы, и фискалы, и уж такие шалуны и балованные отпрыски, что не дай бог, но вдруг найдется хотя бы один будущий Есенин, будущий Шостакович — кто поручится сегодня, что «стаковых не имеется в данном классе»? При этом первый урок, первый час учителя-искусника, только что окончившего пединститут, решает многое, он начало всей учительской жизни судьбы.

Как же скажется практика эстетического воспитания на уроках учителя родного языка? Над этим стоит призадуматься. В результате невнимания к этой практике она захирела до обморочного состояния и у детей и у самих учителей. На уроках родного языка практика эстетического воспитания — особенно в средних классах — должна отразиться на классных сочинениях, но в первую очередь на внеклассовых. Ни гладенькое чистописание, ни цитаты из Белинского и Добролюбова, ни присвоение себе чужих мыслей, ни заученные наизусть фразы из учебника не могут служить весомыми критериями в оценке школьных сочинений.

Какова бы ни была тема заданного сочинения, школьнику надо сказать до его приступа к работе, что он призван к самостоятельному решению темы, к живой и оригинальной мысли. Каждый признак такой самостоятельности следует поощрять. Если учитель не согласен с учеником, пускай сам и перебеждает, это его право, если не долг. Но ставить двойку за несогласие с учителем в высшей степени вредное дело! А такие случаи не так уж редки. Отнимая у детей способность и желание мыслить самостоятельно, способствуя выращиванию невежд, покровительствуя им заранее.

Что касается тем для сочинений по русской литературе, то они гораздо многочисленнее и разнообразнее, чем обычно представляют себе. Прежде всего надо дать свободу учителю в выборе тем и в нахож-

дении новых. Мало используется сопоставление произведений русской классики с картинами русских художников, со скulptурой. Вместо избитых тем — гуманист «Шинель», образ Тараса Бульбы, как патриота — вполне уместно пристроить в класс рецензии прекрасных картин Федотова или «Запорожцев» Репина. Басенцов, Брульев, Серов, Суриков, Перов — какой великолепный дополнительный материал к былинам, Лермонтову, Некрасову! Эти цветные рецензии сравнительно хорошо выполнены и в больших городах легкодоступны. А если недоступны, если их нет на прилавках книжных магазинов, надо бить тревогу каждой осенью! Надо, чтобы к началу учебного года, еще в августе, они были предоставлены всем средним школам Союза — от Бреста до Владивостока, от Архангельска до Сочи. То же самое до зarezу необходимо по отношению к сочинениям Пушкина, Толстого, Горького, всех писателей, обязательных в программах средней школы. Каждый тираж таких изданий должен быть миллионным. Необходимо, чтобы и хрестоматии были не однотипными по содержанию. Здесь тоже нетерпима унификация.

Возвращаясь к истории русской литературы.

Когда Тургенев сочинял родословную Аврецкого в «Дворянском гнезде», эта родословная была одним из лучших созданий русской прозы прошлого века. А вспомним знаменитую статью Ключевского о предках Онегина. Писатель-романист превращался в прекрасного историка, а лучший из русских историков взял на себя роль романиста. Все здесь в одном ключе. Этот ключ — первоисточник!

Если школьникам предстоит изучение «Слова о полку Игореве», то спрашивается: неизбежно ли чтение одного перевода на современный русский? Отчего изучение, хотя бы элементарное, старавленского языка, противопоказано средней школе? Снова речь о первоисточнике!

Знание старославянского языка — дело не столь уж сложное и громоздкое, как обычно представляют себе. И если в дореволюционной русской гимназии оно было обставлено великолепно, то совершенно не затем, чтобы подготовить будущих священников и протоиереев — на них случай были иные школы. Может быть, на всем жизненном пути сегодняшним юношам такое знание не пригодится, но сколько еще другого успеют забыть они по окончании школы, — пускай забудут и арист древнего спряжения и значение резаны и ногаты в том же Слове!..

Ведя культуру не только широкий горизонт, но и глубинные недра, подземный грунт, в отношении родного языка — именно так. Глубина познания тоже расширяет горизонт каждого деятеля на любом поприще. Одной широты, обширности знания недостаточно.

Отчего ли должно быть утверждено: коммунистический человек есть человек, развитый всесторонне, гармонически. О его развитии следует заботиться, а то и превозжиться!

Давно сказано: язык есть материя мысли. Кто глубже, богаче, правильнее говорит на родном языке, тот и мыслит соответственно изощреннее и острее. Если у обезьяны чуть больше сотни знаков общения друг с другом, заменяющих им язык, то у человека в запасе таких знаков, то есть слов, — сотни и сотни тысяч, а если слова причислить суффиксы флексии, склонения существительных по падежам и спряжения глаголов, то приведенное шестизначное число надо возвести в квадрат, а то и в куб. Ребенок с той минуты, как залепетал членораздельно, в неимоверно краткий срок, в течение полутора начинает строить предложения — с таким великолепием совершенством, которое хорошо знал К. И. Чуковский [«От двух до пя-

ти» — одно из примечательных созданий русской прозы]. Разумеется, ребенок семи лет, первоклассник — уже другое существо, нежели тот пятилеток, о котором писал Чуковский. Он связан и ограничен мощным инстинктом подражания взрослым, многое в нем отполыхало, притихло. Но если школа дает ему возможность самостоятельно прикоснуться к искусству слова, если она поощрит его первые же попытки творить в родном языке — да, да, хотя бы стихи сочинять! — это будет первым подарком нашей школы коммунистическому обществу будущего. Любое творчество в любом искусстве свойственно детям. Это уже много раз продемонстрировано на выставках детских рисунков во всем мире. За последние десять лет такие выставки сделались своего рода модой. Против такой моды ничего не возразишь! Она свидетельствует о том, что в зрелые наутились учиться у детей. Признак знаменательный!

И в этой связи мне хочется пропеть дифирамбу учителю русского языка в средней школе. Я думаю, это центральная фигура в школе, ее герой, авангардный боев в деле образования и воспитания. Но учителю русского языка не только свидетель, зритель, радующийся тому, что наблюдает.

От него многое зависит. От его примера, от его пристальности, такта и, наконец, от собственного увлечения. Нет увлечения — никто и ничто не поможет ему. Ни учебник, ни методист, ни вся Академия педагогических наук в полном своем составе, ни министерство просвещения.

...Первый день новичка-учителя русского языка в средней школе. Первое сентября 19... такого-то года. Восемь тридцать утра. Он вошел в класс, и два-три десятка подростков, как положено, дружно встали. Он знает цену такому, заранее заготовленному признанию, но весело улыбается, а может, и смущен.

Если при этом он испытывает священный восторг, скажем, такой, как Монахов, играющий Гамлета, если он смело ринется в бой и его горящие глаза встречаются с двумя или тремя парами горящих глаз, если он разу в течение сорока пяти минут не посмотрит на свои рунические часы, если, — говорю я, — речь его будет чистейшей импровизацией, подсказанный воспоминанием о собственном, не так уж далеком отчестве, — тогда дело его жизни выиграно!

Этим лирическим абзацем статья могла бы и кончиться. Однако у моей темы есть еще один аспект.

Правописание есть коренное достояние народа, равное как правильное произношение в родном языке. Одно связано с другим теснейшим образом.





Правописание отражает и должно отражать живую народную речь. Отсюда следует, что оно не должно отражать речи неправильной. Правописание должно отражать все богатство устной речи, все ее оттенки, пускай они и неуловимы немузикальным ухом. Ошибки правописания могут стереть в слуховой памяти одного поколения тот или другой оттенок живой народной речи. Если орфография искашает правильную, великорусскую речь, значит, она ошибочна.

Когда в 1964 году — увы, за две недели до полуторастолетней годовщины со дня рождения Лермонтова! — в наших газетах был опубликован проект изменения в нынешней русской орфографии, Леонид Леонов правильную отклинулся на этот странный документ призывом «бить в рельсы». Было отчего писателю так возмущаться, недаром его поддержали многие товарищи-собратья.

Запитники проекта замечали, между прочим, что человеку ко всему может привыкнуть. Еще бы нет! «Привыкнуть» можно, была бы в том нужда. Поскольку же речь шла не о чьей-то индивидуальной терпеливости, но о коренном достоянии русского народа, о народном красе и гордости — о русском языке, то способность привыкать не составляет красы и гордости народа.

Может быть, авторы проекта долго обсуждали свой проект, тщательно и добросовестно проделали работу по всем выдвигнутым предположениям. Однако именно они, а не кто иной дали неофициальный материал не только возражавшим, но и юмористам. Особенно знаменательна была статья заместителя председателя орфографической комиссии. Последний невольно сам вскрыл причину неудачи проекта. Он писал: «Письмо убого и невежественно отождествляется с языком». Он диктовал — всем-всем! — «всякие исключения и непоследовательность должны быть устранины...»

Цветущее царство языка и речи не могло подчиниться диктату ученого. Явным образом орфография противопоставлялась языку. По мысли новаторов, она должна приказывать языку: — Смирно! На краул! Кругом арш! Ать-да! — далее соответствие орфографии произношению объявлялось чем-то «плоским». Отсюда можно было понять, как это выбросили на академическом огороде всякого рода «гурди-мурдери». Из гой же чащобы выпрыгнул пресловутый «заец» проекта!

Еще раз: орфография есть гибкий инструмент, хорошо, до блеска отшлифованный советским обществом более пятидесяти лет, миновавших с великой

реформы русского правописания в 1918 году. Это — зеркало живого, разнообразного говора. Такое зеркало не может быть кривым. Недаром со времен существования Малого театра за основу устного произношения на сцене принял говор московский.

Но надо отметить и то, что много после того, как проект орфографических перемен был отвергнут советской общественностью, в нашей орфографии, в новых изданиях русских книг мы с удивлением замечали внезапные новшества. И они казались безбилетными зайчиками, прописавшимися в печать. Непонятно, откуда явился «панцирь» вместо панциря, откуда возникло правило писать раздельно «смаку»...

Здесь не могло быть основанием угрюмбурчеевское «единобразие», о коем хлопотал учений автор 1964 года. Таких новшеств, очевидно, можно ждать и завтра и в будущем году, если торжествует суждение: ко всему можно привыкнуть.

А нет, нельзя!

По долгу службы «привыкают» только русские корректоры и только читатели, читающие страницу «с маxу». При всех условиях эти новые и новейшие изменения в орфографии суть не что иное, как остаточные пережитки того волюнтаризма, который был осуществлен одновременно с проектом восемьдесятней давности.

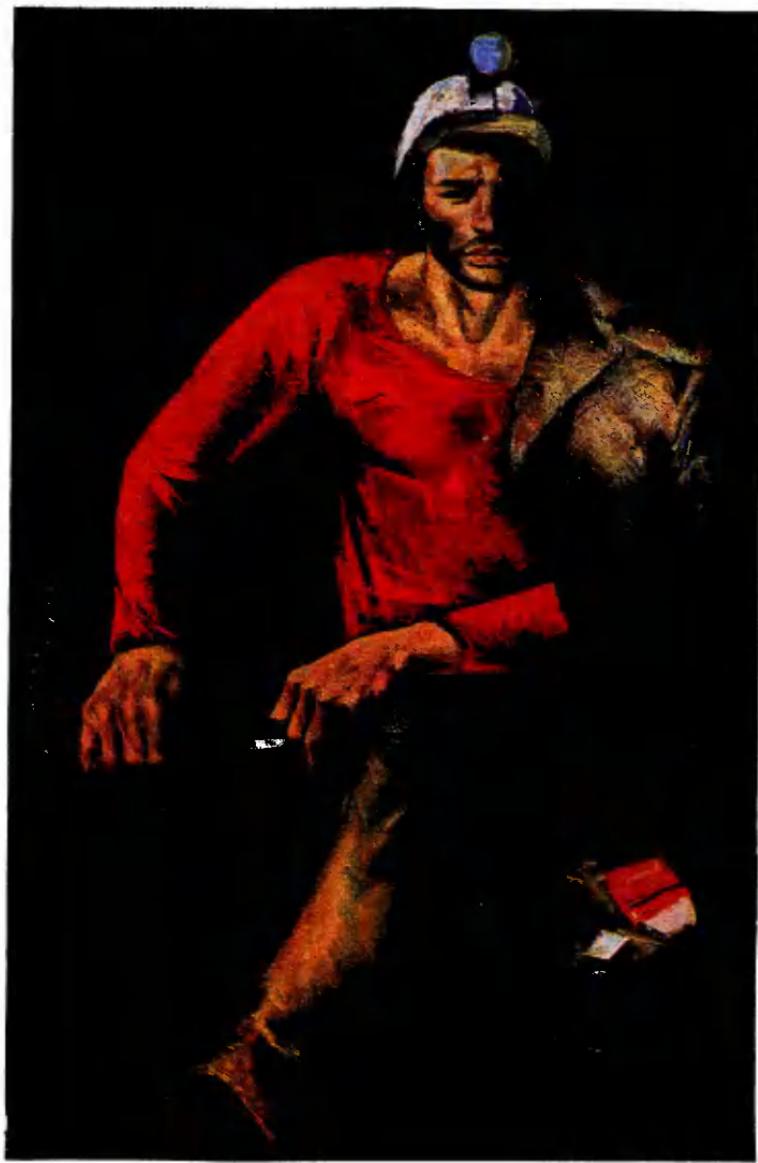
В целом же вопрос орфографии находится в прямой связи с вопросом русской грамоты и ее преподавания в младших классах средней школы. Уже сказано, дети говорят на родном языке отлично. Словарь их так богат и выразителен и так неожидан, что ему позавидуют и взрослые.

Интерес семи-восьмилетних детей к языку повышен. В их памяти свежо первое прикосновение к речи, так недавно овладели они этим орудием общения друг с другом и со своими родителями.

Больше внимания и любви к одаренности младших школьников в языке, к их словотворчеству — вот лучший способ учить их русской грамоте! Необходимо в младших классах исправлять их дикцию. В этом всегда есть нужда. Сколько детей шепелявят, картают, заняты, проглатывают концы слов, страдает скороговоркой...

На повестке дня средней школы (значит, и всей культуры в целом) одним из важных пунктов стоит родной язык. Тут немыслимы и опасны промедления...

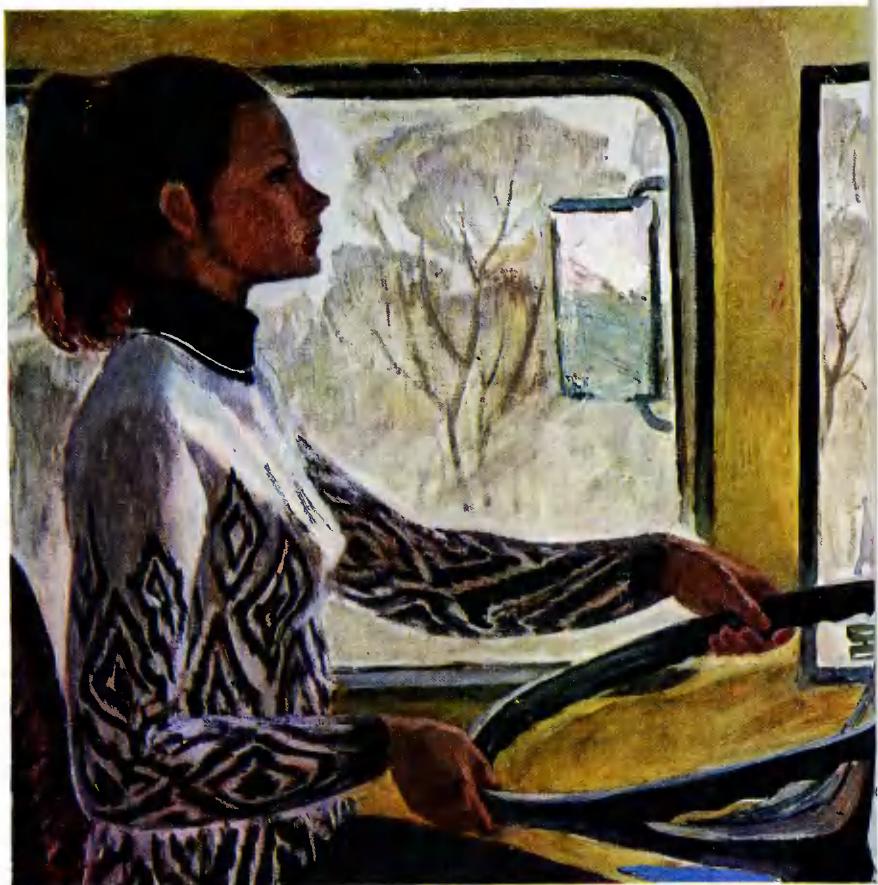




В. ГАЛАВА (Тбилиси).

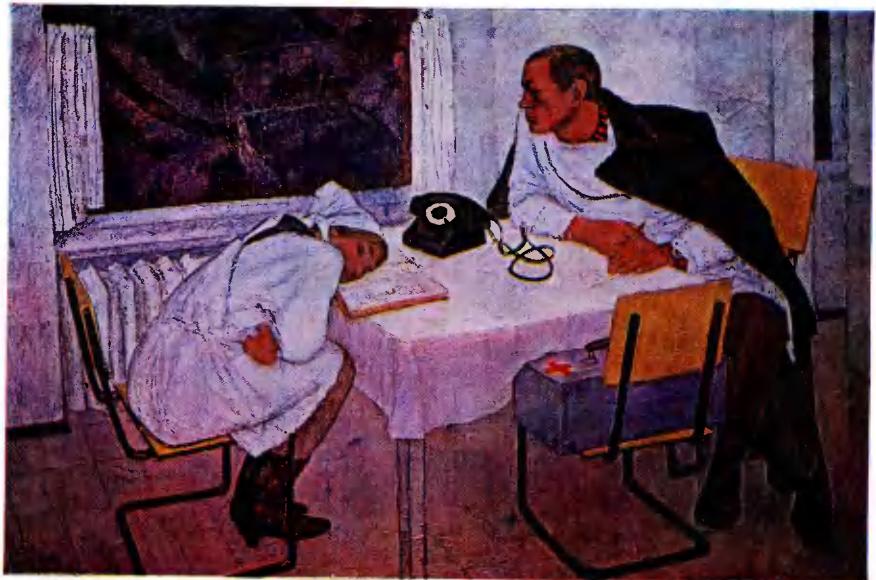
Портрет шахтера.

Из произведений молодых художников,
экспонировавшихся в залах Академии художеств СССР. Лето. 1972.



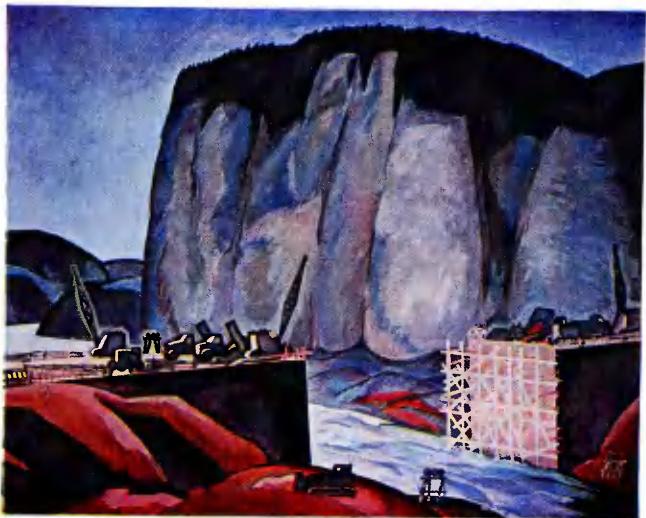
В. РЕПКА (Киев).

Водитель Валя.



М. ВАЙНШТЕЙН
(Киев).

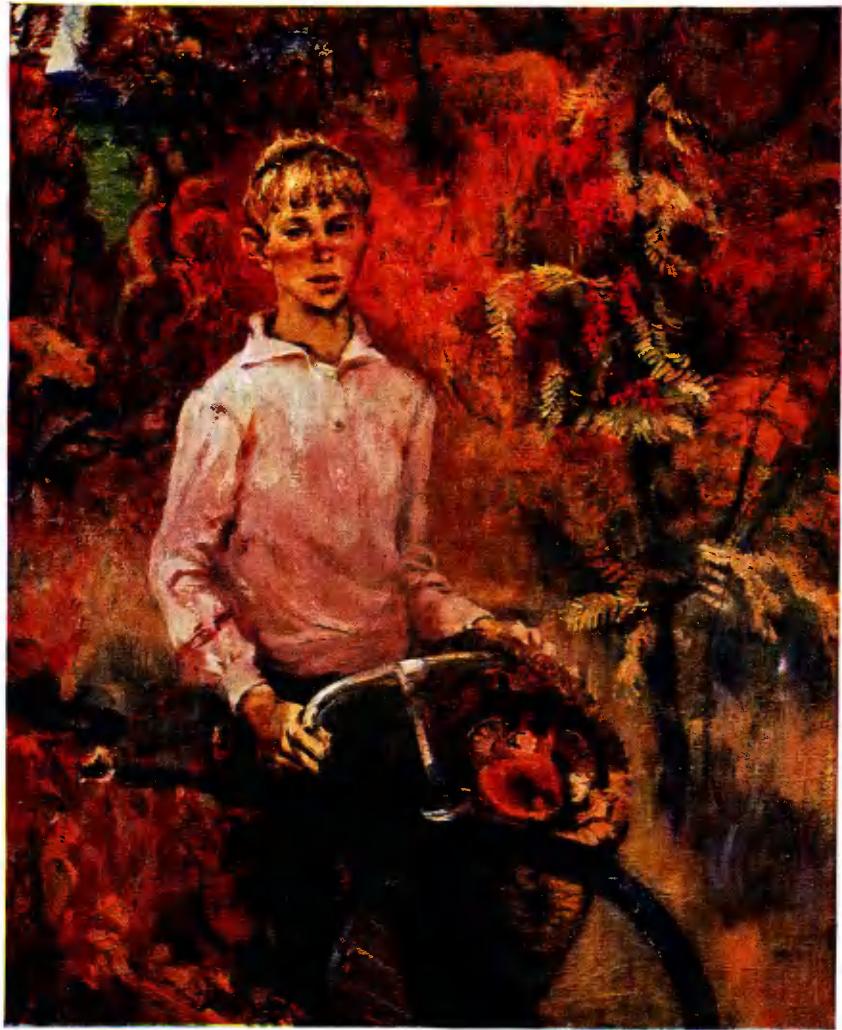
Дежурство.



В. ДРАНИШНИКОВ
(Москва).

Будет мост
через Гаваруху.

Из серии
«Вишера
алмазная».



С. МОЛОДЫХ (Ленинград).

Мальчик с грибами.



ОГОНЬ, пепел, поэзия



На снимке:
Эйжен
Веверис.

С этим высоким худощавым человеком я встретился в Риге в середине 1969 года. В разговоре он не старался навязать собеседнику свои мысли или же, как это часто бывает, не спеша с воспоминаниями. Он молчал. Он слушал. Он очень внимательно слушал, постигая мир своего собеседника. А между тем именно ему-то и надлежало говорить, вспоминать, сопоставлять.

Неторопливость и основательность этого человека мне были по рассказам известны уже до встречи с ним. Народный учитель, он всю жизнь писал стихи. Он показывал их Яну Райнису в 1923 году, Леону Паэле в 1926 году. И тем не менее никогда не публиковал свои стихи и считал их делом личным и не подлежащим огласке.

Сейчас Эйжен Веверис семидесят три. В семидесятилетнем возрасте он впервые издал свою книгу. Путь к этой книге — путь всей жизни. Об этом надо рассказать. Я должен об этом рассказать.

Сын рижского пролетария, Эйжен Веверис в семнадцатилетнем возрасте становится латышским стрелком, участвует в сражениях на Рижских болотах в гражданской войне, во взятии Риги в 1919 году. Был контужен и спасен от белого террора.

На протяжении жизни Эйжен Веверис сменил множество профессий: грузчик, журналист, электромонтер, торфодобывщик, рабочий лесопилки. И, наконец, после окончания педагогического института в 1923 году народный учитель в далеких рыбачьих поселках Латвии. Вплоть до Великой Отечественной войны.

Во время войны Эйжен Веверис предал один из его учеников. Так вошла в жизнь народного учителя трагедия. Он был под расстрелом. По случайности из

здания, где томились смертники, его запнули в общую арестантскую. Природе было угодно, чтобы этот человек, пройдя по всем кругам ада, выжил и свидетельствовал.

Путь Эйжена Вевериса шел к Маутхаузену. Но до этого надо было пройти Саласпилс и Штутгоф. Названия, достаточно выразительно звучащие для тех, кто знает, что там творилось.

Сколько рвущихся на волю сердец, сколько несбыточных надежд, сколько попыток сбежать с этой невыразимою слове катарти!

Существует обширная литература о фашистских лагерях смерти. Среди этих книг немало воспоминаний, острых, взывающих к нашей памяти и к нашей совести. Но в возможностях поэзии подчас заключено больше, чем в простом повествовании о том, как все «это было». В поэзии мало простой информации. Она передает *переживания*, дает возможность почувствовать духовный мир человека в тот момент, когда все это происходило. В стихах Эйжена Вевериса есть подлинность переживаний, которые остались в нем как личный опыт и как наследие тех, кто ушел в небытие с дымом лагерных печей, кто не вышел из газовых камер и душегубок.

Лагерники в стихах Эйжена Вевериса, хотя одеты в одинаковые арестантские одеяния — лохмотья, не одно лицо. Разные люди, разные характеры. Здесь происходит борьба страстей, мнений, чувств.

В нечеловеческих условиях фашистских лагерей Эйжен Веверис находит истинных борцов. Не жертвы, а именно борцов. Гуманистов в прямом значении этого слова. Поэт показывает руки фашистов в крови, руки, держащие автомат у ворот больничного блока, руки холенных убийц. И руки спасения, руки доктора-бойца.

В тяжелых руках
Автомат
У ворот больничного блока.

Белые руки холенных убийц
Проводят эксперимент над нами,
Записывают и списывают людей.

Вчера еще эти руки
Впрыснули
В вены героя Бреста
Бензин.

А у нашего врача,
Кleinmennego, как все мы,
Ни лекарств,
Ни бинтов,
Ничего.

У него только добрые руки спасенья.
И мы живы
Даже в омуте безнадежности,
Прозванном нами мертвейкой.

И выживем,
Ибо если на земле эти руки...

В книге Эйженка Вевериса много примет быта, подробности, которые складываются в страшную по своей сути картину, именуемую «обыкновенный физионом». Вот миниатюра, как бы стихотворение в прозе «Картофельная шелуха»:

Я богат, словно Крез, как Ронгфеллер,
Почти так же богат, как оберкарпо, —
У меня есть целая сигарета.

Я могу выйти на черный рынок за блоком,
Где можно выменять сигарету на все
Что угодно:
Судочек супа, кусочек хлеба, грамм маргарина,
Там снуют организаторы и те,
Кто за единственную сигарету
Однажды единственный жизнью.
В тот день улыбнулось мне счастье.
Свою сигарету я выменял
На миску прекрасной картофельной шелухи.
Шелуха в блок, прижал к груди свое богатство,
Вздох я юноши терпким ароматом.
И несколько кручинко шелухи я уронил.
Их подхватили и съели
Долговязый профессор из Будапешта.

Продолжением и дополнением этой картины может служить стихотворение «Сигаретка». Оно достоверно и, казалось бы, лишено пафоса и окрыленности, свойственных поэзии.

У меня нашит над сердцем
Красный треугольник
С буквой Л
Чех скомкал буквы пальцем:
— Ладаны,
— Латыши,
— Рига?
— Рига,
— О, Рига! —
И чех мне дарит
Сигарету.
Рига, Рига, Рига!
Благословляю землю твой,
Здесь, в черных тонах смерти!

Последние строки здесь о Риге, о том, как ее луч благословляет человек, находящийся «в черных тонах смерти». Эти стихи выводят и это стихотворение и другие образы книги на новую орбиту, они переходят от быта к бытию, от подробностей жизни к самой сути ее, к судьбе человека и человечества. А именно этим пафосом и жива вся книга Эйженка Вевериса «Сажайте розы в проклятую землю».

Поэт изнутри, очень лирически и предельно скжато показывает, как обременены на смерть люди жаждали жизни, как боролись за нее и как погибли в этой борьбе. Эйжен Веверис показывает великих рядовых этой борьбы. Вместе с тем он напоминает всем из-



Рисунок
А. Станкевича
к книге
стихов
Э. Вевериса.

вестные славные имена людей, прошедших ад фашистских лагерей: на страницах книги показан генерал Карбышев и полковник Маневич, оба — Герои Советского Союза. Они — узники Маутхаузена — руководили Сопротивлением, одним из участников которого был и Веверис.

Лишь несколько десятков узников-латышей вместе с ним дожили до дня падения Маутхаузена — 5 мая 1945 года. Тогда, человек высокого роста, Эйжен Веверис весил сорок шесть килограммов.

С тех пор прошло более четверти века.

Бывший узник Маутхаузена не спеша с воспоминаниями. Они отлежались в глубинах сердца, они стали поззией. Старый народный учитель, писавший всю жизнь стихи, стал поэтом. Еще один пример того, как становятся поэтами не потому, что пишут стихи. Это делают многие. Но только сильное переживание находит в слове сильное вдохновение. Так происходит трудная добавка грамма поэтического ради.

Сама жизнь в кристаллах образов сверкает перед нами. Слово, помимо информации, помимо своего прямого значения, отсвечивает десятками и сотнями граней. Это есть поэтическое восприятие мира.

- Что ты смотришь там на колечку, Джулио?
- На нее избавление.
- Ты ждешь спасения.
- Смерть — наша добрая мать.
- Жизнь — наша добрая мать, Джулио.
- Ты видишь
Цветы на альпийских лугах!
- Я вижу лишь выжженную землю Маутхаузена.
- Ветер несет нам с воли
Тонкие запахи хвоя.
- Мне ветер приносит лишь пепел
Из погребения.
- Слышишь,
- Над нами жаворонок поет,

Гремит водопад.
Ты чувствуешь вкус его?
Я — лишь топот СС
И как строчит автомат.
Джудион!
Оборпинь на меня.
Я еще в силах стою.
Мы еще выйдем на свет!
— Сегодня?
— Не.
— Может, завтра?
— Нет.
— Когда?
Ночью он бросился
На колючку.
На том высокого напряжения.

Судите меня, товариши!
И Джудион не удержал.

Эпизод рассказан очевидцем. Но очевидец — поэт. И это объясняет, почему из столба лагерной хроники стихотворение перенесено в план морально-психологический. Более того — в социальный, в гражданский, хотя нигде Эйжен Веверис не прибегает к звонким трубам риторики и дидактики. Ему это не нужно. Поззия действует убедительной воскликательных знаков.

Книгу надо читать целиком. Здесь я знакомлю слушателей с избранными ее страницами. Сказать о стихах Эйжена Вевериса, что они хороши или даже прекрасны, значит мало сказать, ничего не сказать. Сугубо литературные определения здесь недостаточны. Эти стихи меня потрясли. В этих воспоминаниях стихах говорит не только Эйжен Веверис. Говорят погибшие. Словно они завещали ему свои голоса. Завещали свои думы и чаяния. «Доживи, рассказки за нас до сеяй!»

Без укарашающих эпитетов, без желания навсечь ужас и страхи поэт говорит с людьми. Он говорит на своем родном, латышском языке.

На русский язык стихи Эйжена Вевериса перевел поэт Григорий Горский. Книга «Сажайте розы в проклятую землю!» вышла в оформлении художника А. Станкевича по латышским и по-русским. Проникнувшись образами оригинала, высоко оценив антифашистскую суть книги латышского поэта, его собрат, русский поэт, заботливо и взволнованно воспроизвел ее в стихии русской речи.

Книга «Сажайте розы в проклятую землю!» дает почувствовать, что ее написал латыш-антифашист, человек, воспитанный латышской поэзией, ее драмой, ее классикой. В книге есть стихотворение, которое называется «Народные дайны»:

Лампопиня еле мерцає в баранке,
Мгда поглотила алпинские вышни,
В блоке большином немецким товарищам
Пишут народные песни латышские.

Стонят на миг оторваться от строчек,—
Темень и смерть вновь глаза мои линут,
Шел я недолго леском серебристым,
Скрипят мои нары, тверды, как булыжник.

Рыбы глазница опасности смотрят
В оши, и гибелью пахнет отчаяние.
В омут страданий летят, словно листья,
Древние песни — латышские дайны.

В книге, начисто лишенной литературщины и цитатности, есть очень важное для понимания образов Эйжена Вевериса стихотворение «Райнис в ночи». Оно органически входит в книгу и является одной из красок на большом полотне.

Так редконо светятся звезды
Ид сквозь туманы Дунай!
Райнис спрятано из Думы!
Райнис строки читают.
Устало бредем мы из шахты,
И жизнь в нас закоченела,
И смерть с наами рядомступает,
И чука и тьма без предела.

Бредем... Так на «Острове мертвых»
У Беневина мука плачала.
Вдруг Тесино запел итальянец,
Что пел он когда-то в Ля Скала.

И звезды искрятся над нами,
Мигают ночному Дунаю,
И я партизану из Ними
Райниса строки читаю.

Сердцем и мыслью возвращаясь к Латвии, поэт вместе с тем выступает как интернационалист. Фашизм показан в книге как враг не только латышского и русского народов, но и всех народов земли, в том числе и немецкого.

Мне посчастливилось прочитать перевод книги Эйжена Вевериса еще на рукописи. Как мне хочется, чтобы образы этой книги вошли в каждый дом, в каждое сердце! Жесткие и жестокие слова имеют добрую подоплеку. Борец против фашизма требует мужества от себя и от других.

В стихотворении, посвященном Эйжену Веверису, латышская поэтесса Мирда Кемпе говорит:

Не умею я клясться,
Только жизнь моя — клятва!

Смогу ли когда
Испукнуть я все то, что вынесли люди,
И обнять всех людей, и правду обнять,
Что во веках наизнанку не будет?
Тем, кто может подняться выше смертей,
Послужу я строкой и делами своими.

(Перевод Л. Романенко)

Эйжен Веверис написал новую книгу стихов, «Человек идет за солнцем», продолжающую и развивающую образы первой его книги. В стихотворении «Боль кричит» сказано:

Боль людек — наша боль,
И поэтому мы в силах
Ее утолить.

Это голос сострадания и мужества: одно без другого жить не может. Оба имеют один исток — человечность.

Есть плата за унас
И плата за мужество.
Плата за радость
И плата за горе.
За все, за все платим;
Чистым полотном сердца...

И далее — в концовке этого стихотворения:

А то,
За что дорого платишь,
И отданы никому
И вовеки.

(Перевод Г. Горский)

Огонь все превращает в пепел. Только не дух, только не душевые клады человека. Поззия — запечатленный образ этого духа, этих душевых кладов. Она способна возвращать жизнь тех, кто был насыщенно лишен жизни. Поззия Эйжена Вевериса убеждает в этом.

Сожженые, испепеленные, загубленные люди, казалось бы, стертые с лица земли, чудоизвестно возвращаются через поэзию к жизни. Через сердце поэта к сердцам живущих. Если погибшие доверили поэту свои думы и переживания, они имели на это право. И добавлю от себя — они не ошиблись.

Слова этой книги прожигают бумагу, на которой начертаны.

Поззия, рожденная огнем, сама же и дает огонь.

Лев ОЗЕРОВ



ИЛЬЯ ВЕРГАСОВ
КРИМСКИЕ ТЕТРАДИ



...И Россия —
матер родная —
Почесть всем отдаст
сполна.

Прекрасным, глубоко чувственным качеством «Крымских тетрадей» является то, что сам автор занимает в них исключительно скромную позицию, хотя читатель легко поймет: он Илья Вергасов, автор из последних в ряду изображаемых героев! Но главное свое внимание он отдает другим, и до чего же сильное впечатление производят эти скромные и лаконичные, без музыкальных балладистических украшений рассказы Томенко, Якунина, Терлецкого, Позднякова, летчика Филиппа Зинченко, деда Кравченко... Стыдливых и прискорбных людей.

В книге немало страниц, потрясающих своим сдержанным драматизмом. Быть может, в особенности это стоит сказать об истории австралийского самодела, пропавшего в расстоянии паризан, попытавшего подвига Филиппа Филипповича. Война здесь показана там, тяжелой работой, какой она была для действительности. Автор не делает никакого анкета на ее ужасах, но правдиво передает ощущение невероятного, ежедневного напряжения, огромных усилий, которые, однако, не всегда сразу ощущаются.

Мы спрашивали забытых о воспитании патриотизма, но во имя этого порою горячая поддерживаем произведениями, где эта благороднейшая словесность провозглашается или даже, увы, решается спектакльно, когда, поironическому выражению поэта, герой «с удачей постоянной» русской любви деревенской воском, фризесом уложил». Книга же Ильи Вергасова в самом деле произвела супоровой и драматической поэзии воинского подвига, поэзии патриотизма.

А. ТУРКОВ

ПОЭТ
ЧУКОТКИ

Я Получила книгу «Вельботы уходят в море», выпущенную в Магадане. Автор ее является молодой чукотский поэт Михаил Вальгиргин. На титульном листе помещена фотография тихий, спокойный сын Чукотки, потомственный зверобой Вальгиргина, который, как написано в предисловии, «ро-

дился и вырос в небольшом чукотском селении на южном берегу залива Креста. Село называется Уэлькань, что по-русски означает «чумничий человек». Вергиргин — всечего честность нита.

Перелистывая страницы поэтического сборника, я вспоминаю многих людей, жизни которых неотделима от истории Чукотки. Вспоминаю я слушая его лекции и читая его произведения о старой, деревопионной Чукотке. Федор Тынэтгыл — первый чукотский поэт воиненных лет. Я вспоминаю, как художник Вунаков привез из Иллуктуна книжку «Сказки чаучу». А вот и первая конференция литераторов Севера в 1961 г. под Ленинградом. Здесь мы слушали стихотворения Антонина и Виктора Сынчевцева и Семенами-чукчами, привезшими учиться в город Ленина, я встречалась почти ежедневно. Каждый раз что-то новое о чукчах и родной Чукотке я узнаю из захрустанных бед с Юрием Рыбаку.

А теперь, дорогой мой читатель, пришла очередь очень кратко рассказать о книжке Михаила Вальгиргина, мужественного и отважного охотника, попавшего в хищническое оружие пленников, вспомнив после того, как он обморозил ноги в забуряженной тундре.

Все настоящее Чукотки связано с именем великого Ленина. Если бы не было бы и стихотворений Вальгиргина, как на бывшей Чукотской администрации Верхнеконского Совета СССР чукчанина Лины Григорьевны Танель. Теперь на Чукотке есть не только охотник, зверобой, учитель и врач из чукчей. Есть и рабочий. О нем пишет поэт.

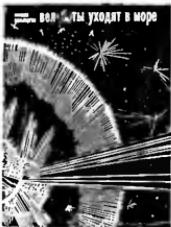
Когда опускается солнце

и медленно уплывает за линию горизонта, подчеркивающую

село, —
к дому, что в замке
на краю маленького поселка,
и дому, что в центре

мира, рабочий идет

Михаил Вальгиргин — поэт необычайный. Он — мечтатель, сидит в своем «рабочем кабинете», нет ему возможности бывать в больших библиотеках или разбирать исторические архивы. «Какое лето едва белоголовые лыси стоят на горе, — пишет он, — занят свое рабочее место на борту охотничьего вельбота. Теперь он спрятался в стихах вспоми-



ЧЕСТНО, СУРОВО —
О ПОДВИГЕ

«Крымские тетради» Ильи Вергасова («Советский писатель», М., 1971) посвящены партизанам Великой Отечественной войны. Президентский редактор книги читал ее за последние время с таким волнением, интересом и ощущением полней-

шей достоверности всего изображаемого автором. «Крымские тетради» по справедливости должны встать в тот же ряд, что и «Люди с чистыми совестями» П. Валашкевича и «Герои Брестской крепости» С. Смирнова, ибо все они вдохновлены желаниями, прозвучавшими еще в годы войны в «Басилии Теркине»:

День придет —
еще повстанут
Люди в памяти живой.

нит лишь с окончанием промежутка. Минимум стиля хотевшими сблизить природу, сурогатного яра, борьбы простых людей с разбушевавшимися морем. Перелистывая страницы сборника, мы словно рядом с поэтом шагаем вдоль новых берегов, пересекаем поросков, заглядываем в светлые классы чукотских школ, смотрим на совсем маленьких граждан в детских садах и детских яслях.

Песни Вальгиргины поют в поэзиях Чукотки. Дошли они до Магаданского книжного издательства. Многое пришлося поработать переводчикам В. Сергееву и А. Пчелкину.

М. ВОСКОБОЙНИКОВ

ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ

Вышла новая книга о Николае Островском. Почти через сорок лет после появления повести «Как заканчивалась статья» наша сравнительная молодежь современник Л. Анинский написал о ней книгу («Художественная литература», 1971). Лица и давно и с интересом ждал ее появления.

Поясню, в чем дело. О Николае Островском и его повести «Как заканчивалась статья» пишет существуют большая литература, Литературоведы и критики старшего поколения, многое сделали в изучении творчества любимого писателя молодежи, объясняющие социальный обусловленность успеха произведения. Автор новой книги Л. Анинский с пристальностью говорит о своих предшественниках, но то же время расчищает плацдарм для современного прочтения повести. И, конечно, хорошо, что еще одну книгу о повести «Как заканчивалась статья» написал представитель поколения шестидесятых годов, ходивший в школу в разборе этого замечательного произведения, в определении его места в литературе, в духовной жизни общества он отошел от привычной меры вещей, ему это было легче сделать, чем представителям старшего поколения, впитавшему воздух той эпохи, иззвузы которой доносятся со страниц повести.

То есть в данном случае вновь взглянула на этот литературоведческий феномен из нового времени.

Вероятно, какие-то положения в книге Анинского вызовут споры, но сам нетрадиционный подход автора к явлению, сама попытка про-

чество «Как заканчивалась статья» — чрезвычайно движущейся и изменяющейся панораме исторических событий представляются вполне плотдоворными.

Книга Анинского не традиционна в композиции, в характере критического разбора в критике. Она написана живо, увлекательно, хорошо читается. В ней три главы: «Успех», «Текст», «Судьба». Первая часть посвящена истории создания произведения и выявляет природу его успеха, идеиный контекст эпохи, в которой возникла повесть. Автор приводит интересные и важные данные для определения места произведения в духовной жизни народа. Необычность и нетрадиционность повести Островского объясняет и длительное в свое время молчание профессиональных критиков, хотя «Все зналось» и «заканчивалась» сразу же захватила читательские массы, вызвала у них огромный интерес.

Л. Анинский убедительно доказывает своего рода «личинность» книги. Это произведение справедливо утверждает Анинский, нельзя представить «исправленным», написанным иначе.

Не менее интересно рассматривается движение времени в повести. Это движение, дающее хорошую аргументацию к общему тему о новаторстве произведения: структура повести, опровергая каноны старой литературы, несет в себе новое, неизвестное.

Свободно и широкона хранится третья глава книги — «Судьба». Сопоставляя Павла Корчагина с героями Диккенса, Помпевского, Толстого, автор делает очень любопытные выводы о судьбе героя в литературе ХХ века. И в то же время Анинский не забывает о характеристики, неповторимости, уникальности образа Корчагина. Словом, он сумевший соединить книга о Николае Островском и его повести, которая и сейчас, спустя сорок лет после своего появления на свет, продолжает волновать новые поколения молодежи, чуть ли не во всех странах мира.

Ал. МИХАЙЛОВ

МУЗЫКА, СЛОВО, ЭПОХА

Вышла «Модест Петрович Мусоргский. Литературные записки. Письма. Биографические материалы и документы» (Москва, «Музыка», 1971) публикуются все найден-

ные на сегодня письма великого русского композитора и масса новых, в том числе и совсем недавно обнаруженных, документов.

Читатели практически впервые имеют возможность познакомиться с чисто литературными произведениями Мусоргского. Но случайно ли гигантское прогрессивное движение искусства шестидесятых — семидесятых годов прошлого века говорили, что если бы «Мусоргский» не стал композитором, то он был бы премьером, стал бы писателем, близким и по идеям и по литературному стилю к творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина в первую очередь.

По сути дела, этот том литературистического наследия Мусоргского есть публицистический портрет жизни искусства России с 1857 года (тогда Мусоргскому было восемнадцать лет) по 1881-й — год его кончины. Искусство и времена пытались формировать его собственное творчество, стимулируя и определяя его новый, реформаторский путь в музыке.

Будто на каждой странице встречаешь мы удивительные детали, отмечающие важные этапы жизни Мусоргского и концентрирующие внимание на рождении его музыки. Дело в том, что Мусоргский писал почти все музыкальные произведения, начиная с детской. Обично на потную бумагу ложились уже готовые строки, законченные музыкальные мысли и образы. Путь же к ним, собственно говоря, — именно в его литературных записках, прежде всего в письмах. Разбор либретто «Бориса» и «Хованщины» становится интереснейшим экскурсом в историю России, анализ характеров и действующих лиц — исполнителей, драматургии, края — (добавим здесь же злободневные «Нэнтибу», «Раек», «Песни и пляски смерти», крестьянские песни). «Какая неиссякаемость!..» — вспоминает хватив асистент НАСТОЯЩЕГО жизни русского народа!.. — в этих словах Мусоргского выражен смысл его творчества.

Корреспонденции Мусоргского, В. В. Стасова и Е. Рябинина, Римский-Корсаков, Л. И. Шестакова (сестра М. И. Глинки) и много-много других чрезвычайно интересных личностей второй трети прошлого века. Встреча с Мусоргским — это и встреча с ним, и незримый присутствие читателя при их диалоге не просто интересны — они обогачают каждого из нас.

Наталья ЛАГИНА

АВТОРУ БЫЛО 14 ЛЕТ...

Ста совсем тоненькая белая книжка (М. Гринин. «На пароход идет в Ростов. Повесть М., детская литература», 1971) необыкновена тем, что написал ее четырнадцатилетний мальчик. Звали его Михаил Гринин. Став старше, он продолжил писать на прозу и стихи, много читал. А в 18 лет, идя с выпускного бала, погиб в результате несчастного случая.

Обычно, когда выходит книжка с трагической судьбой, ее тему бывает более приподнятое и нестрогое отношение. Книга М. Гринина хороша сама по себе, в разговоре о ней не нужны скрипки на печальном музикальном судьбу автора.

О чём она? О самом простом: многодетная семья плывет на пароходе к бабушке, у которой сад и абрикосы. Лукавая девочка просвирит, не имеющая ума в том, как эта книга называется. Дети получают телеграмму: «Абрикосы осыпаются. Влезайте немедленно!». Из этого художественного зерна вырастает сюжет задан тон книжки, ее быт, ее веселой, жизнерадостной в полном смысле этого слова. Естественность таланта — такое ощущение возникает у читателя.

Ситуации и образы живые, не книжные, не подражательные (что было бы даже извинительно в первых творческих проказах).

Вот Наташа, сурово руководящая братьями. Перед посторонними она становится кроткой девочкой, а оставаясь на пароходе с братьями без мамы, держится уже по-деловому, решительно. Она может быть и лиричной, что с удивлением обнаруживает ее брат, от лица которого ведется рассказ. Так же венец поэзии магии — на богатую фантазию, рисующую всякие увесы, происходящие с ее детьми, — и это трогательное наблюдение сделано с улыбкой понимания.

Наверное, было бы неплохо сказать, что все книги для ребят младшего возраста были написаны на таком же профессиональном уровне, как эта, созданная в детстве хорошим человеком, после которого остались ее несколько публикаций стихов и добрая память о нем многих и многих людей.

Т. ЕФРЕМОВА

ЛИЦА ЭПОХИ



нижку я взял в дорогу. Из одиннадцати ее авторов десятерых я знаю многие годы. Ждать от них можно готовности к спору, точного и своего слова, разумеющей несхожести опыта, знания, суждения. Путешествовать в таком кругу — редкое удовольствие.

Книга называлась — «Эпоха в лицах». Составили ее очерки журналистов «Комсомольской правды», объединенные счастливым и будоражащим замыслом, какие никогда не даются одному. Замысел: рассказать о советском времени, о пути нашего комсомола. Так, чтобы в каждом из очерков узнавали себя сразу миллионы. Об этом хорошо сказал в предисловии главный редактор «Комсомолки» Б. Панкин:

«...Когда мы оглядываемся на прошлое, то видим не только события, не только имена, но и типы людей.

Юнкомы — так называли первых, самых первых комсомольцев. О них, до того как принес свой очерк Валерий Аграпновский, мы знали, пожалуй, меньше всего. А сегодня они стоят перед нами как живые. И мы ясно представляем себе: как они выглядели, что они делали. Как говорили, каким был их характер, внутренний мир.

И вот уже выстраиваются в шеренгу за юнкомом чоновец, рабфаковец, селькор, рестроитель, солдат Отечественной. История, прошедшая перед нами в именах и событиях, возникла вновь в лицах людей, созданных временем и служивших ему».

Есть журналистские замыслы, не забытые с быстротечной судьбой газетной полосы. Горький и публицисты 36-го дали «День мира» — один день планеты через репортаж, интервью, факт, объявление. Через двадцать лет известицы возвращались замыслы, и снова сборник шел нарасхват. И вот «Эпоха в лицах». Разве не заразительна эта мысль об определении типа, рожденного точным временем, новой возможностью, новой задачей?

В Бугульме, перед посадкой на местную «канунушку», я запрятал

книжку в портфель. А через минуту меня познакомили с парнем, пристевшим этой «канунушкой» из Казани:

— Комиссар студотряда.

Очкарик-филолог приступил до-договариваться об объемах работ, о пинцблоке и графиках поставки бетона. И, смотрите, как же быстро жизнь обмела официальный титул «комиссар студенческого строительного отряда» в энергичные Ава слова, как точно подтверждает этот новый тип в лицах эпохи! Нет, право, в дороге стоит читать публицистику...

Одиннадцать журналистов рассказали об одиннадцати типах советского времени. Одиннадцать очевидцев (юнком Мильчаков, полярник Папанин, космонавт Волынов и другие не менее замечатель-



ные люди) засвидетельствовали в кратких заключениях верность типов. И как же многоказалось в одиннадцати абрисах о революционном динамизме пятидесятых лет!

Целый век мог тащиться и «народить» то ли буржуа-нуврову, боббиго и форсата, то ли вечного пасынка Онегина. Вспыхивали в нем звезды просветительских умов и декабристских мятежников, гарibalдийцев или народовольцев, но надо ли напоминать ленинское о том, как «узок» круг этих революционеров, и стало быть, далее этого взлет духа и воли от кристаллизации в типе?

А скромная книжка сегодняшних журналистов знакомит нас с истинными типами идеальных в высоком смысле людей. Да еще и неполна, разомкнута, развернута в будущее эта типология. Динамизм положительного, массовость мужества и добра, их решавший

перевес над обывательским — мысль книги, ее советская философия.

Разумеется, что где-то рядом уже вытаскивается из-за пазух и контрагумент: «сильны стадом, держатся типом. А личность?» Я приведу только один отрывок из очерка Д. Поляновского «Чоновец».

«Ребят схватили в избе, где они остановились переночевать. Они спали «валетом» на печи. Выдавивших их хозяин избы считал их братом и сестрой.

В той же избе на глазах у священного Саши Кудряшова бандиты дико нарядулись над Катей. Кудряшову заткнули рот, но он каким-то образом ухитился языком вытолкнуть кляп.

— Катя! — крикнул он. — Не думай о них! Не думай, слышишь, они уже мертвцы! Я тебя люблю, Катя!

Его ударили прикладом в лицо. Он выплюнул кровь и зубы.

— Я тебя люблю, Катя!

Это были его последние слова и последнее, что слышала Катя Бойко в своей жизни.

На их похоронах говорили: «чоновцы». А это были еще Саша и Катя. Как бы ни был ни похожий Усыскин (очерк И. Эзюкина) — стратонавт, как остался неповторимой любовью каждого Гагарина (очерк Я. Голованова) — космонавт. Типы, служащие идеальному и им вызванные к борьбе, создают такое благотворение духа, такие высоты оптимистических трагедий, до которых никого не подняться «одиноким в tolne».

Вот так обыкновенная журналистская книжка (плос масштаб ее замысла, плюс одушевление, замыслу отданное) становится участникой самых сложных споров века. Заражает и вас возможностью большей зоркости к текущему, большей преданности революционным идеалам.

И об одном только еще типе, не попавшем под обложку, хотелось бы сказать. Одиннадцать журналистов, авторов «Эпохи в лицах» — это десяток профессий. В предгазетной поре они — юрист и инженер фронтовой разведчик и комсомольский работник, капитан батареи и учитель. В газетную пору они же — организаторы пионерских клубов, добровольные следователи, участники медицинских экспериментов и сельские опытчики. Об этом, о новом типе пишущего, тоже можно было многое рассказать.

А. ЕГОРОВ



ЮРИЙ
КОРТНЕВ,
мастер
московского
завода
«Динамо»

ЗАНОЗА

Я хотел бы поговорить с теми, кто, покинув школьные стены, никак не добрёлся до наших заводских проходных. Где разстались вы, ребята? И кто больше потерял в этом странном физическом вакууме — мы, не дождавшиеся смены, или...

Но не будем прищипывать самих себя по пути к выводам. Начнем по порядку.

КАК БЫВАЛО

Было в январе — феврале 1942 года поступить на работу было не так-то просто. Заводы и фабрики осенью 1941-го почти полностью эвакуировались на восток страны. Остались в прифронтовом городе только отдельные цехи, участки или мастерские.

Я пришел в отдел кадров «Н-ских фронтовых авиаремонтных мастерских» и еле упросил взять меня на любую работу. «Хоть на какую, лишь бы в рабочие».

Мне дали в правую руку тяжелый молоток, в левую — огромное (по моим тогдашним представлениям) зубило и послали на площадку за ангара, где стояли потерпевшие аварию наши самолеты, в основном штурмовики «ИЛ-2». На их крыльях сидели два или три десятка мальчишек и девчонок в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и, словно дятлы, стучали молотками. Они срубали заклепки на пробитых снарядами листах обшивки машин.

Работать нам приходилось под открытым небом. То шел мокрый снег, то ледяной дождь. И всегда гулял ветер. Холод от сырого дюраля пронизывал насквозь, несмотря на ватные брюки и телогрейку. Валенки были не у всех. Шерстяные свитеры давно уже наши родители обменяли на картошку. Застывали пальцы, и зубило часто валасилось из рук. А варежки приходилось снимать, ибо удержать в них, мокрых, ребячьими руками тяжелый инструмент было попросту невозможно.

Но все это было одна беда. Другая заключалась в том, что на первых порах у нас, конечно, не было никакой сноровки в работе. Поэтому на каждые два удара молотком по зубилу приходилось четыре удара по собственной левой руке, и скоро большой с указательным пальцем превратились в сплошную кровоточащую рану.

Сколько раз, бывало, хотелось бросить все к чертовой бабушке и убежать домой к маме. Но удерживал стыд: другие-то не убегали. Удерживало то, чем жили все мы тогда: ты помогаешь фронту, ты помогаешь отцу и старшему брату.

Видимо, потешное зрелище представляло собою наша компания, когда мы сообрали в столовую или так просто собирались на пятиминутный разговор (отнюдь не на перекур — никто из тех двух-трех десятков работавших со мной тогда сверстников не курил). Смешно, наверное, было смотреть на нас со стороны. Потому что каждый старательно прятал свою левую руку в карман, чтобы другие не смеялись над его неумелостью. А наши девочки засовывали свои левые руки за телогрейки, благо они у них застегивались на левую сторону.

И хотя наша «однорукая» команда, надо полагать, выглядела комично, нам самим было, ясное дело, не до смеха.

Проглотив наскоро в столовой миску жидкой мучной затирухи на первое и кусочек омлета из яичного порошка на второе, мы успевали еще и потолкаться и побегать друг за другом вокруг ангара, покуряжиться перед девчонками. Короче, мы проделывали все, что и положено делать мальчишкам в четырнадцать-пятнадцать лет.

Но случались минуты, когда мы все разом оставляли даже работу. Происходило это тогда, когда со взлетной полосы из-за ангара доносился могучий, совершенно особый рев моторов. Один, второй, третий... Мы знали, что так опробуются моторы только перед взлетом.

Потом рев несколько стихал, и мы знали: сейчас пойдет.

«Свои» машины мы узнавали, пусть даже в обновленном и перекрашенном виде, сразу.

— Вон «мой» флагманом пошел! — безапелляционно заявлял кто-нибудь.

— Какой это еще твой, когда это мой! Вон у него левое крыло до половины залатано, — возражал сосед.

— А я говорю, мой!

— А в нос не хочешь?

Случалось и такое.

Но работать все-таки было тяжко.

Так прошел март. В апреле стало припекать солнце. Крылья подбитых «Илов» просохли. Отпала нужда в рукающихах. В столовой стали раз в неделю давать «УДП» — усиленное дополнительное питание, состоящее из второго кусочка омлета. Светлае на душе стало и оттого, что в какой-то неуловимый миг вдруг обнаружилось, что головки заклепок стали отлетать с первого удара, что левая рука почти совсем уже зажила и что ты сам уже можешь, как Сергейчик, говорить новичкам: «Аа не гляди ты на головку зути, так скорее промажешь и руку отшибешь. Смотри на жало... И бей от плеча, а не из-за спины не скобу...»

Пришло овладение делом, мы породнились с работой, и это было главным определением цепи самому себе. Так бывает при подъеме на гору, когда долго пробиваешься сквозь мгла и туман... И вдруг все серое остается под ногами. Перед тобой одни сверкающие вершины чистое солнце над головой.

Мог ли это только быть заслуга в том, что я так упорно карабкался, сбивая руки и колени, и не повернулся вспять, не убежал с завода? Конечно, нет.

Приобщился я к заводской работе по трем причинам, и именно в том порядке, как называло:

— надо было защищать Родину, и все знали, что завод — это второе по значимости в этом плане поле деятельности после фронта (квалифицированных рабочих даже бронировали от мобилизации);

— нельзя было болтаться без дела;

— необходимо было иметь рабочую продуктивную карточку, основную из всех, существовавших в то время.

Никому в голову не приходило тогда называть человека неудачником, оттого что он пошел в рабочие.

Приматом всего была необходимость. Основоположением — сознание обязательности всемерного личного участия в общем деле. Руководством к действию — обостренное понимание, что никакой обособленной судьбы у нас нет и быть не может, что судьба каждого человека всецело зависит от судьбы государства, а это — государство рабочих и крестьян.

КАК ЭТО ЕСТЬ

В том грозовом 1942 году Женя Шульги еще даже и на свете не было. Не было ее и в 1945-м. Женя Шульга родилась в станице Красногвардейской, Ставропольского края, в 1949 году. Но это уже не стоило важно. Главная речь о том, что ее, стало быть, никаким краем не коснулось целеизначенное воспитание военных лет, определяемое установкой: «Все для фронта! Все для победы!» Однако когда ей, выпускнице средней школы, предложили пойти в профессионально-техническое училище, то Женя согласилась. В училище — так в училище.

— Так сразу и согласилась? — спрашиваю я Женю.

— Нет, — отвечает, — не сразу, но особо и не претивалась.

«Самое ценное в Шульге есть ее безотказность», — заявлял представительный «старший товарищ». «Это как понимать? Покладистость, что ли?» «Ну, да...» — неопределенно протянул он.

У комсогра 4-го машинного цеха завода «Динамо» Женя Шульга маленький, но явно задирстый нос и карие глаза, какие обычно называют лукавыми, чтобы не говорить: насмешливыми.

— Для чего это вам так нужны конфликты? — хмыкнула она в ответ на мои настоячивые расспросы

об ее отношениях с администрацией цеха. — Что вы все высыпываете? Будто без них и жить нельзя...

Поневоле пришлось менять тему:

— Что дало тебе поступление в училище? Единственное ли это было возможный для тебя шаг?

Женя прижала ухо к плечу. Потом склонила голову в другую сторону.

— Как видела ты свое жизнеустройство? — продолжал наслаждаясь вопросами. — Была ли какая-нибудь мечта?

Она пристально разглядывала меня. Бездумаем тут, ясное дело, и не пахло, хотя ответ был крайне однозначен:

— Не знаю.

Ну положим! Все она прекрасно знала и была даже не безразлична к происходящему вокруг. За доказательствами не пришлось далеко ходить. Как раз в это время в кабинет парикмаха, где мы беседовали, втиснулась группа комсогра проектного института при заводе. Они без топота, чтобы не мешать нам, прошли в дальний угол и, усевшись там вокруг стола, сразу бурно засовещались.

— Э? Это вы там о чем? — окликнула их Женя.

— Вас не касается! — отозвались из угла. — У нас тут сугубо внутринститутские дела.

— Скажите, какие особенные? — хмыкнула Женя и, торопливо извинившись передо мной, убежала в комитет комсомола на разведку.

Любопытный товарищ. Активный. Какое еще может быть тут «немогузийство», если проблемы, возникшие в соседней комсомольской ячейке, интересуют ее, как свои.

Вскоре удалось выяснить, что Женя Шульга еще в школе задумывалась о жизни. Была у нее и мечта: поступить в медицинский, чтобы стать врачом, как мама. В институт не попала. Но и домой в станицу возвращаться не собиралась.

— Город манил? — спрашивала.

— Не очень, — отвечает. — Станица у нас хорошая...

Выяснилось, что есть в станице два кинотеатра, два Дома культуры, хороший универмаг. Людей разных много. Об обилии продуктов нечего даже и говорить.

— Может быть, вас в школе «не приучали к земле»?

Оказалось, приучали. Был даже специальный предмет — «Растениеводство». В attestat он, правда, не входил. Парней и девушек (при их желании) учили вождению автомобилей и тракторов. Работы в колхозе «Страна Советов» для молодежи был край непочатый.

— Так что же?

— Новой жизни захотелось.

— Это романтики, что ли?

— Нет. Самостоятельность.

А самостоятельность, прямо скажем, давалась не легко. Профессия обмотчицы, которой училась в ПТУ Женя, требовала изрядного труда.

Но при желании все преодолимо. И когда в ПТУ-20 города Невинномысска пришла разнорядка на двадцать лучших обмотчиц для работы на московском заводе «Динамо», Женя Шульга оказалась в их числе.

— Хлебнула горя на новом месте?

— Да не очень. Конечно, сначала еле-еле обматывала за смену одну машину и зарабатывала вместе с «ученическими» семидесят — восемидесят рублей в месяц. Потом дело пошло. Тетя Маша Рожкова, которую мне дали в учитель, очень помогла. Под ее руководством довела дневной выпуск до четырех машин. Заработок сразу подскочил. Знаете, я ни-

ко́да не предполагала, что заводская работа так здорово отличается от всех других. Сначала, кажется, дыхнуть нечем, а втягиваясь, и, глядя, закружила вместе со всеми...

- А как же самостоятельность?
- Так ведь это же все надо.
- То есть?

— Ну, необходимо быть всем вместе, чтобы всегда кто-то нуждался в тебе. А если ты выдаешь из общей карусели, то это не самостоятельность, а страшное одиночество. Для чего тогда жить, спрашивается. (Архивный мудрец сказал: «Если я только за себя, тогда зачем я?»)

— Стало быть, заводская работа, по твоему убеждению, помогает молодому человеку чувствовать себя личностью?

— Да. Знаете, на заводе все как-то прочно закручено. Тут все рядом, и поэтому сразу видишь, что тебе поддается и чем своим ты можешь поделиться с другими.

- Ты одна такая шустрая в своем цехе?

Женя заверила, что другие девочки гораздо лучше. Надя Судникова, например, или Зуборова Лена. Работают обе, как заведенные, и уже на 34 для опережают плановое задание года.

В условиях серийного производства все это очень непросто.

Большинство ребят, которым в последнее время присваивалось звание «Лучший молодой рабочий по профессии», являются так называемыми «лимитчиками», то есть приезжими. Они же поставляют основную массу новых принятых рабочих вообщем.

— Еще бы им не любить работу, когда они выросли в деревне! — сказала как-то про них комиссар уже не 4-го, а 3-го машинного цеха Лида Зубкова. — Работу они любят и работать могут.

А жить в полную меру?

БЕГУЩИЕ К СЕБЕ

Заводская работа, как правило, ежеминутно отражает результат затраченного труда. Показывает целое или крохи, удачу или промахи — и все сразу, сиюминутно. А селянин или животновод, ежедневно складывая в дело свой труд, месяцами ждет результата.

Производимый продукт крестьянской работы постоянно «унчитожается» — завод делает преумноженно «вечные» вещи.

Кроме того, близкое соседство в деревне труда общественного и личного, порою даже их противопоставление влияют на психику. Предположим, дождь угрожает сену колхозному и его надо спасать. Но ведь где-то рядом лежит и так же мокнет сено свое...

В городе молодой человек быстрее приобщается к понятиям коллектива и наше, нагляднее для него результат труда, большие разнообразных контактов.

Какая-то часть молодых должна бы в селе оседать, двигать его вперед. Но во многих местах у молодежи почти повальная мода: «только в город». И мотивы-то иной раз чисто потребительские.

Соседям пришло вот письмо от сына из города. За два месяца он сумел привести три виниловых рубашки, лавсановый костюм да импортные штиблеты.

«...правда, мастер на работе соки жмет. Зато вечером оделся и вышел с устакату погулять... Обратно до «общаги» доехал на такси».

Таких упомянутого в письме явно для фанфаронства. Может быть, это — упоминание возможностью немед-

ленно вознаградить себя за отданый цивилизации своей нем легкий труд. Радость «приобщения к цивилизации», в данном случае внешнего. Но приобщение может быть и более глубоким.

Уже многие из «лимитчиков» ходят с портфелями; и администрация предоставляет им льготные дни на учебу. Бессспорно, учиться в Москве гораздо лучше. Да и жить интересней.

— Недавно вернулась из Венгрии, — рассказывает Женя Шульга. — Впечатлений ворох. Побывали мы в Будапеште, Дебрецене, на озере Балатон. Жалко вот только, на заводах не были. Интересно бы посмотреть, как там работают наши сверстники. Хорошо бы еще куда-нибудь съездить...

И, конечно, она и другие ребята поедут, полетят, поплынут, ибо только на спорт и культуру «Динамо» ежегодно расходует почти 150 тысяч рублей из фонда прибыли завода. И ассоциирования эти будут возрастать, так как неуклонно растет прибыль. Не вся кому колхозу такое по плечу.

О тяге молодых людей к самостоятельности, думается, следует вsee-таки говорить всерьез. На заводе с четко организованным трудовым процессом человек зависит только от работы. А с работой любой молодой человек, вдобавок смысла деятельности к ней привыченный, охотно потягивается. Да и с житейской независимостью в городе легче. В конце концов накинул плащ да и ушел куда глаза глядят, и никто навзврат не станет судачить у колодца, с кем был и куда ходил.

Я не пытаюсь решать здесь Даревенские проблемы. Но вот что бросается в глаза: бегущие «от земли» в нашем веке бегут к себе, к большим возможностям самораскрытия. И это обстоятельство заслуживает серьезнейшего изучения.

НАША НАДЕЖДА

«**В**ся наша надежда поконится на тех людях, которые сами себя кормят». К сожалению, доска с этим изречением очень мала по размерам, хотя и висит она в центре Москвы, далеко от заводских районов.

— Да и вообще у вас там лишь только план да план, — говорил, объясняя мне свою позицию, один из неизвестно куда «канувших» молодых людей.

— Нет, главное не план. Но в этом главном главное — план...

— Увы и увы...

— Может, и увыло, если быть равнодушным к работе. А если стать равнодушным ко всему, что не работает?

Видели бы вы, как красиво бывает увлечение работой!

Недавно замечала, фрезеровщик Ваня Иванов сунул палец в рот.

— Проголодался, что ли? — спрашивала.

— Запоузу засадил! — отвечает.

— Так вытащи.

— Сейчас. Вот только перегоню вал на длинный паз и, пока фреза будет по нему идти, я и вытащу эту поддуру занозу.

Это ли не одержимость! Стремление извлекать максимальную пользу из каждой минуты своей работы. И одновременно вера в свою значимость для других. (Сохранились ли у него такие черты характера после института?)

Сосед, Иванов, токарь-операционщик Николай Сергеевич, стоит на зачистке галтелей. Обиходно говоря, он облагораживает переходы с одной шейки вала на другую. Делает канавки, выводит радиусы, свищает фаски, зашкуривает.

Чтобы выполнить свой личный план, Коле Сергеевичу нужно обработать примерно двести валов в смену в пересчете на средний по размеру вал. На каждом он делает: фаска, канавка, фаска, радиус — фаска, радиус — фаска, фаска — нарезает вал, измеляя по шаблону, руки его в движении — левая ведет продольный суппорт, правая — поперечный, спина в движении тоже. Кроме того, он периодически сбрасывает стружку с изделия и со станка, затачивает и меняет резец, подвигает ближе к станку стойки с валами. Легко можно высчитать сумму его движений и напряжений за день, месяц и даже за пятилетку.

Говорят мне раз Коля Сергеевичков:

— Уж сняться мне по почам эти валы!

— Но делать-то их надо...

— Знаю. А то пропадут ведь люди без трамваев и метро... Одних только подметок сколько зря стонут, страшное дело!... добавляет он и хитро улыбается.

Улыбка у него редчайшая. Зарождается где-то в сердце, поднимает грудь, принуждая хмуриться, и вдруг

выпескивается на лицо волной румянца от подбородка до лба...

Профессор Симонов Павел Васильевич в статье «О чём рассказывает улыбка» утверждает: «Сейчас стало очевидным, что подлинную основу личности составляет совокупность потребностей и мотивов. От вопроса, как совершаются то или иное действие, современная психофизиология все решительнее переходит к вопросу «по имени чего?».

Ну, это не бог весть как ново. Именно зная во имя чего, мальчишки и девочки 42-го, голодные и ходячие, со сбитыми руками, работали на заводах по 10—12 часов в сутки и находили в этом высшии смысл.

Ничуть не хуже их ребята 72-го — Женя Шульга, Ваня Иванов и многие другие. Стало быть, у нас есть кому нести рабочую эстафету. А наше кровное дело — всеми силами поддержать ребят на этом трудном, но очень правильном пути.

А пока еще — тоже занозой — сидит в нас тревога о смене, о тех молодых, что прошли мимо заводских ворот.

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, ДОМ II



В ЭТОМ ЗДАНИИ С 1921 ПО 193 ГОД РАБОТАЛ
ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

КОЛЬЦОВ

В память выдающегося советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича Кольцова Правление Московской организации Союза журналистов СССР, Правление Московской писательской организации и Главное управление культуры Исполнкома Моссовета установили недавно на доме № 11 по Страстному бульвару мемориальную доску.

Михаил Кольцов начал писать в девятнадцать лет. Шел бурный 1917 год, и, чтобы рассказать о революционных событиях, надо было в них участвовать. Этому принципу — участвовать в делах, которые описывашь — Кольцов следовал всю свою журналистскую жизнь.

В послевоенное время истории нашей страны не было, пожалуй, ни одного мало-мальски значительного события, на которое Михаил Кольцов не откликнулся бы талантливым очерком, увлекательной корреспонденцией, острым фельетоном. Он много ездил по стране и за ее рубежами. В поле его зрения была и политическая жизнь молодой социалистической республики, и героический труд советских людей, и строительство нового быта, и важнейшие явления культуры. Собирая материал для своих выступлений, он вел в школе уроки литературы, был таксистом, оформлял браки и разводы в загсе. Он едко высмеивал бюрократов, карьеристов, бездельников, всех, кто по-чиновнически относится к порученному делу, всех охотников поживиться плодами чужого труда.

Когда в Испании началась вооруженная борьба с фашистской контрреволюцией, Михаил Кольцов, военный корреспондент «Правды», находился на самых горячих участках фронта. Так родился его знаменитый «Испанский дневник».

Член редколлегии газеты «Правда». Соредактор (с А. М. Горьким) журнала «За рубежом». Редактор журнала «Крокодил». Редактор журнала «Чудак» («Считаю Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов», — писал Горький). Это все — Михаил Кольцов.

Михаил Кольцов — это и журнал «Огонек». Он был его основателем и первым редактором еще тогда, когда редакция «Огонька» находилась на Страстном бульваре в доме 11.

Яков Козловский



Арена

Так же, как во времена гекзаметра,
И сегодня на кругу кругом
Кто-то оплошал и рухнул замертво,
А другой — уходит со щитом.
Небеса диктатору потрафили,
Но, в своем отечестве пророк,
Смог стяжать, наперекор анафеме,
Гладиатор лавровый венок.
Рев трибун. На карте жизнь и золото,
Ждет ли смерть торрero самого
Или будет в должный миг прокопото
Бынье сердце слагою его!
Видят звезды, выходя сумерничать,
Что мужи, рискуя головой,
Вправе из-за женщины соперничать,
Вправе из-за славы мировой.
Венчанное терном и вербеною,
Поменяв коробки скоростей,
Время продолжает быть ареной
Самоутверждения страстей.
Пусть всю жизнь и в радости и в горести,
Правили сторонних вопреки,
Будут мысли на арене совести
Неподкупно скрещивать клиники.

Неоплавленный снег

Люблю неоплавленный снег,
Увенчанный бронзой дуба,
Искрится он так белозубо,
Как будто бы девичий смех.
Сцурю глаза поповчей,
И, встая против солнца заране,
Увижу на белой поляне
Я сонмы зажженных свечей.
День красен, как долг платежом,
И, вклинившись между снегами,
Дорога скрипит под ногами,
Что спелый арбуз под ножом.
Уста наши скожи с костром,
Когда свое сердце мы слышим
И на руки женщинам дышим,
Их грех над снежным ковром.
Ах, чей этот промысел, чей?
Я с женщинин, деревьев и поля,
Была б моя добрая воля,
Бовек не сводил бы очей.

Вершинам отзовись

Где горы, там и риск
Быть слишком вознесенным.
Пурпурный тамариск
Забыл, что был зеленым.
Где горы, там и вись,
К ней прикоснуться просто.
Вершинам отзовись,
Но не словами тоста.
Ты весел иль угрюм,
Стихов слагая книгу,
Макай слова в адживу,
Забудь ракат-лукум!
В наследство прошлым век
Легенд оставил ворох,
В них вымысел, как порох,
А правда, как чурек.
И в дружеском пылу
Порой меж плоских кровель
Сам наяву пльву
Я с вымыслами вровень.
А ветер гонит мглу,
И взгляд мой замечает,
Как озеро качает
Недвижную скалу.
Вершины, что века,
И все полно значенья,
Как преувеличенья
Заздравная строка.



Листва пожухлая, домокнув,
Лежит деревьев голых близ.
И месяц, словно меч дамоклов,
Над нею в сумраке повис.
Давай листье опавшей почты
Мы по заслугам воздадим.
И мысленно сосредоточась,
Как в карауле постоим.
Увидим май — любви всеобуч,
Когда, обнявшись, мы с тобой
Гоняли солнца красный обруч
Озвученнюю мостовой.
Потом в лесу у края луга
При воцарении луны
С тобою были друг у друга
На дне зрачков отражены.



Она зимой сходила с поезда
При тусклом свете ранних звезд.
Ей было холодно и боязно,
Дорога шла через погост.
Особенно отрезок времени
Был страшен в близости могил,
Когда за сосновами из темени
Навстречу кто-то выходил.
Но вскоре предавалась помыслу,
В котором вились светлячки,
Хотя постукивали по мосту
Еще тревожно каблучки.
Бынье сердца равномерное
К ней возвращалось в пути,
Ждал милый друг ее, навернос,
Но к поезду не смог прйти.
И подтверждала, как завещано,
Вновь истину она,
что нас

Самоотверженное женщина
В любви бывает всякий раз.
Темнело хвойное урочище,
Плыл месяц в сумраке ветвей,
И ночь бессонную,
Пророчище,
Все здесь предсказывало ей.

Любить коня в степи родной подлунной
В отцовской юрте приучили нас...
Об упряжи, об утвари табунной
Я выслушал восторженный рассказ.
Я выйду в степь, и солнце загорится,
В глазах коней мгновение замрет.
Вскочу в седло, и огненная птица
В конец тысячетелетья понесет.

Мастера оружейного цеха

Оружейного цеха суров
Был обычай, соглашись с поверьем,
Что судбою не всем подмастерьям
Превращаться дано в мастеров.
Но взрастало число их голов,
И решили в тщеславье обидчивом
Подмастерья покончить с обычаем,
Обособившим цех мастеров.
С наковален, чей отсвет багров,
Дружно грянуло звяканье дюжее.

Но блестало все ярче оружие
Настоящих, былых мастеров.

Путешествие

В плену раздумий, на краю равнины,
Где тени бродят и блуждают джинны,
Разрушенных когда-то городов
Я воскрешаю мысленно руины.
В чаду базаров, средь столпотворенья,
С историей мне сладостно общенье.
Красавицы старинной юный взгляд
Подарен мне на краткое мгновенье.
Легки движения, несравнены взоры,
Как струн неповторимые повторы.
Твой нежный лик или полная луна
Вдруг насыщают полночные просторы!
Теченье лет и старость отрица,
Твое лицо во тьме поет, мерцая,
И в этот час тебе посвящены
Бризань арфы, скрипки и сурна.
Но вдруг исчезла, скрылась в дом
саманный...

Мираж обманный, вымысел туманный...
Ну что ж, мое видение, живи
И дожники до свадьбы долгожданной.
Смотрю всполд — виденью нет возврата.
И злобный взор угрюмого панцата¹
В меня нацелен, обнажен кинжал...
И вот я отступаю виновато.
«Прости! В твоем стольстье я гощу,
Столетье, одному тебе присущем,
В твоем жилище пищи не ищу,
И через час исчезну я в грядущем!
Пусть девой любовался я некстати,
Но сердцем чист, на помыслах — печати...»
Пансат был рад. Он улыбнулся мне
И наш союз скрепил в рукопожатии.

Но тут мираж новые поплыли,
Верблюдов тучи, караваны пыли,
И трубы войска яростно трубили.
И вот промчалась вереница конных
В крылатых шлемах, в патах меднобронных.
И дети выкликали имена
Своих отцов, забытых, но законных.
Сердца топтались словно жеребята,
Ломая привязь, сотрясая латы.
На лицах старцев женщины нашли
Черты мужей, столы молодых когда-то...
И ринулась толпа тысячелетий.
И в солнечном неколебимом свете
Немое время убистрало бег
На этой столь стремительной планете.
Поблекли цепи вымыслов досужих,
Смешение ландшафта обнаружив.
И прогремел призываю телефон —
Не звони колокольчиков верблюжьих...

Жолон Мамытов



Перевел
с киргизского
М. СИНЕЛЬНИКОВ.

Кони

В зрачках коней вращается светило,
В подзорных трубах проскользнул огонь.
О родина — скакун ширококрылый,
О мой народ — неудержимый конь!
Спят кони, спят, и по хребтам сутулым
Струится сон, и свет в зрачках умрет.
Но в свой черед с неукротимым гулом
Готовы кони ринуться вперед.
Крылатые степные ураганы
Над полем протопочнут, прогремят.
И дробью гроз рассыплются барханы,
Как в барабанных перепонках град.
Ломали коня древние батыры,
Писали кони летопись подков,
Летели кони к зорям утреннего мира
Из тьмы веков, из пропасти веков.

¹ Пансат — средневековый восточный воин.

Вадим Кузнецов



Ну что ж? Одной заботой боле...

A. Блок.

Ничего не случилось вокруг.
Пахнет клевером склоненный луг,
где-то стонет стреноженный конь,
догорает в кострище огонь.

Ничего не случилось со мной.
Я ни в чем не обжен судьбой.
И полкинзи еще впереди.
Отчего же так больно в груди!

Отчего же мне застит глаза
беспринчина эта слеза!..



Улыбчивый,
тихий,
неяркий
закат догорает в лесу.
А я возвращаюсь с рыбалки,
трех щук на кукане несу.

Матвеич —
как все здесь, белесый —
кричит мне с кругого крыльца:
— Да как ты их, парень! На блёсы?
— Да нет, — говорю, — на живца.

Иду мимо лавки и бани —
прямою пути вопреки.
— С уловом, вас! — окают бабы.
— С жарехой! — сипят мужики.

За мною почетным нарядом
мальцы маршируют толпой.
Я жил и работал,
как надо,
а не было славы такой.

Я знал поважнее удачи,
но что-то не помню сейчас,
чтоб дома, восторгов не пряча,
меня бы встречали хоть раз.

А здесь вот торжественно-строго,
узрев мой триумф из окна,
встречает меня у порога
моя городская жена.

Проводит за стол меня чинно,
пылинку смахнув со скамьи.
И я себя чую мужчиной,
кормильцем,
главою семьи!..



Давай махнем, Матвеич,
на Шексну —
в разлив воды, березняка и неба!
Возьмем с собой
всезучую блесну,
немного соли и немного хлеба.

На шестисильной подочке твоей
в залив заветный на заре промчимся,
а там, быть может,
как-то изловчимся
и окопчачим пару окуней!

Когда ж с умом запустим в оборот
мы тонкую рыбакскую науку,
тогда, глядишь, и заарканим щуку,
конечно, если крепко повезет.

Потом,
раздув в затишке костерок
и котелок пристроив под трёхогой,
я буду слушать круглый говорок,
сознанье обжигающий тревогой.

Да, жизнь прожить — не поле перейти,
не затоптав посиянное семя!
И все же страшно под конец пути
остаться виноватым перед всеми.

Перед соседом,
павшим на войне,
перед его заброшенной хатой
за то, что ты вернулся в сорок пятом —
пусть с пулею фашистскою в спине!

Перед женой — одна среди беды
она пахала,
сеяла,

косила
и молоко в сельце сдавать носила,
когда ребята пухли с лебеды.

Перед колхозом — за своих сынов,
которые,
отведав лучшей доли,
покинули вскорившее их поле
и растворились в жизни городов!

...Крахтит Матвеич,
пригвожден к столбу
воспоминаний, словно ждет кого-то...
А мне еще сильнее жить охота,
еще тревожней за свою судьбу!

Я вижу,
жизнь и вправду хороша,
и, значит, рано намечать поминки,
покуда есть в березовой глубинке
страдающая добрая душа!



ЗЕМЛЯКИ

ОТАХОН
ЛАТИФИ

П

отянуло в детство. Может, весна. А может, и осень прошлого года покоя не дает. Она ароматная. Смешиваются десятки запахов. От золотистых и красных листьев еще веет летним звоном. Осень родного сада.

Мама спешит — встает чуть свет. Через плечо у нее перекинут мешочек, куда она складывает яблоки. Меня будят к завтраку. Я просыпаюсь не столько от присосновения ее руки, сколько от запаха фруктов. Еще не открыты глаза, пытаюсь догадаться, с какого дерева она срывает плоды. Но руки ее пахнут и яблоками, и молоком, и горчицами лепешками. Крепко я спал, если она успела и лепешки испечь.

Которую осень я не переживал радости встречи. Мать писала, напоминала, торопила, да и сам я давно сердцем и мыслями в саду, но дела словно сковали ноги.

— Приезжай. — Это уже была мольба.

Прилетел к заходу солнца. Шел по темнеющим деревьям. Пахло прелым — в арыках гнили опавшие листья. Воршел в переулок своей, у ворот сидит мама. Поднялась, побежала навстречу...

Давно ночь. Мать все спрашивает и спрашивает. О моем здоровье. О своем говорит: «Вы мое здоровье». Ко мне она обращается на «вы»; мне ведь дали имя деда...

Бывал я осенью и в сосновом лесу, и в березовой роще, и в многоэтажном городе и всюду чувствовал аромат яблок отцовского сада. Они с детства со мной. Ставят ли мать поднос с фруктами, когда приезжаю домой, присыпает ли посыпку — в каждом яблоке вижу добрую улыбку покойного отца и благодарю маму, что бережет она сад. Мне-то все некогда.

В прошлом году у нас впервые созрела яблоня. Еще отец мечтал об этом, да не находил подходящего саженца. С недавних пор их стало много в наших местах, и рассказывают старожилы об этом сорте яблонь такую историю.

Было это в конце прошлого века. Троє самарканцев вышли в дальнюю дорогу — в Мекку, к могиле Мухаммада. Но до Мекки дошли двое. Сейчас никто их не помнит. Третий дошел всего до Багдада, а имя его осталось навсегда. Звали его Баixi.

В пути Баixи услышал, что в Багдаде растет чудо-яблоня. Добралась до города, стал он искать человека, в чьем саду росло то дерево. Два года он прожил там, на третий взял черенки и зашагал к Самаркану. До сих пор остается загадкой, как он донес их к берегам Зеравшана. Ведь пешком шел не одну тысячу километров.

Ту осень никогда не забуду. Открыл калитку, и меня встретил чудный, доселе незнакомый мне аромат. Дерево раскинуло свои ветки прямо у забора — таков обычай: яблоня должна быть доступна всем прохожим, чтобы каждый взял веточку для заварки чая.

Попробуйте найти в нашей долине несадовника. Деревья стали символом жизни. А уж если просто нечуда в саду сажать, то малышу дают посадить хотя бы тополь. Он неприхотлив, растет быстро и вьюсь, не заграждая других деревьев.

Мой дядя был садовником и путешественником. В 13 лет он с трехлетним братом — моим отцом — спустился с гор на заработки.

Видел дядя в своей жизни и Китай, и Филиппии, и Польшу. Европейскую часть России искалесил почти всю, одно время работал у Мичуринса. Потом вернулся в родной кишлак Дардар и больше никогда и никуда не выезжал. Иногда спускался к нам в Пенджикент.

— Почему вы ютитесь среди камней, что там хоршего? — спрашивал я его при встречах. — Спускайтесь в долину, оставьте горы.

Его голубые глаза печалились, и он тихо, едва слышно, отвечал мне с укором:

— Если родные камни тебе не дороги, ничто инибудь тебе не будет дорого. Кто не умеет ценить отцовский очаг, тот ничего не умеет ценить в жизни.

— Но почему же мы не живем в горах?

— Твой отец не помнит своего отца, да и не обязательно всем жить в кишлаке, главное, чтобы огонь не погас в родном доме. Я сберег сад своего отца, сад твоего деда, для вас, — тихо, как говорил, улыбнулся мне.

С заботами о саде, который террасами поднимается в гору с самого берега Зеравшана, и умер дядя... Теперь запах яблонь разбудил во мне давно забытое — гостю по саду в горах.

Я собрался в путь и поехал в верховья Зеравшана. Аревин сказали: «Утром обрати взор на горы высокие и возьми себе их силу. Вечером смотри на текущие воды и отдаи им свою усталость». Такое место в Таджикистане — кишлак Рудаки.

Тут есть и высокие вершины и прозрачные ручьи. Но самое дорогое сердцу каждого таджика — великий поэт Абу Абдулла Рудаки. Здесь он сказал свой первый и последний стих...

Как Волга — символ Руси, так Зеравшан — символ Таджикистана. На его берегах начинался и новый период таджикской литературы — советской. Ее красная строфа — творчество Садриддина Айни, его кишлак ниже по течению Зеравшана.

В кишлаке Рудаки тополя золотыми стрелами тянутся к холодному небу. У мавзолея поэта сидят люди, четыре путника, как и я. Деревья в саду облетали. Аисты, как люди, только срок у них короткий — одно лето. Дают жизни и умирают...

С той поры миновала зима. Уже солнце поднялось высоко. На моем столе от его лучей засверкал камень. Обычный кальцид — оттуда, где строят Джизируджинские горно-обогатительные комбинаты.

А за окном нарядилась земля. Цветами, всходами, пышной зеленью. Весна. Пока придет осень и созреют плоды, много раз взойдет солнце. А пока прутник станет деревом, смениется не одна весна. Да и то, если неутомимый садовник. В стократ неутомимы родители и людское окружение, что не перестает давать нам урок жизни.

Недавно узнаю, что матери привезли уголь. Обеспокоился, как она его перетаскала. Знаю, а она: «Среди людей я ведь живу». Как мне вас благодарить, земляки? Да надо ли — если вы всегда такие. Быть таким, как вы, — в этом, наверное, будет моя благодарность.

Уж так в городке нашем заведено — радости и горести делят вместе.

Ты переехашь в другой город, но дома своего без согласия соседей не продашь. Живут по поговорке «В доме соседа спокойно — и в нашем доме хороши».

Нет ничего страшнее, когда земляки, видя, не замечают тебя. Ты стал чужим для них. Товарищи, бывавшие за рубежом, рассказывают, как сбегаются, услышав родную речь, покинувшие Родину. В глазах у них боль и госка. Плачут по садам и камням детства.

Беречь радости детства, чтобы дарить радость своим детям и ощущать полноту жизни, — этому учат земляки. И мать моя борца их заботами. Идет сосед ако Хайдар за мукой для себя, обязательно зайдет к матери и проверит, есть ли у нее мука. Утром не услышит ее голоса, проведает, не заболела ли...

А соберется кто в столицу, непременно навестит свою мать. Потом разыщет меня и скажет, что мать здоровья и передала привет. Вот и теперь приехал Бобо, сын дяди Субхонкула:

— Едемте, в кабине есть место, и дорога красива.

Он весел отца. Крупной кости. Всегда улыбающийся. И, как у отца, лохматые брови. Помню его мальчишким мальчиком. Теперь он женат, и у него растут дети. А младший его брат Хайдар, как и мечтал, физик.

Забрались с младшим сыном Латифом в кабину машины Бобо и покатали через горы и долины. Делали привалы, валялись на травке, пахло зеленью и землей.

— А это что, а это? — спрашивал сын.

Как и когда он будет это знать? Я в разъездах, мне некогда водить его в горы и на полянки. Надежда на школу. А мы ходили за коровами и в травах

разбирались, как сейчас машины в марках машин. «Спотыкается» мой сынишка на полянках о каждый цветок и травку. Грустно это, укор мне.

Бобо рассказывает о новостях в Пенджикенте. Везет он провода для АЭП и всякую арматуру. В директивах ХХIV съезда КПСС записано: ввести в действие дополнительные мощности на Анзобском комбинате. Туда и везет свой груз Бобо.

Спрашиваю его, сколько наконечников для сохи можно оттащить из железа, что в кузове его машины. Бобо смотрит на меня с удивлением. Не помнит. Ну да, он совсем был маленьким.

После войны возник на нашей улице тот литейный цех. Печь его вначале поддували вручную. Отец Бобо придумал какой-то насос. Потом стали приспособливать автомашину. Поднимут домкратом задние колеса, ведут ремень, и загудят в печи. Вся улица озарялась огнями, и всю ночь лили наконечники, и всю ночь из колхозов подъезжали арбы. Без наконечников с волами какая пахота! Трактора в войну совсем развалились, даже первая женщина-трактористка, наша соседка Кадрат, и та на работу ходить стала с кет-менем.

Необходимость в наконечниках быстро отпала. Отец Бобо взялся ставить на арках маленькие электростанции. Энергии хватало на 10—15 лампочек.



Рисунок А. КАДЫРОВА.

Единственный движок на бензине был в кинотеатре. А там везде керосиновые лампы. Как в школе комсомольское собрание, вечерники — ругались: на весь класс оставляли одну, а остальные лампы уносили в зал.

А теперь вот давно к городу пришла АЭП, и она все выше ведет в горы. А дядя Субхонкул, отец Бобо, все еще возится с металлом: сейчас он кузнец «Сельхозников».

— Граница, — говорит Бобо.

На краю пшеничного поля стоит обелиск. На нем изображены государственные флаги Таджикской и Узбекской ССР, восходящее солнце и руки в пожатии. Здесь каждый год собираются пенджикентцы и самарканцы. Жгут костры. Празднуют дружбу народов.

Пенджикент — городок. Около двадцати тысяч населения. Справа и слева — синие горы. Дома террасами — от берега Зеравшиана до Кайнарских холмов, у подножия которых бьет чистый родник. Раньше он растекался по арыкам, теперь по трубам, и краны водопроводные в домах и на улицах не закрывают.

Дом наш недалеко от родника. Сегодня у мамы праздник по случаю нашего приезда. Кинят в большом казане шурпа, на блуде горячие лепешки-фатиры. И яблоки, их у нас умеют хранить до самого нового урожая.

Хорошо учились. «Как же иначе меня будут уважать другие дети?» — говорил он. Старший сын его, мой ровесник, Абдурахиб, получил инженерное образование в Москве. Там и женился. Некоторые шушикались, что отец не примет русскую невестку. А дядя Расулов устроил пышную свадьбу и сам весело плясал.

Уходят и приходят гости. Но нить разговора не теряется.

А разговоры эти в семейном кругу очень своеобразны. Они, может, немного сумбурны, но колоритны. И темы самые разные. Все из жизни.

Женщин вот заняинтересовало, как же это государство будет доплачивать денежных пособий на детей в семьях, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 50 рублей, вот нас, мол, матерей-героньев сколько.

— А так же, как и обучает ваших детей, как дает старикам пенсии, — отвечает кто-то.

— Будем хорошо работать, все будет, — вступает в беседу немноголюдный Мухамад Юноусов.

Мухамад на днях прилетел из Душанбе. Скоро ему запишут диссертацию в Баку. Смеется, что перед трудным экзаменом, как суеверный, пришел за благословением в родной дом. О науке за столом говорят с гордостью. Матери, чьи сыновья (аспирантуре) просто сияют. Сейчас буквально весь городок живет радостью, что в Ленинграде блестящие заптили кандидатскую Абдурахман Хусанов. Он в Ленинграде и работает в научно-исследовательском институте. Окончил Ленинградский университет, стал физиком.

Собираясь в Ленинград, Абдурахман спутнил, что вернется доктором наук и что его дети непременно будут академиками. Видимо, он близок к цели. Прошлой осенью здесь, в Пенджикенте, видел его жену Галю, привозила к деду своих близнецов-сорванцов Лолу и Саиду. А у молодого отца все новые и новые увлечения, конечно, помимо физики. В последнее время, говорят, — французская культура. Метод освоения у него такой: сразу изучает литературу, музыку и живопись. Я дважды давался его способности читать, бегать по музеям, копить и слушать пластинки...

— Пушкин идет, — поднимается мать.

Это сына Хандара «Пушкинским» зовут — за кудрявые каштановые волосы. Работает в геологоразведке и учится заочно в Ленинградском горном институте. Был, оказывается, тамадой на банкете, когда защищалась Абдурахман, — это мне успели рассказать, пока он пришел...

Улица начинается прямо за калиткой, и она — как бы окно в мир.

— Сосед! Ей-богу, не знал, что вы приехали. Вчера было собрание, — встретил меня у калитки Вали.

Вали — это дядя Володя Грицай. Он один из первых агрономов, приехавших в Пенджикент в тридцатые годы. Совсем был мальчишкой. Но и старикам приходилось прислушиваться к его советам. И всегда он был прав. Потому его и прозвали «вали» — «провидец». Говорят по-таджикски, как все вокруг.

Вообще, городок наш отличается многоязычием. Одно время на отделении иранской филологии восточного факультета Ленинградского университета сразу учились три пенджикента, а на отделении было всего-то пять человек. Как-то даже в центральной печи прошла информация, что пенджикентцы владеют четырьмя-пятью языками.

Исрофаил, например, окончил Иняз, работал секретарем горкома комсомола, сейчас он возглавляет отделение «Интуриста». Итак, есть у нас и свои «полиглоты», Исрофаил.

О достопримечательностях района он может говорить часами. Если вы располагаете временем, повезет



Калитка настежь. Заходят соседи. Ближние и дальние. Каждый с собой обязательно что-нибудь да привозит: традиция.

— Что пили, что ели — ваше, а нам расскажите, что видели, — говорит дядя Расулов.

Дядя Расулов — старейший педагог нашего города. Еще наших родителей учили в ликбезах. И куда его ни направляли, всегда начинал с того, что хлопотал о строительстве школы. Приедешь в кишлак, скажут: «Вот школа Расулова». Только недавно он вышел на пенсию. Любит и умеет красиво мастерить из дерева.

Когда мы были маленькими, вечерами он увлекал нас решением головоломок. Все его дети удивительно



вас к озерам. Семь красавиц, которым, по его словам, нет равных в мире. Одна и та же вода по ним течет, но в каждом озере переливается каким-нибудь цветом радуги. А легендарное озеро Искандеркуль? О многом может поведать вам Истрофил. А меня при встречах обязательно ругают:

— Не можешь двух слов написать о районе! Что швецарцы — и те восхищаются, заверяют, что Зеравшанская долина — просто чудо света. Да ты не скучи. Дело это полезное, чтобы люди больше ездили друг к другу, больше будет взаимопонимания и уважения...

Что ни дом на улице — целая история. Вот тут на скамейке любил сидеть отец Истрофил, Ка-рим. Добрый был старик. Чабансскую жизнь знал и красиво о ней рассказывал. Летом выезжал высоко в горы и брал нас с собой. И в городе не расставался с посохом.

А это скамейка дяди Мирзохыха. В последние годы он плохо видел, но мы никогда не обходили его стороною. Обязательно подходили и здоровались. Было стыдно, если в дневнике двойка, но признавались. Ведь не с кем-нибудь говоришь, а с ветераном партии, с человеком, который боролся за установление Советской власти в Зеравшанской долине.

...А орешник недавно вырубили. Оказывается, совсем он состарился. В его тени когда-то выступал знаменитый наш уличный театр. Во времена вечерней дойки коров жизнь на улице замирала, чтобы потом разом наполнить всю улицу. Чаще летом и разыгрывались спектакли. Режиссером- заводией был Бакаджон Клямов, сейчас он председатель райпотребкоопа. В войну и матери ходили смотреть детский самодеятельный театр, где каждый спектакль кончался победой «красных» над длинноухим ослом Гитлером. И настоящий театр в городе был до войны. В войну распался.

Сейчас в городе новый театр. Национальный. Известен не только в республике. На спектакли, как и прежде, ходят семьи, и, как и прежде, неистовые зрители и члены их семейки и советы артистам, как поступить в тех или иных случаях.

На улицах в театр теперь не играют: тесно. Канули в прошлое дни, когда основным транспортом было ишаки. На ишаках почти все колхозники привозили в «Заготзернов» урожай, везли и на верблюдов. Теперь по улицам и даже переулкам движутся огромные потоки машин и мотоциклов. Кругом теснится дома.

Достраивается стадион. А был здесь пустырь, днем паслись козы, вечерами гоняли в футбол. Теперь ровное поле, трибуны и есть зимний зал. Выстроили его комсомольцы. Сами формовали кирпичи, сами клади стены. В городе не первый год действует детская спортивная школа, не то что при нас: каждый сам себе был тренером. Работает детская музыкальная школа. В домах стало много музыкальных инструментов. А у самого Зеравшана городская молодежь соорудила громадное озеро с лодочной станцией. Рядом сохранилась и работает древняя мельница. Тут же, у озера, в небольшом скверике, «красные следопыты» поставили памятник в честь воинов-пенджикентцев.

Влечет человека к земле, как к матери. На ум приходят строки: «Вышли мы из праха. И тучей праха по ветру уплыли». Да. Омар Хайям. Многие его четверостишия пронизаны этой мыслью. Хайяма неспроста вспоминаю, сегодня встречался со своим учителем Шафе Шарипловым.

Собрался к нему с утра. По дороге меня остановил Бурибой Икубов, мой школьный товарищ.

— Попали в контору, — сказал он. — Все равно сейчас дядю Шафе не найдены. Может, он в пойме Зеравшича, а может, и на холмах.

— Неужели еще ездят?

— А ты думал! Мы на машине, он на коне. Но за них не уткнешься.

Надо же, ведь скоро ему восемьдесят... В конторе застали младшего сына дяди Шафе — агронома Зиебоя. Старшие его братья: Бозор — шофер, Бомулло — учитель. Зиебой смеется, что никак не может по утрам встать раньше отца. Ребята шутят, что дядя Шафе с годами молодеет.

Я говорю «ребята». Школьная привычка. А ведь здесь собралось почти все колхозное руководство и ведущие его специалисты. Нет только Муталиба Бобеева, главного инженера, учится на курсах повышения квалификации. Замещает его Бурибой.

Младшим среди вас, когда мы работали в колхозе, был Абдурахим Яхъев. Теперь его зовут «большой агроном». Недавно его вновь избрали секретарем комитета комсомола.

— Так что я и сейчас самый молодой, — улыбается он. А в телефонную трубку сердито и громко: — Да, я рисковать не хочу. Доставайте, какой заказывали!..

(«Сельхозтехника» завезла не те гербициды.)

— Будем полоть вручную, — иронизирует кто-то.

— Погорода приведешь, и то не справится, — говорит Хабибулло Хамидов. — Себестоимость подсчитал так, что плов будет не по зубам.

Хабибулло всегда считал любил. Мы пололи, косили рис, а он ходил за нами с огромным треугольником и обмерял, кто сколько сделал. Сбить его со счета было нелегко. Он человек редкого спокойствия. Раньше я думал, это оттого, что он вечерами еще и сапожничал, подрабатывал. А учился он постоянно. Но только заочно.

— Думаешь, теперь не учится? — с умешкой говорит Умры Бобомуров, бессменный правый полузаводчик нашей футбольной команды. — Зачоно-то, заочно, а гляди — в академики его изберут. Теперь вечерами диссертацию пишет...

Хабибулло не обижается. Даже наоборот, видно, ему приятно, улыбается. Пусть заочно, но хорошо защищил дипломную работу — его рекомендовали в аспирантуру. Спросил, можно ли заочно. Пожалуйста. Вот и стал аспирантом, а работает бухгалтером. Справшивает у меня, сколько я получал в колхозе. Будто сам не знает, что на трудодень давали один килограмм риса, два — пшеницы, копеечные 30 денег, в новых это три коненки.

— Сейчас за дневной заработок на базаре купишь два пуда пшеницы, выдал, как выросли с тех пор, — крутит ручку арифметометра Хабибулло.

В колхозники я попал не из-за трех килограммов зерна, хотя и в них в семье была нужда. Отец захотел, чтобы я походил в учениках дядя Шафе. Они были друзьями с тех пор, как в начале тридцатых годов организовалась колхоз «Красные ворота».

В то время дядю Шафе звали Шафе-луччик — что значит «голый Шафе», до того он был беден. А когда отец привел меня к нему, в нашем районе не было человека, прославленнее Шафе Шарипова. Он не стал выяснять, почему я бросил техникум и не жалю больше учиться. Для коня и арбуз, показал, как запрягать, и я выехал по ближней дороге, вернее, бездорожью, на холмы и тут же перевернулся арбуз.

Мне говорили, что и самолеты имеют свои маршруты. Не пренебрегай старыми дорогами, — только и сказал бригадир.

Дядя Шафе был необычный бригадир. Работал — любо смотреть и стыдно делать что-то в посилы. Но как-то я (был канун Октябрьских праздников) вместо того, чтобы молотить рис, сидел дома и примерял обновки. И что же?

— Значит, наша бригада не пойдет на демонстрацию, — прискакал на коне дядя Шафе.

В полночь шестого ноября мы отвезли последние мешки зерна в заготкуптик. А наутро — это было самым радостным моей праздник! На шестах связки лука, свечки, снопы пшеницы, ячменя, риса — все, чем богат наш колхоз имени Карла Маркса. С трибуны говорят о нашем бригаде — опять заняли первое место по району.

Через год бригадир стал наставником, чтобы ехал я учиться. Опускал пораньше с работы, и я шел к своей школьной учительнице Регине Владиславовне Канковой. Как бы она ни была занята, находила время для меня. Я никогда думал: с чего это люди, которым ты передаешь, пекутся о тебе? Бог и дядя Шафе: чуть ли не каждый специалист в колхозе называет его своим учителем.

— Поряжены дети — портится народ, — говорит дядя Шафе. Сидим мы с ним у поля, рядом пасется его конь — Вы станете лучше, и моим детям будет хорошо. А потом, я вам скажу, кто много учится, тот

больше любит землю, понимает ее. Земля — главный наш друг, беречь ее надо, как мать, тогда знать горя не будешь...

В правлении колхоза рассказывали: пришел паренек после десятого класса на работу, привели его к Шафе Шарипову, паренек взмыл и спросил:

— Чего вам не хватает? Герой Социалистического Труда. Получаете приличную пенсию. Отдыхать вам надо.

— Вот и отдохнешь, — засмеялся наш бригадир.

Я ему напомнил эту историю. Он удивился и сказал:

— Сидят наши старики, нет-нет да угнетают себя разговорами. — И вдруг озорно: — Как там у Хаяма, «прахом по ветру», кажется?! Когда работашь, хорошие мысли приходят. Меня, знаете, больше всего что обрадовало в докладе товарища Брежнева на съезде? О привлечении пенсионеров к активной работе. Что пенсия дает, — хорошо. Но без труда человеку какая радость, какой отдых! Раньше у старишек только дети думали. И то, если правильно их вырасти. Я вот что заметил: беззаботные родители и беззаботные дети добры не видят. И вот что я скажу: мудрости мы должны учиться у партии. Смотрите, сколько внимания к детям, к матери, к старикам...

Нет, не изменился дядя Шафе. Ни в работе, ни в словах. Мне здорово повезло, что работал рядом с ним, учился и учусь у него. И, как многие мои школьные товарищи, могу с гордостью сказать:

— Наставником моим был и остался дядя Шафе...

II оследний вечер. Опять дом полон гостей. Каждый считает нужным сказать доброе в напутствие. Поздно. Все уходят, по привычке кладут голову на колени матери. Она оставляет шапку и вежливо теребит мои волосы. Укоряет за восхищение старыми обычаями.

— Что, думаешь, от времен твоего деда осталось они? Нет, сынок. В старые времена разве дали бы мне так спокойно жить? Было так: умер муж — пустят по миру, мечеть возьмет свою долю, эмирская казна — свою, остальные растащат разбойники. Некоторые из-за этого отдавали к нам своих детей, чтобы не подвергаться грабежу.

Оказывается, бедной нашей бабушке были шанки: не хотела отдавать последнего ковра. Это уж при Советской власти люди стали добры друг к другу...

Успул на коленях матери. Проснулся, слеза ее упала на мое лицо.

— Поседел, — утирает она глаза и спрашивает: — Трудно приходится?

Да нет. Ведь и в народе говорят: «Вы счастливый человек», — если узнают, что у вас есть мать. Здесь, в ее неказистых комнагушках, в саду, заложенным отцом и так оберегаемом им, каким бы усталым я ни был, нахожу успокоение и силу. Наверное, каждому полезно время от времени возвращаться к своему детству, радостное или горестное оно было, все равно, — чтобы в жизнь нести здоровое.



АДА ЛЕВИНА

КОЙКА В УГЛУ

Рисунки Б. СОПИНА.

братный адрес на конверте был такой: «Улица 9 мая, дом № 17. Женское общежитие № 3. Шустровой Томе».

«Можно ли называть наше общежитие молодежным, если в нем еще живут отдельные люди, которым по сорок и даже больше лет? — возмущалась Тома. — Если б их всех выселили, освободилось бы много места, можно было бы организовать комнату для учащихся или комнату для телевизора, как в 15-м общежитии, а то, если в краине уголке лекция, то телевизор смотреть нельзя. Ждем вашей помощи. Приезжайте и посодействуйте. От имени всех проживающих предбытсовета Тома Шустрова. Наш адрес...»

Я еще раз внимательно перечла адрес. Что-то меня в нем встревожило...

...Улица 9 мая оказалась в при заводском поселке. Она начиналась прямо в заводских проходных, от площади, в центре которой на высоком постаменте стоял танк — памятник всем танкам, что ушли из ворот завода на войну.

Женщина в трамвае сказала так:

— 9 мая — улица? От танка начинается. После войны первую ее строили. Так и называли. А вам какой дом — 17? Общежитие, что ли? Хотя там все почти общежития.

У подъезда дома № 17 на лавочке в зеленом палисаднике сидели три пожилые женщины. Я поискала глазами детишек — обычно такие бабушки всегда усаживаются побеседовать, пока внучки возятся поблизости. Но малышей не было видно. Ну что ж, вечер ясный, вот и пришли посидеть в затинье женщины из какого-нибудь соседнего дома. Но едва я вступила на крыльце общежития, как одна из них окликнула меня: «Вы, гражданка, к кому?» Я объяснила, что мне было надо Тому Шустрову.

— А бывшесотку, сейчас позову.

В глубине коридора что-то кликнулось, аукинулось, и вот перед мной стояла Тома — в халатике, худенькая, черненькая, волосы на затылке перехвачены крупной заколкой.

— Приехали? Здорово! А девчонки сноряли: никто, мол, не придет, пиши — не пиши, бесполезно. Ну, идите в комнату. Самы посмотрите.

Комната была метров шестнадцать, с одним окном. По углам кровати, посередине стол — словом, похожа на тысячи других комнат в других общежитиях. Разве что вместо стандартных пинейких одеял, на которых комендант норовит обычно поставить печать по скобу, а на самом видном месте, на конках пестротканые покрывала. Но одна койка — в углу — была под этим самым казенным одеялом, правда, чистеньким, накрахмаленным. И почему-то именно над этой койкой висела огромная, чуть не в полстены, картина — морской пейзаж.

— У нас кто живет? — торопливо выкладывала между тем Тома. — Молодежь, девчата с 52—53 года и вот еще человек 20, бабок этих, ну, в общем, тех, которые еще с после войны тут живут, и никак не можем выселять. Вы представляете, имуж под пятьдесят лет некоторым, двое уже на пенсии: литеинка-то с 45 на пенсию идет. Ну, какое они имеют к нам, молодежи, отношение? Никакого! Никто не учится. У некоторых — вообще по 4 класса. Сами малограмотные, а гуда же лезут — воспитывать. Парни в гости придут — они ворчат, из кино вернемся поздно — посмеяться нельзя. В их вот комнате, — Тома кивнула в сторону коричневоглазон полной блондинки, — в Таниной, живет одна, тетя

Лиза звать. До сих пор «гардион» говорит и «кажется», а туда же — наряды шьет и все вешает.

— У нас в шкафу, — вступила коричневоглазая Таня — пафталином все пропахло! Пойдешь на танцы, паденешь новое платье, уж духами обливаяешься, а все равно пахнет — парни смеются. А становишься говорить: «Ну зачем вы это все храните?» «А куда ж деться?» «Да выбросьте. Такое никто теперь не носит». А она: «Не ты наживала — не тебе и бросать...» На лучшую комнату конкурс был. К нам комиссия приходит, а наша Лиза в комнате в валенках сидит — и не зина причем. Ноги, говорит, ломит. Ну к врачу пошла бы. А то лечение — валенки надела. Так и записали нам последнее место: «В помещении ходят в уличной обуви». Мы стали Лизе выговаривать, а у нее на все один ответ: «В войну ишо не так ходили».

— Она и в цехе так, — сказала стриженная полная брюнетка Оля. — Я ж с ней вместе в литечке работала. Конвойер сломался. Надо чинить. Мы говорим: «Пока не начните, мы на себе стержни на сушку не потасцим». Чините». А Лиза: «В войну никакого конвойера не было, цельны сутки таскали, а тут — час». У них и разговору другого нет, только: «Войну!» А вина-то давно было. Уж мы после нее родились.

— Это точно! — Тома обвела взглядом девушки. — У нас же теперь совершенно другой народ живет — из техники многие, из училища.

Мы хотели, чтоб у нас и в комнате современно было — паласы купили, подсвечники. А Демидовна — ну, вот на этой койке живет. — Тома указала на белую койку, над которой висела картина, — весь интерьер портят. У нее же здесь целый иконостас. Говорили: «Спрячьте куда-нибудь». «Нет, не сниму» — и все тут. Это мы, пока она уехала, замаскировали. — Тома показала на морской пейзаж, висевший над белой койкой. — А вы поглядите, что там делается!

С этими словами она подошла к койке и приподняла картину за уголок. За картиной и вправду оказалось: десятка два фотографий. Собственно, в центре была одна фотография — большеглазое, скучающее, крупное молодое женское лицо. Фотографию эту, видно, делали в райбыткомбинате лет 20 назад, потому что белое поле ее было разрисовано нелепыми розовыми и голубыми цветами. Но теперь цветочки выгорели и были не так заметны. А главное, фотография была не сама по себе — за ее прочную

— Откуда здесь эта фотография?

— Демидовна говорит, плывала на их теплоходе иностранки, чуть не из Аргентины. Может, так, а может, и нет. Ее послушаешь — такое рассказывает!

— Этю Демидовну зовут тетя Катя?

— Да. А ее ее знает — удивились девочки.

Стетей Катей я познакомилась летом на теплоходе «Илья Муромец».

Это был, наверное, самый удивительный корабль на свете. Он являл собою как бы кропечную модель земного шара, только почему-то на ее раз заселенного почти одними женщинами. Делегаты Всемирного женского конгресса совершали путешествие по Волге. И самое, казалось бы, простое — наладить их жизнь на этом корабле — накормить и напоить их — было легким делом.

Переводчицы и руководительницы группы сбились с ног, стараясь поспеть всюду. Офицантки и коридорные дежурные пытались объясняться с гостями языками. То и дело возникали всякие недоразумения. Пожалуй, только одна дежурная второй палубы, тетя Катя, как называли ее все, каким-то непонятным образом умудрялась одинаково успешно объясняться со всеми. Конечно же, тетя Катя не знала ни одного из иностранных языков, на которых толковали вокруг нее. Но не прошло и трех суток, как она умудрилась одинаково успешно объясняться со всеми.

Вот, скажем, индianки собирались гладить и несли сложенные стопкой полотнища своих сарон к тому уголку внутренней палубы, где на гладильных досках стояли утюги. Видимо, когда теплоход отправлялся в обычный рейс, на нем было самообслуживание. «Айронинг, айронинг!» — шумели они и искали беленькую переводчицу Свету, чтобы выяснить, как здесь включается утюг. Но Светы в этот час нигде не было. И тут подохдила тетя Катя.

— Не волнуйтесь, милье. Сейчас все сделаем. Будете айронинг. А как же, она хоть и не сшила, а все же юбка. А в гостях негоже мятными ходить.

Она включала утюги, слюнявила толстый, мускулистый палец и прищеплевала блестящую поверхность утюга, словно малого ребенка для острастки.

— Готов, можно айронинг.

Особую, можно сказать, материнскую заботу проявляла тетя Катя об африканках. Правда, в первые дни, казалось, она как-то пугалась их... Но скоро привыкла к африканкам, и уже не были они для нее все на одно лицо. По костюмам, по тому, с какой переводчицей ходила, она отыскала уже кинек от анголезок, отлипла и Колетт, что с Мадагаскара, от Марии из Замбии. Хотя, наверное, не очень-то представляла, где этот Мадагаскар.

Она озабоченно поглядывала на африканок, когда те усаживались вечером на палубу, где должен был демонстрироваться фильм: «Вечер-то холмовый какой! Сроду такого июля на Волге не было. Не дай бог, простынут гости наши». И вдруг, внимательно поглядев на теплые накидки-пончики аргентинок и мексиканок, всплеснув руками, убежала куда-то. Вернулась, неся в руках целую гору теплых одеял, сложила на краине стуле горкой и, беря по одному, привязала разносить их африканкам.

— И вы сейчас у меня будете в «пончиках»!

Фильм вот-вот должен был начаться. Белый луч прожектора уже нащупывал экран, и тетя Катя со своими одеялами, высвеченная этим лучом, проецировалась на белом экране большерукой, заботливой птицей.

Особенно подружилась тетя Катя с Луисой де Коcак, немолодой аргентинской крестьянкой. Фамилию



деревянную рамку было вставлено множество других. Внизу — слева — увеличенная карточка молодого, наголо стриженого парнишки в довенской форме с петлицами, дальше шла карточка поменьше — какие-то детишки, девушки, пареньки и опять стриженый солдатик — теперь уж в новой форме. Тома подняла руку повыше, и тут я увидела еще одну, незаметную до сих пор фотографию и прямо таки остолбенела от удивления.

де Косак висила она не зря: там, в аргентинском Чако у самых Кордильер, умудрилась она выйти замуж за русского казака, один бог знает как попавшего в эти края. У них был сын Педро де Косак — русоволосый, так по крайней мере казалось на фото, аргентинец 10 лет, которого с огромным трудом удалось собрать в школу, потому что не на что было купить тетради и форму.

Луиса была активисткой женской организации, помогала женщинам-батрачкам, учila их тому немногому, что знала сама. Когда стало известно, что именно ее посыпают на конгресс — а ехать ей было не в чем, — Луиса снаряжалась вся деревня. Каждая женщина несла самое лучшее, самое нарядное, самое новое, что было у нее: кто кофточку, кто юбку, кто жакет... Рассказывала об этом, Луиса не стеснялась, а, наоборот, любовно дотрагивалась до частей своей одежды и называла женские испанские имена: «Ирма», «Люсия», «Малисса» — словно они участвовали в нашем разговоре. Только одна вещь была у Луисы своя — почно. Она выткада его сама из деревенской простой шерсти.

Однажды я застала на палубе Луису и тетю Катю, склонившихся над русским букварем, который подарили аргентинцам утром в школе. Тетя Катя тыкала пальцем в большое, на полстраницы, «М» и произносила, скваж губы, с улыбкой: «М, М, Мама».

— М-М-М, — мягко повторяла за ней Луиса, и они обе довольно смеялись.

А потом Луиса вдруг заметила такое же «М» на тети Катиной косынке. Тетя Катя сняла косынку с головы, встрихнула, и они стали рассматривать ее узоры — видели Москву, пейзажи.

— Мавзолей, Кремль, Пушкин, береза, — показывала тетя Катя пальцем, а Луиса повторяла за нею, сияясь выговарить стол трудные для нее сочетания:

— Мафсолей, Кремлии, Пушкин, береса...

...В день, когда гости уезжали — сначала в Москву, а оттуда — в свои далекие страны, на корабле было особенно шумно. Тетя Катя появилась на палубе к вечеру со свертком в руках. В пестрой толчее гостей она сразу отыскала Луису.

— Тебе, — сказала она, развернув свой пакет, и надела Луисе поверх почно косынку, наверное, самую дорогую, какая нашлась в местном университете — капюшоновую, раскрашенную ярким орнаментом...

Но Луиса, казалось, не была довольна подарком. Она неуверенно и просительно дотронулась до косынки, которой была повязана тетя Катя.

— Береса...

— А! — догадалась тетя Катя. — И я тебе такую купить хотела, со значением. Да нет их нынче, не торгуют. А старую как дарить? Негоже вроде, пошешная она. — И тетя Катя показала на потрепанный, с выбившимися черными ниточками уголок. Но Луиса объяснила знаками, что, мол, это неважко. И тогда тетя Катя сняла с головы свой платочек, отряхнула его, расправила и повязала на шею Луисе, поверх почно. Луиса засияла. И вдруг каким-то быстрым движением скинула свой красивый шерстяной почно и накинула его через голову на плечи тете Кате. Экспансивные африканки били в ладони, смеялись, сдерганные индianки расправляли на ней складки. Словом, все, кому за эти дни тетя Катя успела помочь, просто улыбнувшись вовремя, спешили теперь как бы отблагодарить ее.

Кажется, только тут я поняла, какой кадр получился, и побежала в каюту за фотоаппаратом. И Луиса и тетя Катя — обе очень обрадовались. Луиса в своей косынке и тетя Катя в почно поверх форменного пиджака с морскими пуговицами.



— Так ты карточку пришлешь ли? — все спрашивала меня тетя Катя.

Я пообещала, что пришлю, и она принесла мне листочек с адресом.

...И вот теперь эта фотография была передо мной, прикрепленная к рамке той, другой, большой фотографии, на которой, если вглядеться, можно было, несмотря на регулярные художества, узнать тети Катину, только совсем еще молодое лицо. Я хотела было сказать девочкам, что я знаю их тетю Катю, это моя снимок, но вдруг до меня дошел вкрадчивый, чутк картавящий голосок Томы: «Эта тетя Катя уже на заводе-то не работает», — и я вспомнила, зачем, собственно, я здесь.

А Тома продолжала: «Она как вышла на пенсию, литеийницы-то в 45 на пенсию идут, так в пароходстве устроилась. А ведь у пароходства свое общежитие есть, она ведь теперь с заводом не связана...»

— Да кто ее выселил! — подала голос беленькая коричневоголовая Таня. — Она ж 25 лет отработала; кто 25 лет, тех не выселяют.

— Ну, ладно, тетя Катя еще ничего, — продолжала Тома, когда мы уж вышли из их комнаты и осматривали другие. — Ее хотят полгода нету. А уж подруга ее Лиза — «сotый насél» — это ужас.

В это время в комнагу поступали. «Эй, девчата! Вы не забыли, что в ДК вечер поэзии? Опоздаете! Мы пошли!»

— Ой, — заторопилась Тома, — вы уж нас извините! Пропускать никак не хочется. Поэты выступают и артисты из области. Может, и вы с вами пойдете?

Я отказалась и объявила, что хочу поговорить с теми, кто не идет.

— Так ведь одна Лиза — «сotый насél» остается.

— Вот с ней-то мне бы и поговорить. Кстати, почему вы ее так странно прозвали — «сotый насél»?

— Это не мы ее, это она на нас так ворчит. А почему, — сама расскажет. Вон она на лавочке у входа сидит, как сторож какой. — И девушки убежали.

Я вышла на крыльцо и огляделась. Лиза сидела все на той же лавочке. Теперь уже одна. «В вечорку ушли», — объявила она коротко, когда я спросила, куда делись ее товарки. Я присела рядом. Лиза отвечала односложно. Но когда я ей сказала, что плывала вместе с тетей Катей на «Муромце», у Лизы сразу словно бы какой-то узел внутри развязался. И в ответ на мое недоумение: «Почему же тетя Катя ничего мне не сказала, что живет в общежитии?» — Лиза заговорила:

— Она скажет, жди! Ни в жисть! Никогда ничего не спросит, и все ей хороши. А меня почему «сотый наслѣдъ», говоришь, зовут? А какая же еще? Двадцать лет в этом общежитии живем — за двадцать лет вокруг нас сколько народа сменилось? Эти, атtestаточки, и есть суть наслѣда. Но давай я тебе все по порядку расскажу. Мы же с Катей с одного села. В войну на лесозаготовки нас посыпали, а потом сюда приехали — на завод. Раньше-то завод здесь маленький был, так, мастерские. А в 41-м с Украиной огромный завод эвакуировался, и все эшелоны сюда. Ну, нас с Катей сразу в литеизу поставили на стержни. Для траков стержни-то. Знаешь траки? Ну, из гусеница собирается, на которой танк ходит (как же, — вспомнила я, — траки, ведь отсюда и самый трактор — он же тоже на гусеничном ходу) — на каждый трак четыре стержни, а на танк этих траков сотни две, не менее. Вот и считай. Это сейчас нам лишили поставили, транспортер, а тогда, в войну, ничегошеньки не было. Тридцать стержней сделались — на сушку оттащишь и опять за землю. Вся механизация была — стержнёвница! — Лиза выговаривала это слово по-особому, с неопытным удивлением на второй слог, и от этого казалось, что где-то внутри него спрятано и откликается, как эхо, другое слово — «женщины», хотя внешне оно ничем не было связано с первым.

Вечером придишь в барак, — продолжала Лиза, — на койку повалившись, глаза закроешь, а перед тобой все стержни, все стержни. В бараке у нас двадцать девять жили в комнате. Барак холодный был, ужас. Каркасно-щитовой назывался. А мы его звали «каркасно-щелевой». С вечера натонишь — утром все выдуло. Сейчас-то уже нет его: снесли. После войны не сразу, правда. А нас — сюда. Как первое каменное общежитие встроили — нам дали. Как же, бригада Демидовой, громы было, лучшая стержнёвница (и опять где-то эхом отозвалось в этом слове другое). Грамот почетных сколь у Катя! Сначала на стекну все копнила, а теперь и не знаю, где они у неё.

Первый наш наслѣдъ был дружный. Девки все почти одногодки. До сих пор своим считаются. В гости ходим. Ну, потом стали девки взамуж выходить. А нам новых подселили — считай, уж второй наслѣдъ, потом третий, а там и пошло и пошло.

А Катя — она все Федя своего ждала. Передвойной в армии его проводила. На границе службы, на западной. А до этого в хоре колхозном вместе пели, даже на выставку в Москву ездили, на сельскохозяйственную. А в войну пропал — и нету. А она все ждала, думала, обливаясь... Был один парень, сватался, она — только отказалась. Жду, говорит, Федю.

Ждала она, Катя, ждала, а потом, глядишь — годы выпили. А ко мне и не ходил никто. Невидная я была, на гапки пойти — падеть нечего, уж теперь нашила — да без толку. И мало мужиков воротилось-то, мало. Вот и остались мы в общежитии.

Комната-то только семейным дают, на двоих, на троих, а на одну — где уж. Правда, Катя, не скажи, давали один раз. Тогда в 54 м первым дом заводской сдали, и ей комната 15 метров на одну. В заводе объявили: мол, Демидовой как лучшей стержнёвнице! А в ту весну Паня наша, аккурат, родила. Жить-то ей с мужем нетега. Она в нашем общежитии, он в мужском, знал, друг к другу бегают. Катя тогда и говорит: «Давайте эти комната Пане. Я еще потерплю чуточку». А как стали следующими дом сдавать — это дело и забылось. Дома сдают, а мы, послевоенные проживающие, все здесь. Но общежитие — это в молодоме года хорошо, а как к сорокам делу, все на людях да на людях — тяжело. Конечно, Катя ко всем пропорвится. «Вы идите, деноночи, я уберусь». Да как к девочкам придет кто — из дома меня утягивает: «Пойдем,

Лиза, пройдемся». А чего мне проходитьсь? Мне и на своей койке хорошо. Да, вишь, что что выдумала — на пароход идти. Тут как-то раз «Муромец» к нам в затон пришел на ремонт, и встретила она Веру, ввойну еще у нас в цехе работала, а теперь на «Илье» дневальной. Она ей и говорит: «Давай, Катя, переходи к нам! Погоды плаваем. Каюта на двоих, хорошо. Жалеть не будешь». Денег, конечно, поменьше. А зачем она ей? Первые-то года Катя все матери в деревне посыпала, за ней-то еще трое меньших, поднять девок надо было. Потом всем племянникам на гостицы собирали. А теперь уж и племянники-то вымыкали. Один армии отслужил, другой служит. Самы спрашиваются. И пошла Катя на корабль. Все, говорят, в общежитии девчата свободнее будет. А как навигация-то кончается — она в отпуск едет в деревню, к своим. Она и сейчас там. Отпуск-то у нее длинный. В общежитии всегда месяца четыре в бытность, зимует, койку-то не отобрали пока: я приглядываю.

Раньше-то мы с Катей и вовсе в одной комнате жили. А как ушла она на пароход, я в другую перебралась — вроде там девки потише, попроще. А то с этиими, с Томой да с Таней, и вовсе житья нет. Я уж было наладилась денную смену на вечернюю менять — охотницы на это всегда есть. И хорошо стало. Насёл мой на смене — я дома, насёл, со смены — меня уж нет. Утром проснусь — никого. Хорошо. Да долго-то так нельзя смены менять. Бригада ворожает. Выработка-то у нас от бригады идет. А комнату не дают. Уж я к зам. директору нашему Лукьянину сколько раз на прием ходила по личным вопросам! А у него один разговор: «Вы несемейная. Глядите, семейных очередников сколько! Молодые специалисты приезжают — им давать надо в первую очередь. И инвалидам Отечественной войны — тоже. Закон есть!»

А на меня, говорю, что ж, никакого закона нету?.. Может, я тоже войной покалеченная, только без документа. И еще как-никак 25 лет отработала! А он свое: «Одиночкам еще не имеем возможности. Если бы вы, Сидоренко, были семейная». Задала одно — семейная, семейная... А где я ее возьму, семейностью-то? Может, моя семейность под Берлином лежит...»

Из общежития я пошла пешком, по улице 9 Мая. Мимо одинаковых домов-общежитий, туда, где в синеющем легком сумраке, словно на экране, с каждым шагом все ближе, все шире, все отчаяннее вырастал танк, ринувшийся в свою последнюю атаку. Я подошла совсем близко, так, что можно было пересчитать «траки» — и где-то внути отозвалось Азизинским голосом «стержнёвницы».

И вдруг площадь ожила, заговорила, занумела — в Доме культуры кончились «Вечер поэзии». Я увидела Тому и других девчушек из общежития. Бог и они заметили меня, подошли.

— Жалко, что вы не пошли с нами! Так интересно! — загорячилась Тома. — Такие стихи читали — и про любовь и про войну. Я даже запомнила: «О, одиночество погребенных героев!» Здорово, правда? А вы что здесь стоите — на наш танк смотрите? Это ко дню Победы сделали новый посагмент. У вас и Вечный огонь есть, как в Москве. Только не здесь, в поселке, а в городе, на Центральной площади. Мы в День Победы всегда туда ходим пешком. Целой компанией. А в этот раз... — Она хотела, видно, что-то сказать, но только машина рукой.

— А что случилось в этот раз? — спросила я.

— Да опять бабки наши! Весь праздник испортили. Представляете, решили мы вечеринку устроить у нас в комнате. Ну, конечно, в складчину, собрали



по пять рублей. Магнитофон ребята притащили, плёнки хорошие. А бабок куда? Все-таки праздник, а им вроде деваться некуда. Ну, позвали мы нашу тетю Катю — она и готовить все помогала, она хорошо готовит, а она просит: «И Лизу позовите». Аладин, думаем, посыдят и уйдут. Выпили все за день Победы, ребята гитару привнесли, хотели по петь — ну, свои песни, какие в турпоходах пели. И вдруг, можете представить, наши бабки сами заспели. И все допотопное. Какой-то там «Вася-Васильчик», «На позицию девушка». И поют и поют, а потом еще «Катюш» затянули. Со всем общежития сбежались — двери открывают, смеются. Мол, поддали бабки. А они и не пьяные. Нет, просто поют, и все тут. «Выходила на берег Катюша-а-а!» Какая уж тут гитара! Так вот и испортили весь праздник. Пришлось на танцы в ДК идти, а то перед парнями неудобно — позвали, а тут такое. Динозавры...»

«Что-то со мной случилось. Я словно оглохла, осенела. Я не видела трамвай, в который впрыгнули девчонки, не слышала их прощального: «Так мы ждем». Словно последняя капля переполнила чашу этого горького дня, и вдруг явственно встала передо мной картина: тетя Катя в своем форме с пуговицами в салоне «Ильи Муромца» поет «Катюшу».

Было так. Сидели арабки после ужина в салоне, смотрели на медленный волжский закат. Неожиданно одна из них села за рояль и загряла что-то печальное. Другие стали подпевать. На песню заглянули девушки-выстrelы в военных гимнастёрках и брюках. Постоянно в дверях, послушали и остались. Когда песня кончилась, они заулыбались, захлопали ладони. Тогда арабки стали показывать выстrelы, что, мол, генеры их очередь петь. И маленькая Таня, никогда не снимавшая своей военной шапочки, — тоеныйкий, крепенкий солдатик, — вытянулась в рост и запела мяким, никак не вяжущимся с ее военной фуражкой голоском.

Но этот голос пришли инданки. Они хлопали выстrelами, а те стали показывать, что, мол, ждут их песни! И тогда Шахти, самая молодая и подвижная из инданок, вышла на середину и, склонив босоножки, не столько запела, сколько затанцевала босиком, привевая что-то гортаний, ритмичное.

Шахти хлопали долго. К этому времени в салоне уже было немало наших. И вдруг мы услышали, как на разных языках, но вполне отчетливо требуют: «Русскую, русскую песню...»

Ну, что же, — засмеялась высокая женщина с заводом, которая днем возила гостей в пионерский лагерь. — Только уж, пожалуйста, все подпевайте.

И мы запели. Сначала «Подмосковные вечера». Голоса у нас были не очень-то, но все же спели. Потом гости стали дружно просить «Катюшу». За несколько дней путешествия они успели полюбить именно эту песню. Почему? Может, потому, что женщины, с которыми они встречались на митингах, были уже немолоды, и они охотнее всего пели

эту песню, словно эхо молодых дней, когда они еще чаще пели, чем выступали. Но как только запели мы привычное «Расцветали яблони и груши...», я почувствовала: что-то необычное вилось в нашем песне. Незаметно подошел чей-то надежный голос и словно взял непосильный для нас груз на свои плечи и понес, понес. Я прослезила, откуда идет густой, сочный, сильный звук, и увидела: это была тетя Катя. Сложив руки на груди, она пела, глядя куда-то перед собой, за окна салона, на волжскую алу от заката воды. Пела, словно катила перед собой упорное, широкое, волжское «о». Даже само слово «Катюша», хотя в нем не было ни одного «о», высовывала она протяжно и окающее: «Котю-юш». Казалось, замолчи вдруг тетя Катя, исчезни из нашего хора ее сильный, надежный, опорный голос — и песня опустеет, разрушится. И, конечно же, не одна я заметила это. Заметили и другие. И, не сговариваясь, мы пели все приглушенное, все бережнее, как бы только помогая чуть-чуть подталкивать песню, которую вот именно «заводила» тетя Катя. На нее смотрели все, смотрели пораженно, словно впервые видели эту, казалось бы, уже такую знакомую им женщину в форменном платье с морскими пуговицами. А тетя Катя катила и катила свои «о». «Повоювали воинами ноюнд рекой!» Это было уже последний куплет. Переводчица Алла перевела шептать на ухо арабке Абаль: ведь для перевода на английский этот куплет не содержал ничего нового — опять «расцветали яблони и груши» и опять «ночными туманы над рекой». Но в этот миг, быть может, именно через тети Катину тяжелое, груженное жизнью «о» открылось мне вдруг, что «кругой берег» в конце песни совсем не тот, что в ее начале. Там это слово было наполнено надеждой, оно было преддверием, предисловием к чему-то главному, что вот-вот должно было начаться. А в последней строке, вроде бы точно из тех же пяти слов составленной, звучала уже совсем-совсем иное — раздумье о том, что берег-то этот и вправду кругой и не всячко дано будет одолеть его крутизну...»

Еще висело в воздухе густое, противное, тетя Катино «ооой», щемящий думой оседая в наших сердцах, когда вдруг раскрылась дверь салона и ее сменила, спустясь Веря, выкрикнула отрывисто: «Катюша! К помощнику! Срочно приказали!» И, словно захлопнув в себе недопетое «ооой», тетя Катя пошла к двери. Обычно быстрая, сейчас она шла тяжело, медленно; казалось, она несла на плечах что-то, чего никто не мог разглядеть. Может, песня заставила ее опнуться этим грузом? Тетя Катя вышла. Мы допели без нее. И потом, когда шумели аплодисменты, я слышала, как адвокатка Абаль, видимо, задаченная Веройным обращением, спрашивала Аллу: «Кто есть «Катюша»? Тетя Катя есть Катюша!» И Алла что-то толковала ей насчет уменьшительных суффиксов в русском языке.

Однако чего хотеть от чужестранки! Тенеря, стоя у танка — памятника на заводской площади того самого города, где жила тетя Катя, — я вспоминала все это и думала: «Да разве в одних суффиксах дело! Вот Тома, другие, они все суффиксы выучили — грамотные, не зря Азза зовет их «аттесточки». Но, оказывается, можно хорошо знать суффиксы и все равно не понимать, что послевоенная проживающая из общежития № 3 тетя Катя — это и есть «Катюша». Та самая, что «выходила на берег кругой».



ЛЕВ КОКИН

СУДЬБА ГЕОРГИЯ ЗАЙЦЕВА, ПЕРЕСТРОЕННАЯ ИМ САМИМ



В то время как профессора и академики, члены ученого совета звонили в суть представленных работ, поискатель ученой степени сидел возле телефона у себя дома, ожидая звонка по международной. От брата. Уговор был такой: брат тут же звонит домой, если будут вопросы, на которые он не сумеет ответить. Кандидат физико-математических наук А. А. Зайцев запицал работы, представляемые на соискание степени доктора наук кандидатом физико-математических наук Г. А. Зайцевым.

«Не дождавшись звонка, Георгий не выдержал, соединился с Москвой сам. «Все нормально», — уверили его. — Только голосования еще не было». А потом позвонил брат: «Поздравляю. Ни одного голоса против...»

Так кончилась вторая встреча братьев с Московским университетом. Двадцать три года отделяли ее от первой, когда брата приехали сдавать экзамены на физфак. Собственно, поступать собирался старший: только что кончил тогда школу, но поскольку был уже не вполне здоров, младший взялся сопровождать его. Конкурс был трудный — семь человек на место, но Георгия не это пугало. В свои возможности по части физики он верил. Подвел его физические возможности. Не под силу оказалось сдвинуть из общежития на факультет с Стромынки к Марксу (в сорок седьмом году университетского города на Ленинских горах еще не было). И в трамвай было трудно сесть, и на четвертый этаж не подняться, и перейти из одного учебного здания в другое за десятиминутную перемену не успевал... Месяца через полтора брат приехал за ним, и они вернулись домой, в Иваново. Георгий перевелся в педагогический институт.

А болезнь наступала. Прогрессировала, грозя неподвижностью. Неотвратимость ее наступления заключалась в самом названии. Прогрессивная мышечная дистрофия. С этим «прогрессом» медицина не умела бороться.

Мальчишкой, лет до пятнадцати, он, если и отливался от своих сверстников, то только пристрастием к чтению. Рос как все. Лазал по деревьям, катался на лыжах и на коньках, колол дрова. На худой мальчишеской спине все сильнее торчали лопатки, но дома это отнесли за счет книг. Вечно он горбился над ними. А это начали слабнуть плечевые мышцы. Потом пришла очередь мышц бедер. При ходьбе он стал падать, и вставать делалось все труднее. Он решил, что мышцы худеют от недостатка упражнений, и стал подолгу, утром и вечером, заниматься гимнастикой. Это была серьезная ошибка. Наконец, обратились к врачу, а те редкую болезнь распознали не сразу и сначала лечили не от того...

Половину студенческих своих лет он провел по больницам. После выписки из очередной клиники отлично сдавал экзамены — случалось, за два семестра кряду. Одному из однокашников запомнился разговор — на третьем, кажется, курсе. На тему, сколько надо работать. Кто-то сказал: шесть часов в день. Ну, всеми, — сказал другой. Гера Зайцев сказал: «всем — это минимум; надо — десять». Когда потом, без него, спор продолжили, тот, первый, сказал: а что ему еще делать?..

Острые на язык студенты-физики из Московского университета (не знаю, успел ли Зайцев за полтора

На снимке: Г. А. Зайцев.

своих университетских месяца постичь это) классифицируют себя так: а) теоретики, б) филоны, в) бледности. То, что Зайцев не был ни «филоном», ни «бледностью», едва ли требует доказательства.

Такова предыстория физика-теоретика Г. А. Зайцева. История начинается с аспирантуры.

Профессор Иван Николаевич Годлев в Ивановском химико-технологическом институте работал ровно столько, сколько старший Зайцев живет на свете. Аспирантуру у Годлева проходили — с разрывом в несколько лет — оба брата: по стопам старшего пошел младший, и оценку им он дает об-

щую.

— Мы мало с ними бумаги исписали. Подобная мера научной ценности — по количеству исписанной бумаги — для меня внове. Оказывается, беседуя с аспирантами, профессор как бы ведет протокол, записывает по ходу беседы, о чем шла речь. На каждого аспиранта своя конторская книга. В этих книгах вся история их работ. Чем самостоятельнее аспирант, тем быстрее работает, тем меньше на него уходит бумаги.

Иван Николаевич настолько привык к этим конспектам, что и при нашей беседе без записи обойтись не может. Он пишет на листке своеобразную формулу: $1-2$, — говорит:

— За то время, в какое не каждый аспирант укладывается со своей одной диссертацией, Георгий Александрович Зайцев успел подготовить две. Одну, по теме, — о внутреннем вращении молекул. Другую, по собственной инициативе, — о свойствах спираторов...

Выбирал он между физикой и математикой. Профессор (впоследствии академик) Анатолий Иванович Мальцев, читавший высшую алгебру, звал к себе, профессор Годлев — к себе. Зайцев предпочел физику, однако с алгебраистами связи не порывал, что и сказалось на направлении его работы. Направление это, в самом общем виде, называют математической физикой. Но занесло Георгия Зайцева на такие высоты, о каких в городе и поговорить было не с кем. Это вовсе не упрек его учителям и товарищам. Просто они занимались другими задачами.

...Трудно сказать, что определило выбор Зайцева — склад ли ума, или обстоятельства. Они, в сущности, не оставили ему выбора. Но начал он незаурядно, целой серией оригинальных, пионерских работ, опубликованных ведущими в стране «Журналом экспериментальной и теоретической физики». Одна из них позволила, например, посмотреть по-новому на классические уравнения Максвелла — на те самые, о совершенстве которых знаменитый физик-материалист Больцман в свое время сказал, что они начертаны рукой бога; применяв алгебраические методы, Зайцеву удалось их усовершенствовать.

О другой необычной работе двадцатипятилетнего ученого стоит сказать особо. Правда, она увидела свет лишь спустя почти три года после того, как была сделана, и за эти три года потеряла свою необычность. О калибре неоосуществленного открытия можно судить по Нобелевской премии, присужденной физику, совершившему его в действительности... Дело прошлое, пережитое... Работа Зайцева, вместо того, чтобы самой стать открытием или, во всяком случае, близко нему подойти, стала лишь его подтверждением. Возможно, именно в этом сказались гордование от коллег — в первую очередь от экспериментаторов. А может быть, это не так уж существенно — оторванность от коллег? Мечтал же Эйнштейн о месте смотрителя маяка. Но сколько десятков крупных физиков оперилось в «питомниках

гениев» — в школах Резерфорда и Бора, Иоффе и Ландшау.

Георгию Александровичу Зайцеву ни на одном физическом семинаре за пределами города Иванова бывать не пришлось, если не считать полутора месяцев на первом курсе в Московском университете; столичного физика он видел в глаза лишь однажды. Надо быть Эйнштейном, чтобы не нуждаться в такой среде.

Завтили диссертацию по аспирантской, уже не очень интересной ему теме, молодой кандидат наук, естественно, стремился в свою стихию. Никто в городе близкими проблемами не занимался, и Ивановский химико-технологический институт обратился в Академию наук с просьбой предоставить Г. А. Зайцеву работу в одном из академических учреждений — такую, разумеется, какую он мог бы выполнить в домашних условиях. Профессия это, в принципе, позволяла. Но в работе — несмотря на положительные отзывы одного академика о научных трудах Георгия Александровича — было ему отказано по двум причинам: из-за плохого состояния здоровья и отсутствия жилья/площади в Москве.

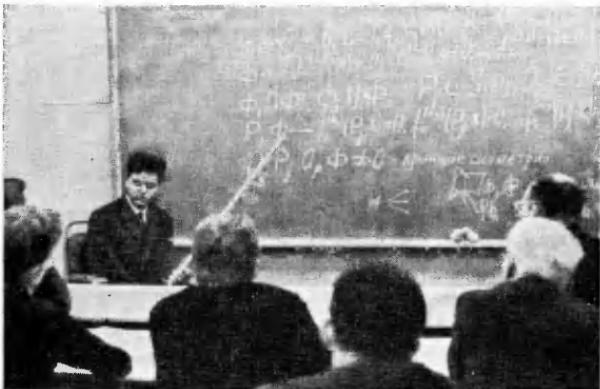
Так, едва успев заявить о себе, ученый вынужден был выйти на пенсию. Ему помогли, выхлопотали персональную. Он был благодарен за это, но прещающая в пенсионера никак не хотел. Ему помогли и тут. По рекомендации другого академика он получил возможность сотрудничать в журнале «Новые книги за рубежом» — обзорном издании издательства «Мир», а также в реферативных журналах по физике, химии, математике. Рецептировал, перевода.

Вот когда пригодилось знание языков. Английский он одолел еще в школе, еще до болезни. Не в классе — во время каникул. На пару со школьным товарищем, занимаясь часом по десять изо дня в день, не пропуская и воскресений. Оба стали заправскими «англичанами». В классе учили немецкий; французского Зайцев, также самостоятельно, выучился позднее.

У других были семинары, доклады, симпозиумы. У него взамен всего этого — чтение. Пристрастившись к книгам с детства, он смог теперь в полной мере удовлетворить свою давнюю страсть. И читал, читал, читал.

Двенадцать лет он провел в этой роли надомника. Единственный коллегой и собеседником был младший брат. Начало своим научным спорам они положили еще подростками. Десятиклассник Георгий по мере тогдашних своих возможностей растолковывал первокурснику техникуму Александру, что такая теория относительности, а тог изо всех, еще более слабых своих сил старался опровергнуть доводы брата. Эту позицию «авдоката дьявола» он сохранил и после того, как не без влияния брата бросил завод и окончил физико-математический факультет, а потом и аспирантуру. Таким образом, росла квалификация обоих спорщиков... И все эти годы Александр был первым читателем и первым критиком рецензий и статей Георгия.

Георгий Зайцев продолжал изыскания на границах физики с математикой. По его мнению, «назрела необходимость в глубокой перестройке ряда старых и новых теорий», «вытесняющих революционные преобразования, происшедшие в математическом мышлении со времени создания аппарата классических теорий...» Пора, писал он, «перейти на разработку более глубоких единий теорий уже не па геометрической (согласно идеям Эйнштейна). — А. К.), а на принципиально новой... алгебраической основе». Он даже



Идет научный семинар, руководимый Г. А. Зайцевым.

пользуется термином «алгебраическая физика» — не берусь судить о его правомерности, так же, впрочем, как и о том, насколько справедливы, или оригинальны, или плодотворны высказываемые Зайцевым взгляды. Поддерживать их или отрицать оставим специалистам. Нам с вами, читатель, интересен в этих суждениях человек, масштаб личности, так сказать, замах.

A вокруг него — изо дня в день, из года в год — четыре стены. Прежде, когда семья жила в квартире в перегороженной надвое комнате, он не мог и часу побыть в одиночестве. Но, учитывая его положение, ему предоставили соседнюю комнату, как только из нее выехали жильцы. Всемя метров, гостей не позовешь, но работаться стало много лучше.

У него даже зимнего пальто не было — а зачем?.. В летнюю пору он с наслаждением грелся на солнышке, когда вынесет из дома и усадит на лавочку брат. Сам-то уже не мог ни подняться со стула, ни выйти. Болезнь продолжала свой мрачный прогресс. Но с некоторых пор его темпы заметно замедлялись.

Спустя много лет он скончался докторской степени по физике коллеги посетили на то, что он не был связан с экспериментом. Действительно, в области физики — не был. Экспериментами он занялся в другой области. В то аспиранское время, когда, по словам его руководителя профессора Годнева, он подготовил параллельно две диссертации, на самом деле он взялся еще и за третью. Стал экспериментировать на себе. Со своей болезнью. Так что уточненная формула профессора должна бы, по справедливости, выглядеть так: «1=3».

Уже во многих больницах побывал к тому времени — в Иванове, в Ленинграде, в Одессе, в Киеве. Возможностями медицины не обольщался. Сам об этом рассказывает в рукописи «История моей болезни с анализом литературы и методов лечения».

«В студенческие годы и во время пребывания в аспирантуре я самостоятельно познакомился сначала с медвузовскими курсами (анатомия, физиология, биохимия, первых болезней, эндокринологии, диатерапии), а затем перешел к систематическому изучению специальной литературы на разных языках...

Сравнение с мировой научной литературой по точным наукам, которая в большом количестве проходит через мои руки, привело меня к выводу, что научная и информационная работа о моей болезни является недостаточно серьезно и многие возможности остаются неосуществленными...»

Придя к такому заключению, он решил эти возможности проверить. Школьный товарищ, врач-невролог, поддержал его в этом. Под наблюдением врача Зайцев стал испытывать средства, которые упоминались в довольно-таки скучной литературе о «его» болезни.

В немецком медицинском журнале излагался, например, необычный метод.

«Я решил проверить это на себе... В результате... через три месяца я смог самостоятельно спускаться по лестнице, и еще некоторые движения восстановились — до этого у меня не было случая, чтобы утраченные функции восстанавливались...»

Но большого, к сожалению, не удалось добиться. И тогда он попыталась усовершенствовать обнадеживающий метод...

Хорошо было бы, конечно, рассказать о чуде самолечения. Нет, чудо не произошло. Достаточно того, что ухудшение приостановилось — причем нельзя утверждать, что именно в результате его опытов. Не исключено случайное совпадение — Зайцев отдает себе в этом отчет. («Достижение цели», — считает он, — во многом зависит от фундаментальных биологических исследований по вскрытию глубоких механизмов нервно-мышечной деятельности). Но ведь и пишу я об этом не для того, чтобы противоположить самодеятельность профессиональной медицине. Рассказываю о человеке. Как он не сдался. И как по отношению к собственным бедам остался самим собой — исследователем, ученым.

Kазалось бы, его положение давало ему хоть одно преимущество — не торопиться. Свободный от повседневной суеты, он вроде бы мог позволить себе это. Но столько обязанностей взяли сам на себя, что, в общем-то, ему было некогда. Журналы, книги, рецензии, статьи, лечебные эксперименты и процедуры... Плюс к этому — обширная переписка: с редакциями, с коллегами-физиками, с медика-

ми, с товарищами по несчастью. Когда бы не его положение, это, пожалуй, выглядело бы старомодным в наш телефонно-телефрафный и авиавек. Спасибо poste — она связывала его не только с издательством «Мир» — с миром.

«Мысы и дорогой коллега!

...Положительная оценка, даваемая Вами в связи с моими усилиями по реинтерпретации квантовой теории, служит для меня очень большим ободрением в той работе, которую я провожу... Замечания, которые Вы делаете... очень интересны...

Луп де Бройль, Академия наук, Париж.

«Как и Вы, я недвижим... У недуга — противное свойство: разложение веры в собственные силы... Ваши успехи поразительны. Они вдохновляют на борьбу...» (письмо из Крыма).

«Человек, который не испытывает всего этого на своей шкуре, не сможет понять, ибо он человек, а я инвалид...» (а это — с Кубани).

Не один лишь адрес — в тот год переменилась жизнь Зайцева. Новоселье было только началом долгожданных этих обнадеживающих перемен.

Вместе с ним поселилась женщина, товарищ, жена. А спустя некоторое время громогласно заявил о себе третий жилец — гордый, жизнерадостный и не желающий знать, чем там занят отец в своем кресле.

Но и этим не ограничились перемены.

По натуре он всегда был общительным, Зайцев, только в прежней затворнической жизни трудно было проявлять это свойство. А теперь к нему чаще стали наведываться старые товарищи, приводить с собой новых. Благо, места у него стало довольно. Один физик привел другого, тот — третьего. О чём говорить с ними, у Зайцева накопилось. И вот уже, для облегчения разговора кто-то приволок классную доску, а сборница приобрели регулярность. Раз от разу они делались многолюдней. Семинар по теоретической физике — первый в жизни Георгия Зайцева, если не

Георгий Александрович Зайцев с женой Татьяной Давыдовной и дочуркой Соней.



«Уважаемый профессор,

профессор Инфельд, которому Ваши работы показались очень интересными, передал их для изучения своему младшему коллеге профессору И. Верле...» (из Варшавского университета).

«Дорогон друг Гера, здравствуй... (знакомый почерк Виктора: вместе лежали в больнице).

...Часто сетовал я, что мне в жизни не повезло на крупных людей и сам не вырос в личность. Но не зря ли? Ведь я забывал о тебе, с которым судьба свела меня благодаря болезни...

Итак, воля!.. Как говорили древние: «мощный дух спасает слабое тело...»

считать многолетних бесед с братом,— родился в его новой квартире немногим ранее дочки...

Ролью слушателей молодые участники семинара довольствовались недолго. Один аспирант загорелся зайдевской темой. Официальный наставник «уступил» его Георгию Александровичу. Потом то же самое произошло с другим аспирантом у другого наставника. Потом — с третьим. Все это по дружбе, на добровольных, неофициальных, общественных началах— называйте как практисте. Все это — как и вся судьба Зайцева — не по схеме.

Слух о семинаре разнесся по городу. И сам Зайцев, сел на себя в новой роли, опустил, что она посыпала. А помимо того, на его пенсию да заработка репрезентанта прожить трудно — одному этих денег хватало, но теперь он стал человек семейный. По совету товарищей он обратился в обком партии. Просил помочь с работой.

Не простая, надо сказать, задача, если учесть, что ни одного научного института по физике в городе нет. Есть учебные — технические, пед. мед. сельхоз.

B шестьдесят седьмом году адрес Зайцевых изменился. Переехали в новый дом. Георгий Александрович выделил квартиру — на первом этаже, а соседнюю, за степной, дали родителям, брату, сестре — всем зайдевскому семейству. Или, точнее, прежнему их семейству.

От квантовых теорий все далеки, да, кроме того, никто не мог поручиться, подойдет ли Зайцеву преподавательская работа. И все-таки выход нашелся — необычный, но выход. Решили «законить» зайдевский семинар. Кликнули клич по институтам. И при Текстильном (возможно, оттого, что ректор там — женщина) получили право действовать межинститутский семинар по математической физике.

Так Георгий Зайцев вырвался из четырех ствов.

Он сам не знал, что получится, но — «спопробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть», — это, кажется, сказал Гете. Раз в неделю или в две его стали привозить в институт на коляске — благо, близко от дома. И он вроде бы с работой справлялся. И когда через некоторое время получил предложение вести занятия со студентами, — решился и на этот эксперимент на себе.

Ему повезло: он пошел в обстановку, где поощрялись эксперименты. Сама группа была экспериментальной — с усиленным курсом математики и физики. Зайцев взялся прочесть в ней «Электродинамику и теорию относительности».

На лекции доктора физико-математических наук профессора Зайцева я был.

Он читал ее, сидя в своем кресле на высоких колесах, бледный человек в очках. Под рукой у него лежала книжечка панель, он управлял нацеленным на доску проектором. Вместо того, чтобы писать формулы на доске — этого он не мог, — он высвечивал их, заранее снятые на пленку, как диафильм, и объяснял нетромким ровным голосом, без малейших попыток развлекать или заигрывать со слушателями, строго, даже несколько суровато. Потом мне говорили, что за последние годы его голос заметно окреп — раньше он разговаривал почти шепотом. Он пускал свой фильм то вперед, то назад, выясняя связи между уравнениями. Все это было достаточно сложно: студенты работали, не отвлекаясь.

В его объяснениях часто повторялось понятие «инвариантность». Этим словом обозначают величины, которые характеризуют глубинные свойства явлений. Они независимы от подчас выбираемой случайно системы отсчета. И мне пришло в голову приложить этот термин к самому Зайцеву. Да, он сумел стать в значительной степени инвариантным — по отношению к уговоренной генетической ошибкой судьбы.

Я долго не решалась заговорить с ним. Опасалась непароком задеть, сделать больно. Опасалась, как окзалось, напрасно. Ничего этого не было. Были внимательные серые глаза за стеклами очков. Было усталое, чуть одутловатое лицо с опущенными углами губ, но при этом такая готовность к улыбке и такая открытая радость сама эта улыбка, что ни о какой ущемленности не могло быть и речи. Потом, бродя по городу, я не мог избавиться от мыслей о том, что, должно быть, возле своей школы, тяжелого мрачного здания бывшей гимназии, он скорей всего не был с тех пор, как ее окончил, а в модерновом аквариуме универмага не был наверняка, и даже в институтском буфете, должно быть, ни разу не был, потому что туда надо спускаться по лестнице. Но разговаривать с ним трудно было не потому, что ты подвижна, а он нет, а потому, что, увлсявшись, он забирался такие научные дебри, какие тебе и не снились, и из русских слов без всяких усилий складывал фразы не более тебе понятные, чем шумерская речь.

Однокашник Зайцева, друг, давно и хорошо его знающий, объяснил верно: Зайцев стал ученым прежде, чем заболел. Погруженность в науку защитила

его, забронировала, не дала обостриться, сломать ся. «Если бы он из заболел, все равно бы жил почти так же, поглощенный наукой...»

Георгий Александрович сейчас на подъеме. Ему присудили докторскую степень, избрали профессором. Он читает студентам. Окрест его голос, и недавно — впервые за много лет — он даже в гостях побывал на новоселье у своих кафедральных коллег.

«Особенно большое удовлетворение вызывает тот факт, — говорит он (устами брата) в заключение докторской защиты, — что ряд сотрудников и учеников автора воспринял многие его идеи и включился в работу...»

Признание, вероятно, могло бы прийти к нему раннее.

Немало хороших людей принимало участие в его судьбе. Хорошие люди помогли с лечением и с пением, с квартирой, с работой. В сущности, некого упрекать и за то, что в свое время кандидат наук, молодой, обещавший много, оказался «падомником». В самом деле, неизвестно было, справится ли он с работой в академическом институте, и не было гарантии, что это не повредит здоровью... И то же самое можно сказать применительно к ивановским вузам... С этим человеком ничего нельзя было знать наверняка — начиная с элементарных вещей, над которыми никто не задумывается. Сумеет ли ученый стать вровень с Ландау, этого никому не предскажешь. А вот сумеет ли высыпать на заседании учебного совета... Надо было решиться попробовать. Рискнуть на эксперимент, исход которого заранее был далеко не ясен. Принять участие (а стало быть, и долю ответственности на себя) в опыте длительном и хлопотливом, название которому — жизнь Зайцева.

Кто-то из физиков сравнил научную работу с прыжком через плавку, когда прыгнув неизвестно, на какой она высоте. Только опыт способен ответить на это, тут риск неизбежен. Жизнь Зайцева — та, которую он сам себе выбрал в жестких рамках зловещего природы, — рисковый прыжок. Но высота, преодолимая высота зависела не от него одного, а и от хороших людей. Помочь облегчить человеку жизнь, чем разделить с ним ее трудности. Не просто, а проще! Хорошие люди во многом помогли большому человеку. Одно жале: таких же поддержки не испытал на взлете молодой у ч е и ї.

К нему, понятно, не подходили обычные мерки. Он, на беду свою, не был к ним приспособлен. Но ведь это при слепом отборе в природе выживает наиболее приспособленный. Стоит ли повторять ту общую истину, что в науке желательно отдавать предпочтение наиболее способному? Не поздно ли — применительно к сорокалетнему Зайцеву — заводить такой разговор? Полагаю, что нет.

Потому что он полон замыслов и окружен молодежью.

Знаем: наука, по Эйнштейну, «надлична»; в конце концов ей без разницы, чим почерком вписываются новые строчки в книгу Знания. Нередко это размашистый почерк счастливца.

Только есть нечто поважнее научной карьеры. И мы, люди, воздаем по справедливости не за одно то, что человек сделал, но и за то, что делал.

Как ж и л.



РУКУ.
ТОВАРИЩ
СТРОИТЕЛЬ!

«ЮНОСТЬ»—СТРОИТЕЛЯМ ДОРОГИ ТЮМЕНЬ—СУРГУТ

Хроника шефства

С ПИСАТЕЛЬСКИМИ АВТОГРАФАМИ

Писатели, бывает, устают от поклонников, с опа- ской обходят оживленные скопища, подозревая в них охотников за автографами.

Представьте же картину обратную: писатели выстраиваются в очередь, чтобы непременно Альфу авторограф, подарить книжку со своей подписью далекому ценителю литературы. Так и было, когда редакция «Юности» обратилась к своим авторам с предложением собрать библиотеку для строителей дороги Тюмень — Сургут.

Людям труда, знающим цену слову, искреннему и правдивому, людям, не охочим до модной погоды за знаменитостью, а на равных вступающим с ними в диалог о подлинной жизни,— этим людям предназначал писательский дар.

Библиотечка с авторографами упакована в ящики, улетела в Тюмень. Шефская brigada журнала передала ее хозяевам, комсомольцам ударной стройки. Но сегодня нам хотелось бы снова пройтись по титульным страницам этих книжек, познакомить читателей с авторскими надписями.

В стране, читающей так взапой, ищущей в книге не сладкой, убаюкивающей сказки, и нравственный идеал образ движущегося революционного времени,— в такой стране устанавливается арагоненое равенство пишущего и читающего, отношения уважительные, и как бы сказать,— трудовые.

«Строителям Тюмень — Сургут. Идуции ввысь светло и круто. Мой трудный путь мой долгий путь.

Мои таежные маркируты! — надпись поэта Д. Голубкова

на титуле сборника «Человек как звезда рождается».

Той же интонацией равности и равнозначности писательского и строительского труда отмечены и другие титулы.

«Серебряного костыля вам в Сургуте, потом в Нижневартовском, потом на берегу Енисея! С радостью дарю вам книгу, посвященную таежным десантам в Саянах. Вы продолжаете их славное дело» — это надпись В. Орлова на титуле его романа «После дождичка в четверг». Напомним читателям, что роман этот, напечатанный в «Юности» в 1968 году, посвящен труду комсомольцев на дороге Абакан—Тайшет. Сегодня немало «абаканцев» перекочевало на новую стройку и, возможно, кому-то из них выпадет честь забыть серебряный костьль, скрепляющий рельсы со шпалой, на последнем километре тюменской трассы.

Звучит в авторских автографах и высокая нота трудовой, роман-

тической преемственности комсомольских поколений. До Абакана были ведь и легендарная Боярка, Магнитка, Комсомольск, СТЗ, целина.

«Радостно мне, комсомольскому поэту, Дарите свой скромный поэтический труд Комсомолцам дороги Тюмень — Сургут. От нас принявшим строительную эстафету».

— пишет почетный комсомолец А. Безыменский.

«Молодым строителям дороги Тюмень — Сургут с пожеланием стать героями «Юности», — от комсомолки 30-х годов Е. Шевелевой» — надпись на сборнике «Избранное».

«Нашим далёким всегда близким друзьям, читателям и героям «Юности» — строителям дороги Тюмень — Сургут с восхищением и хорошей завистью. И. Кашежевая. (Комсомолка годов 60-х).

Живой и сегодняшней связи ищет писатель со строителями, отсылая ему свою да: Р. Григорьева на титуле повести «Крестильский сын» напоминает о том, что ее герой «юный алтайский орленок, отдавший жизнь за Советскую власть». Писатели Т. Гладков и А. Лукин, даря комсомольцам книгу о Герое Советского Союза Николае Кузнецова, желают молодым строителям «во всем быть достойными памяти своего земляка, тюменского комсомольца». (Замечательный разведчик именно в Тюмени был принят в ряды комсомола.)

Но не одним лишь сходством судеб, неостывающей памятью о тех, чей подвиг продолжают сегодня юноши и девушки ударной стройки, устанавливается близость пишущих и читающих. Есть у литературы еще и высокий нрав-



Серебряный костьль дар строителей.

ственний накал, умение мудро вести человека труда к самопознанию, саморазвитию.

«Дорогие друзья! Было рад, если кому-то эта книга поможет в самом трудном деле — и самом важном! — вместе с любой дорогой строить себя!» — надписал Д. Холендро на повести «Улица триад-чати тополей».

Многим из вас дорогие читатели, памятна наверняка биографическая повесть добываца В. Титова «Всем смертям назло», памятен этот урок человеческого мужества и моральной красоты.

«Буду счастлив, — пишет В. Титов, если героя этой книжки найдут дорогу к вашим сердцам и помогут вам в ваш трудный час».

Г. Медынский на титуле своей книги «Честь», венцы нравственно раскаленной и беспокойной, пишет:

«Пусть ваша дорога будет даром чести».

Книжная полка для строителей дороги Тюмень — Сургут подбрасывала многоголосая. Стихи и проза, документальная публистика и очерки о науке, критический дневник и, разумеется, все виды юмористического и сатирического оружия.

«Строителям Тюмень — Сургута дарю эту книгу с тем, чтобы они в свободное от работы время могли ее прочитать и повеселиться. С приветом В. Катаев» — это его надпись на сборнике «Горох об стекну».

Так получилось, что скромная информация-ониця превращается в некое эссе о писателе и читателе. Причиной тому — теплота и искренность, с которыми писатели собрали «тиюменскую полку». В скучных строках дарственных надписей многое сказалось о характере отношений новой аудитории с новым мастером.

Закончим в тоне информационном. Свой книга комсомольцам стройки подарила также Н. Тихонов, Б. Полевой, К. Симонов, С. Антонов, В. Аксенов, Ф. Искандер, А. Алексин, Г. Гофман, А. Уварова, Е. Дорош, Ф. Наседкин, И. Герасимов, А. Бобров, В. Кравковский, В. Родзяков, Д. Тарасенков, С. Баруздин, П. Антокольский, А. Иванов и А. Рейжевский, М. Владимиров, Р. Солнцев, Ф. Абрамов, В. Огинев, А. Озеров, Н. Панченко, Ю. Арутюна, К. Ваншенкин, В. Шаламов, М. Лисянский, А. Мартынов, Б. Слуцкий, Л. Завальников, Я. Хелемский, О. Дмитриев, В. Са-

вельев, В. Казанцев, Т. Кузовleva, В. Сухарев, Ю. Щербак, А. Белкин, А. Смирнов, Е. Несторова, И. Тарасов, М. Исаковский, С. Михалков, А. Заурик, В. Цыбиз, Е. Винокуров, Н. Грекин, С. Наровчатов, В. Кузнецов, А. Сурков, Н. Браун. (Мы не устанавливали в перечне никакой «иерархии». Имена поставлены в порядке той самой очереди, о которой шла речь вначале.)

Всего в отправленной библиотечке 92 книги. Сбор книг с дарственными надписями для строителей дороги продолжается.

А. СЕРГЕЕВ

ОТРЯД «ЮНОСТЬ»

В конце июня на стройку отправилась группа студентов Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Задача этого отряда, призванного имя «Юности», необычна. Комсомольцы-художники подумают об облике трассы, создадут эскизы оформления поселков, клубов, строительно-монтажных поездов. Работать студенты будут и кистью и резцом, с пластиком и чеканкой, деревом и новыми отделочными материалами. Командиром отряда назначен студент В. Архипов, комиссаром — студент Ю. Круглов.

ТВОРЧЕСКАЯ БРИГАДА

4 июля в редакции «Юности» состоялась встреча с работниками Министерства транспортного строительства СССР. В беседе определились ближайшие заботы шефства и на новых трассах, строительство которых поручено комсомолу.

Начальник штаба стройки Тюмень — Сургут В. Конюков подал от имени строителей редакции журнала символический серебряный костыль. На одной из его граней дороге нам вадись: «На нашей стройке «Юности» — ЗЕЛЕНЫЙ». (Зеленый цвет, как известно, знак беспреимущественного, без задержек движения.)

В июле стройку посетила творческая бригада «Юности» (вторая в этом году). В ее составе поэты Н. Злотников и О. Чуонцев, публицист А. Фролов, прозаик А. Чупров, художник М. Лисогорский... Бригада встретилась со строителями в нескольких пунктах трассы, вручила комсомольскому штабу вымпела журнала для победителей социалистического соревнования, кубок будущим чемпионам-лыжникам, библиотечку с автографами, о которой вы прочли в хронике.



На снимках: лицевая и оборотная стороны вымпела «Юности», вручаемого победителям социалистического соревнования на трассе.





Роза Хусаинова: «Люблю олений прыжок»



Cначала был канат, натянутый между двух шестов на ярмарочной площади, потом стали ходить по проволоке. В 1877 году в Петербурге уже гастролировала некая Океана Ренц, афиши которой гласила: «Океана, дочь воздуха — разные труднейшие упражнения и жонглирование на слабо натянутой проволоке».

А в наше время на проволоке танцуют.

Танцовщица на проволоке Роза Хусаинова обратила на себя внимание совсем недавно. А в прошлом году она уже с успехом работала в программе Московского цирка.

Но познакомили нас не в цирке, а в ГИТИСе — оказывается, что Роза заочно учится на отделении режиссеров цирка...

Она спокойно выдержала мой первый изучающий взгляд, привыкла, наверное, что на нее пристально смотрят. Потом сказала, что ее «проводка» упала в Мексику и она вскоре сама вслед за нею отправится, а сейчас у нее экзамен и ей пора выходить на сцену.

Маленькая сцена, еще недавно принадлежавшая Центральному театру кукол, скрипела под мускулистыми ногами циркачей. Будущие режиссеры цирка пока что разыгрывали обыкновенные бытовые сцены. В такой роли, в пестром фартуке и косынке — а ноги по пятам позиции! — Роза выглядела нелепо.

Я ей сказала после экзамена:

— А вы, признаетесь, выглядели на сцене...

Мы встретились с ней глазами, и она совершенно спокойно ответила:

— Я знаю. Зачем только мне эту роль дали? Мне бы какую-нибудь вкрадчивую, обольстительную женщины сыграть, а тут...

Но мне не было жаль Розу. Я знала, что у нее есть дело, в котором она достигла огромного мастерства. А бытовые роли не для нее.

Сижу на узкой скамейке у истерпого зеленого ковра Московского циркового училища. Передо мной проволока. Вспоминаю слова Розы: «Она обжигает. У меня все ноги в царамах».

Ну, ничего, думаю я, проволока сейчас натянута не высоко, всего каких-нибудь полметра от пола. Это не страшно.

И снова вспоминаю слова Розы: «На проволоке каждый мускул находится в таком напряжении, что, даже падая с очень маленькой высоты, можно здорово расшибиться».

Наконец на манеже появляется Роза. Она поднимается на проволоку и только тогда здоровается.

Она стоит не шелохнувшись, лишь ступни мягко и мерно вытягиваются в подъеме, ощущая пробуя проволоку.

— Роза, ну как? — спрашиваю я, глядя на нее снизу вверх.

— Еще не знаю. С этими экзаменами не тренировалась давно. Наверное, ноги быстро сядут. Ну, а в общем, хорошо.

И тут неожиданно она отрывается от проволоки: одна нога вытянута назад, другая подобрана, а мягко изогнутые руки — над головой.

— Это олений прыжок, — говорит она, опустившись на проволоку. — Я люблю этот прыжок. Вообще число элементов, выполнимых на проволоке, ограничено. Трудно найти какое-либо новое движение. Я, например, жонгирую шарами!

Роза уже танцует надо мной на пятах, и я ей завидую. Это зависть обывателя к путешественнику, зависть, к которой примешивается трусливое ощущение радости за свою безопасность.

— Главное — это баланс... Стоя на проволоке, она спокойно произносит целые монологи. — Но, если упадешь, надо встать и тут же идти на проволоку, иначе возникает страх, и тогда все пропало.

— Но и у нас, в обыкновенной жизни, то же самое — вставляю я быстро.

Роза кидает на меня холодный и немного высокомерный взгляд, но говорит мягко:

— Почти.

Номер Розы Хусаиновой, поставленный на музыку татарского композитора Яруллина к балету «Шурале», построен на пластике трех различных характеров: лирическая героиня, юноша-джигит и девушка-птица.

— Роза, как вы пришли к этому сочетанию: классических трюков с национальными элементами?

— Соединение классики и национального создают современный рисунок танца с его неожиданными сменами ритма, с резкими контрастами движений. От классики мягкость и плавность, от национального — резкость и необычность движений. Мне не нравится, когда звучат в джазовой обработке наши национальные мелодии. Национальное может сочетаться только с классикой. Тогда это будет чисто...

— Ни сегодня хватит, — вдруг обрывается она свою тренировку. — А то ноги скрутят.

Она подходит к своему бывшему педагогу Лиции Игнатьевне Штульман и договаривается о следующей тренировке. До гастролей осталось несколько дней, и нужно срочно входить в форму. И, как всегда, Лиция Игнатьевна приходит Розе на помощь, обещая ей несколько свободных часов на манеже циркового училища.

Мы выходим на улицу. Дует влажный холодный ветер. Я вбираю голову в воротник и засовываю руки в карманы. Но Роза по-прежнему держится прямо и собранно.

— А вам не хочется сейчас расслабиться? — спрашиваю я.

— Нет. Профессиональная привычка. Я выросла в Казани, где все друг друга знают и где актрисе нельзя выглядеть некрасивой, даже когда она идет в магазин.

— Кто у вас остался в Казани?

— Мама. Если бы вы знали, как она чудесно играла на гармошке! Это была моя первая музыка в жизни. Вообще я очень люблю в городе звук гармошки. Сразу становится как-то уютно и спокойно.

— А вы очень привязаны к маме?

— Я не могу быть с ней все время вместе. Но когда я возвращаюсь домой и вижу горячее окно, мне становится так хорошо... Я бы взяла маму с собой, но это невозможно. Каждый сезон — новый цирк, новый город...

— Где состоялось ваше первое сольное выступление?

— В Ярославле. Я работала спокойно, увидев в зале красную кофточку Лиции Игнатьевны, которая специально приехала в Ярославль в этот день. Она всегда меня поддерживала и поддерживает в самые трудные минуты. Мне так повезло, что в цирковом училище я попала в ее класс. Она прекрасный педагог, и, знаете, ведь она была одной из первых, кто возродил в советском цирке жанр танца на проволоке. Она выступала под фамилией Кудоярова. Она из Якутии.

— А как вы попали в цирковое училище?

— Честно говоря, случайно. Вернее, из-за самолюбия. Когда-то я посыпала в Московское цирковое училище свои документы и разные данные о себе. Мне прислали отказ. И вот, уже участь в хореографической студии в Казани, я приехала с оперным театром на гастроли в Москву. И я решила поиздеваться в цирковом училище. Меня взяли. Я осталась в Москве. Это было неожиданно и для меня и для всех, потому что я должна была продолжать учебу в хореографическом училище в Ташкенте, куда меня направляла наш театр. Вот как все получилось...

— Какие гастроли вам больше всего запомнились?

— Я уже была в Индии — снималась в фильме Раджа Капура «Я — кладбище». Но у нас считается так: можешь объездить весь мир, однако, если, ты еще не работал в Москве, твоя цирковая судьба пока что не состоялась. Мне повезло — я уже работала в Московском цирке.

Мы идем по Москве. Завтра Роза улетает на долгие гастроли в Мексику. Еще не сделано много дел, еще не собраны чемоданы. Но Роза смеется:

— На этих затяну двух часов, иначе большую часть своего времени я бы укладывала венцы.

Мы уже не идем, а почти бежим по улице, включаясь в ритм шестичасовой вечерней Москвы. И еще что-то обсуждаем, может быть, что-то важное, но оно заглушается, распадается среди гула людей и машин.

Мы уже на «ты»:

— Тебе не надоело «скитаться» по гастролям?

— Смотреть новые города, новые страны не надоело. Но я медленно привыкаю к новым людям и гаджетам отъезжаю. Хотелось бы проработать в одном цирке не один сезон.

— Зачем ты училась на режиссерском?

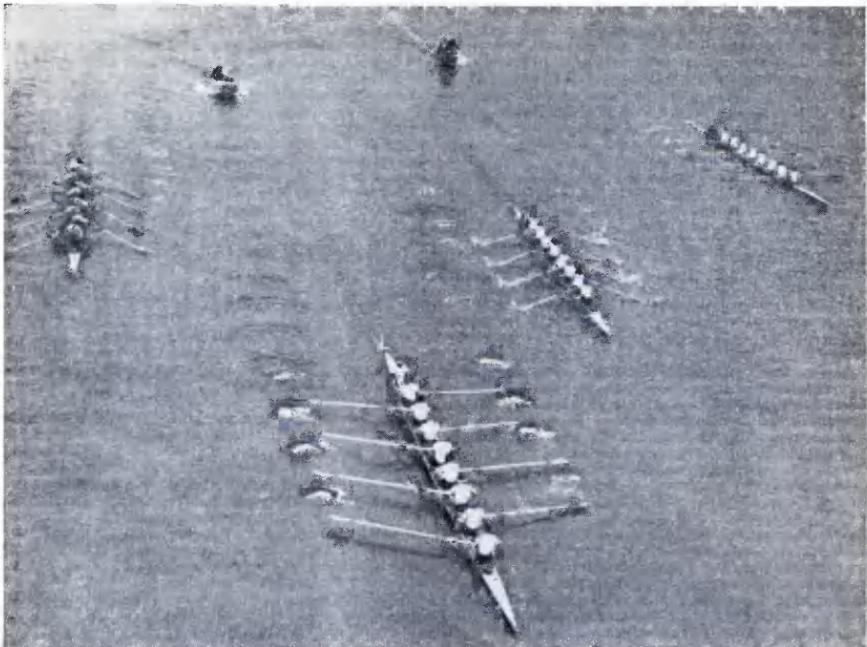
— Я хочу найти новые средства цирковой выразительности — прошло время «чистых» трюков. Но на сцене пробовать трудно. Поэтому проработала лет десять, а потом буду ставить номера другим. Может быть, и найду что-нибудь.

В этот момент Роза вскакивает в троллейбус. Дверь тут же закрывается, прицепим ее сумку. Она что-то говорит мне, стучу по стеклу, дверь приоткрывается, она втягивает сумку внутрь троллейбуса, и до меня лишь доносится:

— До свидания!

Я машу ей рукой. Так мы прощаемся. Беги, лети, Роза, догоняй свою «проводку», которая уже приплыла в Мексику.

Беседу вели М. БОРОДИНА.



ГЕЛИЙ АРОНОВ,
ИГОРЬ МАСЛЕННИКОВ



ПРИГЛАШЕНИЕ К ВОСЬМЕРКЕ

И кандидат медицинских наук киевлянин Гелий Аронов и московский журналист Игорь Масленников убеждены, что нет спорта прекраснее, чем академическая гребля, а венец регаты — заезд восьмерок!

Каждый из них много лет отдал академической гребле, оба мастера спорта были призерами чемпионатов страны.

Перебивая, дополняя друг друга, иногда и споря, они рассказывают о восьмерке и о ее героях.

А в заключение вы познакомитесь с командой восьмерки, которой доверено защищать честь нашей страны на Олимпийских играх в Мюнхене.

АРОНОВ. Заканчиваю очередной опыт. Лаборантка рассказывает по клеткам прооперируемых крымских. Заполняю протокол эксперимента: «...Пятинадцати животным произведена трансплантация... Группа предварительно облучена рентгеновскими лучами... На вторые сутки после операции будет начато введение сыворотки...»

На сегодня все. Выхожу из института. Солнечно,тихо, как всегда в Киеве в начале июня. Направляюсь в Матвеевский залив, где сегодня республиканские соревнования. Спешить некуда — до первого старта остается час.

Когда я в последний раз садился в лодку? В шестьдесят девятом. Смешная история. Попросил знакомый тренер: мол, позарез надо выставить полную команду, а восьмерки нет. Выручайте, ребята.

Сели с шуточками-прибауточками: «Трихнем старино! И на старуху бывает проруха! Были когда-то мы рысаками!..» Леня Ганкевич вспомнил: «Ровно

ФОТО В. КУТЬЯРЕВА.

двадцать лет назад выиграл первенство города по ногачкам. Может, и теперь выиграем? Надеялся на служившего тренера республики были явно несбыточны. Ведь выступали мы не по группе ветеранов, а средний возраст команды был равен тридцати пяти годам. Конечно, все — мастера спорта, а кое-кто даже зарядку по утрам делает, но уж Ганкевичу-то хорошо известно, что нужно, чтобы выиграть.

Выехали перед гонкой в залы, и пошло со всех сторон: «Ого! Кого я вижу?! Привет ветеранам!.. Неужели гоняться будешь?» Это все знакомые, однокашники, люди нашего гребного поколения. А незнакомая пацанка и вовсе неопочтительна: «Во дают! Команде образца 43-го дробь 13-го года!.. Смотри, на втором номере — лысый!..»

И действительно, странная собралась команда: четыре кандидата наук, рабочий, два инженера, тренер. Что привело тогда нас в Матвеевский залы? Желание хоть ненадолго вернуться в молодость? Надежда еще раз испытать одно из высочайших известных нам наслаждений — наслаждение от мощного гребка?..

Мы тогда финишировали пяттыми. Из шести возможных. Выиграли секунды две у совсем зеленых ребят из «Водника». И как выиграли! В середине дистанции руки так налились, а всплыли стали такими тяжелыми, что тянули к себе было просто невмоготу. А дыхание? Воздух со свистом вырывался из легких, и невидимая рука, скимавшая глотку, перехватывала ее все туже и туже. Какое уж тут наслаждение! Бросить бы, остановиться, отдохнуться. Чего ради мучить себя? И бросили бы, наверно, если бы все мы не прошли испытание восьмерки.

МАСЛЕННИКОВ. Признаюсь, за те двадцать лет, которые я провел в академической гребле, мне ни разу не довелось увидеть гонку восьмерок. Я выступал на парной двойке, и мой заезд всегда начинался перед стартом восьмерок. Только закончили дистанцию и малость отдохнувшись, а уже прибывают на финиш восьмерки — вот и все впечатления.

Правда, однажды мне самому привелось выступить на восьмерке. Но гонка была пустяковая, да и команда была собрана наспех, для зачета. И у меня лишь осталось ощущение, что после двойки, где можно вволю импровизировать, гребя на восьмерке ущемляет личную свободу. Ритм гребков выбирал загребной, а остальные только поддразнивали к нему, копировали, и не было ни малейшей возможности хоть как-то повлиять на его действия.

АРОНОВ. Только с первого взгляда может показаться, что гребцы в академической восьмерке пора-боенчики, скованы необходимостию вписывать свою индивидуальность в жесткую схему гребка. Нет большей свободы, чем скрытая раскрепощенность максимально рациональных движений. Именно она отличает настоящий спорт от суматошных действий нетренированного человека. Восьмерка — это обузданная стихийность, это рационализм, ставший кра-сотой, логикой, воплотившейся в движениях!

Я говорю это, не забывая, что есть еще байдарки, каноэ, морские ялы... Да и сама академическая гребля многолика. Я всматривался в «другие лица»: сидел в байдарке, балансировал в каноэ, повисал на толстенном вальке флотского весла. «Это было интересно, но... Не знаю случая, чтобы «академист» уходил в другие виды гребли. В них ему всегда чего-то не хватает. Чего? Неизбежной сложности? Тех-ницизма? Ощущения команды? Но в байдарках тоже есть авонки и четверки. Два классных байдарочиника — это двойка, четыре — четверка. Это точно, как таблица умножения. А два отличных академиста — это еще не команда. Восьмерка же появляется, когда между гребцами устанавливаются не временные (на

одно соревнование или даже на один сезон), а устойчивые психологические связи.

Почему человек выбирает одну спортивную дисциплину, предпочитая ее всем остальным? Случайно? По инерции? Потянувшись за друзьями, знакомыми, литературным героям, модной? Бывает и так. Нередко бывает.

И все же не только новичок выбирает свою будущую спортивную профессию. Вид спорта тоже выбирает его. Именно поэтому один остается в штанге, другой в плавании, третий в футболе, а четвертый, несмотря на баскетбольный рост, в теннисе. Пятый же кочует из вида в вид, никогда не задерживаясь на долго и в конце концов, не вос требованный ни одним из них, окончательно и бесследно уходит из спорта.

Избирает своих рыцарей и академическая восьмерка. Избирает строгое, придирчиво, испытывая их прежде всего колlettivismом. Попробуй быть индивидуалистом, если у тебя в руках одно длинное весло и сколько ни греби им — лодку вперед не двинешь: она будет лишь кружиться на месте.

Помню, из нашей восьмерки, когда мы еще не были «экзаменами», обидевшись на кого-то, выпрыгну седьмой номер — здоровенный парень, «самая сильная лопасть Днепра», как называли его у нас. Произошло это на середине реки, в половодье, добираться до берега в мокром тренировочном костюме и кедах было совсем не просто.

Мы вследствие подошли к причальному плоту, когда строптивца выгружали из подобравшего его катера. Вода лилась с него ручьями, и, стоя в образовавшейся луже, он смотрел, как мы подымаем лодку и уносим ее в залы. Вид у него был жалкий. Позже он признался, что тогда умье больше всего хотелось подогнать к нам и подставить свое плечо под борт восьмерки. Но команда обошлась без него.

МАСЛЕННИКОВ. Столь восторженное отношение к восьмерке мне было чуждо, и, когда я бросил гребти, начал пытать свои силы в спортивной журналистике. Большинство своих первых отчетов я посыпал одиночкам и двойкам — эти лодки были мне хорошо знакомы, да и к тому же я был под гипнозом имен олимпийских чемпионов Вячеслава Иванова, Олега Тиорина, Бориса Дубровского.

Восьмерки раз за разом проносились мимо трибун, и, каюсь, я оставался к ним равнодушен и посыпал им лишь несколько скучных строкочек в конце отчета.

Но вот какая вдруг случилась история. И случилась с гребцами, которых я близко знал. Помню, как в свое время, на осеннем сборе в Поти, никто из нас не принимал всерьез лягушек Зигмаса Юкни и Антонаса Багдонавичуса. Мы, ученики столичных тренеров — метров академической гребли, частенько подтрунивали над незнанием Юкни и Багдонавичусом тонких нюансов стиля и, главное, над их уверенностью, что они непременно поедут на Олимпийские игры в Рим.

А они действительно поехали на Олимпиаду и завоевали в классе двоек с рулевым серебряные медали. Три четверти дистанции они шли первыми, а затем допустили единственную, но классическую для новичков ошибку — прозевали ускорение соперников. Но все равно их второе место было расценено, как огромный успех, все только и говорили о незаурядности и самобытности этой двойки.

Блистательная карьера открывалась перед ними. Лицно я убежден, что Юкна и Багдонавичус непременно бы стали чемпионами мира и Олимпийских игр, оставаясь они гребцами на двойке. Но на следующий год, желая развить скоростные качества, они сели на тренировки в восьмерку. Сели на полтора-два часа, а вылезли из этой лодки через десять лет, лишь когда им пришло время прощаться со спортом.

Сколько раз восьмёрки, в которых гребли Юкна и Багдонович, были близки к большим победам, но непредвиденные случайности лишили команду счастливого шанса. Так было, например, на Олимпийских играх в Токио и Мехико, когда накануне финалов в команде кто-то заболел и восьмёрка уступала победу, хотя на протяжении всего сезона уверенно обыгрывала соперников. На берегу Юкна и Багдонович сидели ворчали, кляли свою судьбу, но по-прежнему садились в восьмёрку и, оттолкнувшись от плота, отдавали этой лодке все, что имели. Так они «пахали» не один год, и под конец выяснилось, что серебряные медали, которые они получили в Риме, еще будущи неизвестными гребцами, оказались их самыми высокими наградами...

Именно Юкна и Багдонович и заставили меня внимательно приглядеться к восьмёрке и открыть для себя, хотя и с запозданием, эту лодку. А теперь я считаю, что отчет без описания заезда восьмёрок — вообще не отчет.

Гонка в этой лодке забирает всего человека, без остатка. Одиночник Вячеслав Иванов даже в финальном заезде на Олимпиаде в Риме позволил себе прокатиться по дистанции в темпе 28 гребков в минуту. На восьмёрке такое немыслимо, разве что на тренировке, тогда как в гонке все идут на 42—44 гребка, а то и выше. Это спринт, но спринт на два километра!

Попробуйте в максимальном темпе 250 раз поднять штангу весом в 35 килограммов, и тогда вы получите какое-то представление об усилиях гребца восьмёрки. Притом в этой лодке необходимо еще заботиться о балансе и четком ритме движений. Любопытно, что «мертвую точку» спортивные врачи впервые описали именно после обследования гребцов восьмёрки. И вот еще что: опытные мастера не раз признавались, что со временем эта лодка представляется им живой.

А какие традиции у восьмёрки! В какие далекие времена уходят эти традиции? Знаете, например, о легендарном единоборстве студентов Кембриджка и Оксфорда? Эта регата возникла так. Студенты любили после занятий, а иногда и вместо них, кататься на лодках по Темзе. Заканчивались эти прогулки обычно по Стамфорду — в прибрежном кабачке. Но кабачок был маленький, мог вместить лишь восемь — десять человек, и за места в нем шла борьба. Постепенно эта борьба превратилась в своеобразное соревнование, которое с 1829 года стало официальным для восьмёрок Кембриджка и Оксфорда.

Разумеется, восьмёрки этих университетов редко достигают уровня международного класса, но давнее — и не только в спорте — соперничество Кембриджка и Оксфорда, яркие традиции гонки придают ей особую привлекательность. Очевидцы рассказывают, что в Кембридже в Оксфорде перед гонкой устраиваются карнавалы, по ночам студенты разжигают на улицах костры и распевают клубные гимны. Гонка эта так популярна в Англии, что какой-нибудь маститый член парламента никогда не забывает упомянуть, как об одном из самых славных событий в своей жизни, что когда-то он участвовал в регате этих двух восьмёрок.

А Хенлейская регата, которая разыгрывается на Темзе с 1839 года?

АРОНОВ. Сегодняшняя судьба Хенлейской регаты знаменательна. Это старейшая и традиционная гребная регата, и ее знаменитые призы: «Бриллиантовые весла», «Гранд Чемпендж Кап», «Сильвер Гоблетс», «Стоуортс Кап» — всегда привлекали лучших гребцов мира. Дистанция регаты, размеченнная у небольшого английского города Хенлей, своеобразна — она нестандартной длины, такая узкая, что стартовать одновременно могут лишь две лодки. К сожалению,

устройством регаты не хотят поступиться традициями и модернизировать дистанцию, и теперь все реже встречаются у Хенлея лучшие команды мира.

Теперь во многих странах роют специальные гребные каналы: два с половиной километра в длину, несложно сод метров в ширину. Не хватает только крыши над ними. Может быть, со временем и крыша будет. Тогда академизм академической гребли достигнет предела. Ни тебе ветерка, ни волн... Тогда уже станет совершенно невозможным такой казус, который случился с нашей восьмёркой на первенстве Союза на Химкинском водохранилище. Всю дистанцию ветер и разгулившиеся волны наполняли водой нашу лодку. Она садилась все глубже и глубже и, наконец, на финиш стала почти подводной. К плоту мы ее притащили уже вплавь и, прежде чем вытянуть на берег, вымыли из нее тонны аве воды.

Плохо, конечно, если в распределение мест вмешиваются неспортивные, стихийные силы. Плохо, если вопрос: «Быть или не быть?» — в значительной мере зависит от того, на какую дорожку попадешь. Но не потеряет ли академическая гребля многих своих рыцарей, все более изолируясь от своей естественной среды? Мне кажется, хорошо бы сохранить первозданность Матвеевского залива или Серебряного бора, соединив ее со строгими стандартами международных трасс. Неужели лучший выход — рыть узкую канаву на совершенно сухопутном месте? Разве не та же проблема стоит перед архитекторами, пытающимися сочетать своеобразие и неповторимость древних городов с самыми современными достижениями строительной техники?

МАСЛЕННИКОВ. Это позиция романтика, и я, увы, не могу согласиться с нею. Практик убеждает, что в странах, где строятся каналы, число рыцарей гребли постоянно увеличивается, тогда как у нас, например, их становится, к сожалению, все меньше. Конечно, конечно, играть в канадский хоккей и на открытом катке, но собранной стране, чтобы поддержать высокую форму, вряд ли обойдется без ледового дворца. Так и в академической гребле.

АРОНОВ. Я бы не стал сравнивать гребной канал с ледовым дворцом, как и вообще греблю с канадским хоккеем. У каждого вида спорта своя специфика. Но, конечно, самоочевидно, что материально-техническая база нашей академической гребли должна быть модернизирована. Кому нужны доказательства, пусть придет хотя бы в наш Матвеевский залив

Я всегда волнуюсь, приближаясь к заливу. Как никак ему отдано пятнадцать лет жизни. С моих пор здесь почти ничего не изменилось: так же девственные песчаные пляжи вдоль дистанции, так же дремучи заросли верболаза на подступах к берегу, так же сиротливо торчат почерневшие от невзгод доски грубы сколоченных скамеек, фанерная будка на финише да несколько выцветших щитов с изображениями футболиста, гимнастки и стрелка, хотя ни футбольного поля, ни гимнастического зала, ни тира здесь нет и в проекте.

Не могу пройти мимо родного «Буревестника». Вот виднеется крыша его элинга, тоже николько не изменявшегося с наших времен. А вот и причальный бон. Тоже старый знакомый. Если на этом боне одновременно встречаются несколько команд со своими лодками, то он почти погружается в воду.. Эта неизменность умиляет, но в то же время и объясняет, почему Матвеевский залив, который когда-то звался «заливом чемпионов», с каждым годом теряет свою бытую славу.

Но надо торопиться: если не перееду сейчас на чем-нибудь прямо через залив, опоздаю к заезду восьмёрок. О, мне повезло — к берегу спешит Юрий Михайлович Храновский, мой бывший тренер. Уди-

вительный человек. Когда нам было по двадцать, он казалась чуть ли не патриархом (еще до войны Храновский был рекордсменом Украины по плаванию, играл в водное поло, занимался штангой, греб...), а теперь выглядит просто нашим ровесником — высокий, стройный, начисто лишенный признаков старости...

Прощусь к нему катер. Едем на песчаную косу, разделенную Матвеевским заливом на два рукава. Ди-станция оканчивается в правом рукаве. Юрий Михайлович остается на косе, намерен посмотреть восьмёрку на подходе к последней пятышке, а я по глубокому песку отправляюсь на финиш...

МАСЛЕННИКОВ. Я мало знаком с Храновским. Но уж раз речь зашла о тренерах по академической гребле, то хочу сказать, что таких тренеров не встретишь, мне кажется, ни в одном виде спорта. Есть среди них фанатики, которые всю жизнь собирают только восьмёрку. Таким тренером был Александр Михайлович Шведов — ныне доктор наук, преподаватель МАИ. Совместно со своим другом, профессором Шебуевым, он создал в свое время легендарную восьмёрку «Крылья Советов». Когда гребцы этой команды впервые прибыли в Англию, чтобы участвовать в Хенлайской регате, они вызывали огромный интерес. Наших спортсменов обступили, когда они еще несли лодку к воде, в старые английские гребцы в малиновых клубных пиджаках и канотье — некоторые из них не могли передвигаться сами и их привезли в колясках — требовали, чтобы их подвезли поближе к пллоту. Они наблюдали за безукоризненным ритуалом спуска нашей лодки на воду, а один из них после этого даже распорядился, чтобы его отвезли домой.

— И без заездов все ясно. Это сильнейшая команда, — сказал старый гребец.

И действительно, москвичи завоевали в Хенлее тогда главный приз «Гранд Челлендж Кап», а позднее трижды выигрывали первенство Европы. А когда эта команда в последний раз занесла свою лодку в залог, то фактически рассталась со спортом и тренером Шведовым.

Из нынешних тренеров очень любопытен Николаев. Его деятельность вызывает много споров, но каждый раз он доказывает свою правоту. Вдруг уехав в Тбилиси, он за одиннадцать сезона собрал отличную восьмёрку. Понапачу эту команду не воспринимали всерьез: черноусые пыльные гребцы лихо разгоняли лодку, а затем так же византии бросали грести. И вдруг на последней Спартакиаде народов СССР тбилисские гребцы завоевывают бронзовые медали! И похоже, что это только их первый успех.

АРОНОВ. По щиколотку в воде, не замечая того, я стою на финишне. В нарастающем шуме рулевых не слышно, но видно, как они что-то кричат командам. Наверное, обычное: «Ну да! Финиш! Последние!» Что еще можно сказать сейчас и что еще дойдет до сознания, когда гребцами владеет единственная мысль: «Выиграть! Выиграть! Выиграть!»

Две восьмёрки финишируют почти одновременно, лодки по инерции скользят по заливу, всплеск бессильно брошенны, рулевые что-то командуют, но так, для порядка, знают, что ребятам еще нужно нескользко минут, чтобы вернуться из мира гонки, услышать крики на берегу, снова взяться за весла. Лодки, только что, казалось, летевшие на дистанциях, грубо осели, уткнув свои острые носы в воду...

Предвкушу заранее тот день Олимпийских игр в Мюнхене, когда часа за два до передачи, боясь опоздать, я займу место у экрана телевизора, чтобы видеть венец регаты — заезд восьмёрок. Хотя мне никогда не приходилось выступать на олимпийских

трассах, уверен, что смогу и у экрана телевизора испытать то, что испытывают члены восьмёрки там, в Мюнхене: жажду победы и приподняющее опущение весла, упруго опирающегося о воду, и стремительное скольжение лодки... Я жду победы нашей восьмёрки в Мюнхене как личной победы, хотя и не звонок с сидящими в ини ребятами.

МАСЛЕННИКОВ. Переживать нам придется за сборную команду, которая в основном составлена из гребцов Коломны. Раньше в отчетах о гребных регатах мне приходилось частенько упекрат гребцам РСФСР за то, что среди их учеников не видно спортсменов международного класса, хотя внешне эти рослые, работящие ребята производили сильное впечатление. Но вот середине июля на чемпионате СССР в Серебряном бору восьмёрка РСФСР выиграла финальный заезд и таким образом завоевала олимпийскую путевку.

Команду готовила бригада опытных тренеров — Виктор Иосифович Питиримов, Владимир Михайлович Филаретов и Игорь Николаевич Поляков. Последний, кстати сказать, живет в Москве и приступил к работе с восьмёркой РСФСР за несколько месяцев до начала Олимпиады. Известный в прошлом гребец, квалифицированный тренер, Поляков очень многое сделал для успеха этой команды. С гребцами работал также доцент кафедры Института физкультуры, кандидат педагогических наук Сергей Маркович Гордон, который давал научные рекомендации тренерам. Словом, подготовка восьмёрки была поставлена на科學ную основу, что и принесло добрые плоды.

Ну, а теперь о тех, кто сидят в этой лодке. Загребной команды — двадцатидвухлетний Александр Рязанкин. Его рост — 190 см, вес — 90 кг. Но он отнюдь не самый высокий в команде. Например, рост Александра Шитова и Бориса Воробьева — 193 см, да и весят они побольше. Все трое живут в Коломне, учатся в педагогическом институте.

Как и во всяком большом коллективе, в этой восьмёрке есть и самые общительные, добродушные парни, из тех, кого мы по-житейски зовем «душой компании». Речь идет о Сергееве Косякине. Как бы ни закончилась гонка, первым, выходя на плот, всегда улыбается Сергей, что, однако, не свидетельствует о его легкомыслии, напротив, в принципе он очень серьезный человек и надежный товарищ.

Таков костяк нашей олимпийской восьмёрки. Как закончится регата Мюнхен? В 1952 году в Хельсинки экипаж «Крылья Советов» после равной, тяжелой борьбы занял второе место, уступив команде США. Спустя 16 лет на Олимпиаде в Мехико советская восьмёрка также имела все основания рассчитывать на победу, но после различного рода злоключений заняла лишь третье место. Чем закончится нынешняя попытка? Конечно, все мы желаем нашей восьмёрке самого большого успеха, но добиться его будет от как трудно. Соперники хотят отбиваться, по крайней мере в большей или меньшей степени на олимпийские награды претендуют экипажи и Новой Зеландии, и ГДР, и ФРГ, и США, и Канады, и Норвегии... Ведь речь идет о заезде престижа, о самой популярной в гребле лодке, победа на которой, повторюсь, ценится чрезвычайно высоко.





Открытое письмо Галки Галкиной Владимиру Котову

Здравствуйте, Владимир Кото-

в! С большим творческим подъ-
емом и вдохновением принялася я
за это письмо. Дело в том, что в
последнее время у меня, внештатного
сотрудника отдела сатиры и
юмора журнала «Юность», резко
сократился объем работ в моем
любимом жанре. То ли издательства
стали разбрививе, то ли критика
появилась свои требования,

между журналами. Уважительней
и глубже стали редакционные ста-
тьи, оценивающие работы других
изданий... Это, конечно, хорошо.
Но мое перво, перво сатирика, рож-
дается в бездействии. Я уже было
решила отказаться от эпистоляр-
ного жанра и стала собираться в
отпуск, как вдруг.. Как вдруг при-
ходит от читателей адресованная
мне бандероль, и в ней два сборни-
ка Ваших стихов!. И каких стихов!
Как будто специально со-
занных для личной со мною пере-
писки. Стоило мне прочесть под-
черкнутые читателями строки, как
мысли об отпуске сразу вы-
летели из головы. Я жаждно схва-
тилась за перо. Конечно, я и
сейчас не до конца понимаю, как
такое могло прийти в голову
Вам, Владимир Котов, как могло не
насторожить редактора, не по-
тысти корректоров и не вывести из
строя почетные печатные ма-
шины... Сколько людей Вам уда-
лось ввести в заблуждение, при-
крывшись высокими словами, ко-
торые стоят на обложках Ваших

«Владимир Котов. «Верность

отцам». «Московский рабочий».

1971 г. Редактор Б. Орлов

«Владимир Котов «Есть рабочий

класс». Профиздат. 1971 г. Ре-
дактор Е. А. Марков.

книг, скольких обойти, чтобы до-
ставить удовольствие мне, скром-
ному сатирику Галке Галкиной!

И вот я к Вам пишу.

Но каким же языком к Вам об-
ращаться? Мне надо быть понят-
ной не только читателю, но и Вам,
Владимир Котов, а Вы, судя по
прочитанным стихам, с литератур-
ным языком состоите в отноше-
ниях особых, своеобразных. Я бы
сказала — пятиныых:

Ах, Малеевка,
многоалеевка,
что мне делать
со сказкой вот с этой?
..меня он насквозь
видит ведь..
Но жизнь по-своему учтет
и глянет вдруг из-за горы-то.

Узнаете Ваши строчки? Ничего
не скажешь, во всенародии Вы
встретили трудности ритма — ста-
рым испытанным приемом не
очень, правда, умелых стихотвор-
цев, которые все недостающие
слоги в поэтической строке заме-
няют спасительным «уж», «бот»,
«ведь», «тот» и т. д. Этот малый
дженримский набор я уж и
впрямь хотела-то использовать
в своем письме этом вот, но
репила отказаться от своей затеи,
поскольку в ведь... того этого...
грамотных читателей вот у
и а с т о много, а поэт-то Котов,
Вы уж у нас один-то.

Откуда у Вас эта манера стихо-
писания? Где Вы учились своему
неповторимому стилю?

А жил
не где-нибудь за рынком,
у трех вокзалов
рядом жил...

Ничего, что в этих строчках не
все грамотно — Вы живете и «у»
вокзала и «рядом» с ним сразу,—
зато место поэта в жизни четко за-
фиксировано. Это уже кое-что.

Ну, конечно, прописка пропи-
ской, а читатель может все же
усомниться в Вашей профессии, у
него, чего доброго, назреет естест-
венный вопрос, кто же Вы такой.

Вы правильно делаете, что заявляете:

Я не чета отцам великим,
но все-таки сейчас скажу:
имею отношение к книгам,
поскольку тоже их пишу.

Теперь читателю стало предельно, до рези в глазах, ясно — Вы писатель. Но писатели разные бывают, и Вам кажется необходимым с абсолютной точностью определить свою занятие:

Мы стихи слагаем,
словолоту громим,
любим наших жен
хмельно и трезво...

Вас, пожалуй, можно понять. Как явствует из стихов, эта самая «словолот» обступила Вас, и Вам, естественно, приходится от нее отплыватьсь, отбиваться, оттегиваться, применяя при этом разные нехорошие, вероятно, почерннутые по месту жительства — на рынке, то бишь... — у трех вокзалов — слова: «зверь», «специальность», «мурло», «котлы», «выкинь» и т. д. И тогда, правда, Вас не устраивает неконкретность, и Вам не терпится указать, как говорится, кто есть кто: кто «шакиль», а кто «выкинь»; кто «зверь», кто «пещерка», а кто просто «ржак». И чтобы неопытный читатель знал, на головы каких именно коллег по поэтическому цеху Ваша рассвирепевшая муз опускает свой кастет, Вы, так сказать, уточняете свои мишины, открываете секрет:

Деляга, спекулянт пера
торгует яро и нахально.
Жена поводи с ним: «Ура!
Мой Роба — это же
гениальный!»
Матерый обыватель, жмот,
за рубчиком гребущий ручбин.
А женам глаза не отведет,
«Ах, мой Андрющенка,
голубчик!»

Остроумно, тонко, Владимир Котов! Браво! Так их! Это им не на базаре, женам ихним, тут святая поэзия! И намек поняла.

Вас, конечно, беспокоит: а вдруг для читателя неясно, кого Вы лупите по головам, вдруг перепутает... Поэтому Вы иногда усиливаете свой тонкий художественный прием — просто проставляете фамилию поэта, которому Вы особо завидуете, чуть изменявши эту фамилию для благозвучия.

Перстами, как говорится, легкими как сон, прикоснулись Вы, скажем, к фамилии... Но не будем помогать читающей публике, пусть и она поиграет в «Угадайку».

Бот строки из поэмы под символическим названием «Признание в любви»:

...она
кричала мне вслед:
«У Дарьи моншины денег много!
А ты?»
Ну что ты за поэт?
И что тебе растолкуют —
и что то долго толковать?
Родиной торгует.
И нам прикажешь торговать?

Да, да, так и написано. И напечатали! Ошарашенный читатель, приславший мне эти Ваши так называемые стихи, растерянно воскликнет: «Это же обыкновенное хулиганство, даже не литературное!» С такой формулировкой спорить не приходится, ибо, как сказал один поэт, «хулиганство есть озорное действие, связанное с оскорблением личности...». Но Вам везет, Владимир Котов, — если на улице один человек, даже спящий, оскорбят другого, то как минимум получит пятнашки суток. А тут явное оскорблениe личности — и ничего! Кроме разве горюха от «Профиздата» и «Московского рабочего».

Вида свою безнаказанность, видя, что Вам все сходит с рук и Вас никто не хватает за шиворот, Вы смело выходите на большую асфальтированную дорогу и нападаете уже не на отдельных индивидуумов, а на целые коллективы. Если насчет некоторых «прототипов» у Вас в стихах можно строить догадки, то тут Вы называете точные адреса.

Передо мной стихотворение «Судят товарища Зет...». Судят его в далеком будущем. За мелкий проступок ему придумали суровую кару: приговорили к безделью, окружили его мешанским уютом «ханут прошедших эпох», выдали ему «супер-сталикью» одежду, заставили плясать твист и шейк... И в подкрепление «сурогового» приговора Вы вкладываете в уста судьи «из будущего» такие слова:

Еще
в наказание его интеллигенту —
ни книж, ни газет!
(Вот уж этим проймем!)
Оставите ему
в самых полных комплектах
«Америку» и «Юность»
тех же времен.

Значит, так: «ханут», «стильги», «твист и шейк», и в этом ряду «Юность»... Если в будущем преступников «в наказание... интеллигенту» будут присуждать к чтению «Юности», то чем же наградят людей добрых? Разумеется, стихами поэта Владимира Котова. И под звуки лотти, закатив глаза, они вынуждены будут напевать такие «шедевры» интимной лирики:

Из-под шелковых ресниц
Тихо песни льются...

Ведь он мужчина все они
подчас в борьбе со всеми бедови
свои взлохмаченные (?) дни
под (?) яскески шелк (?)
склонить готовы.

Рискованная ситуация: «взлохмаченные дни», склоняющиеся под жицкий шелк...

Но скорее вернемся из Вашего будущего в наше настоящее. Тут Вы с опять подстерегаете с катетом:

...Как сладко
с другом поднять бокал,
поднять бокал
влаги,
чистой, как совести
Ведь главное —
не сдаваться,
самим собой оставаться!
И всегда
наступать и драться!..

По-моему, впервые чистота человеческой совести поверяется чистотой сорокаградусной влаги. Но тут уж бог с Вами, это дело вкуса, бываются привычки, от которых трудно избавиться. Однако, что касается Вашей мечты «всегда наступать и драться», тут я Вам, несмотря на Ваш, увы, возраст и Ваш, увы, алломб, дала бы все же совет: подумайте.

Попробуйте как-нибудь на досуге.

Обычно, когда хулиган затевает драку, его истинные друзья берут его за руки, уводят подальше от глаз людских, дают проспать и прийти в себя. Ваша друзья из издательств, покровительствующие Вам, не захотели этого сделать. Они размножили Вашу привокзально-рыночную брань немалым тиражом... Тут уж ничего не подадите: слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Однако, как очень умно заметили Вы в одном из своих трезвых стихотворений:

Любое можно обудзати!
Лишь не проспати!
Не опоздати..

Вот под этими трезвыми Вашими словами я готова подписатьсь.

ГАЛКА ГАЛКИНА

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА

МИНИ-ЮМ

(Афоризмы)

Рисунок Ф. КУРИЦ.

— Ты меня любишь?
— Люблю.
— Сильно?
— Сильно.
— Тогда давай поженимся.
— Ну, я в общем-то не против...

— Что же нам мешает?
— Мне ничего не мешает.
— Тогда пойдем и поженимся.
— Пойдем... А где мы будем жить?
— Ну... На первое время комнату снимем.
— Да, пожалуй. А на какие финанссы ее снимем?
— Переходим на вечерний и начнем работать.
— Это хорошо. А кто будет готовить?

— Моя мама хорошо готовит, и твоя бабушка будет приходить.
— Так. А для чего нам, собственно, жениться?
— Ребенка заведем, воспитывать будем.
— А он кричать будет, с ним сидеть надо, кормить. В кино не сходить, в театр и подавно.

— Ну, тогда не будем ребенка заводить. Будем в кино ходить, в театры и собаку заведем.

— С собакой в театр не пустят.
— Тогда не будем заводить собаку, а будем просто ходить в кино и театры.

— Но ведь мы и сейчас ходим в кино и театры.

— Ходим.

— Ну?

— А тогда будем все время вместе.

— А ты хочешь, чтобы мы были все время вместе?

— Ну, все время, пожалуй, на-дест... Если мы будем работать, то получится, что не все время.

— Значит, нам нужно работать, чтобы не быть все время вместе? А сейчас мы не работаем и тоже не все время вместе. Ведь так?

— Ну, тогда не будем работать...

— Тогда жить вместе будет не на что.

— Ну, тогда не будем жить вместе...

— Тогда и комнату не надо будет снимать.

— А не будет своей комнаты, тогда моя мама будет у меня дома готовить.

— А моя бабушка — у меня дома.

— Но тогда и жениться незачем.

— А я что говорил!

— Вообще-то, конечно, какое значение имеет, женаты мы или нет. Главное, что мы любим друг друга. Ведь ты меня любишь?

— Люблю.

— Сильно?

— Сильно.

— Тогда давай поженимся...



Самое бессмысленное занятие — управлять мозги безголовому.

Он был заурядный хапуга — звезда с неба не хватал.

В. САПРОНОВ.

Страховой агент — это человек, который желает нам добра после зла.

В. КОНИХИН.

Если все люди братья, откуда берутся сестры?

А. ФЮРСТЕНБЕРГ.

Бюро прогнозов: «Дождь состоится при любой погоде».

Вал. ДЕВЯТЫЙ.

Поймал трех зайцев, а ведь гнался за двумя.

А. СИВЦОВ.

Никогда не теряй чувства юмора. А вдруг его найдет твой недруг!

Не всегда надо приходить на помощь человеку. Иногда надо и прибежать.

Если ты ушел в себя, не возвращайся с пустыми руками.

М. ГЕНИН.

«Не учите меня жить», — сказала Смерть.

А. КАРАПЕТЯН.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Ион ДРУЦЭ. Рассказы: 1. Сплошные невезения. 2. Свои люди. 3. Осыпалась листва на виноградниках. 4. Черные черешни. 5. Нападение гунонов

4

Владимир ГОНИК. День бабьего лета. Повесть
Альберт ЛИХАНОВ. Паводок. Повесть.
Окончание

14

Олег ДМИТРИЕВ. «За Байкалом, на земле бурят...». Кормление чаек. «Не надо у жизни просить...». «Девочка поет на тротуаре...»

35 Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

ПОЭЗИЯ

Инна КАШЕНЕВА. «Переселяясь в новые дома...». «Секрет гусиного пера...». «Я нежно хочу попрощаться...»

2 Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,

Каисын КУЛИЕВ. «Я вам не говорил, что жизнь легка...». «Сон, счастливый сон приснился мне...». «Случалось, помню, в дни жизни не раз...». «И кто же в сне сумку минует...». «Мир снова полон страхов и тревог...». «Тихо умер человек больной...». «Когда скрепло все, что ни на есть...». Перевел с балкарского Н. Гребнев

3 В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ

Мансур ВЕКИЛОВ. В Шувелянах. Первый урон

(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),

Станислав КУНЯЕВ. «Холод весенней земли...», «Надоела мне радость чужая...». «В мокрых кустах краснотала...». «Как водится, сызно-ва, снова...». Весенний туман

11 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

Дондук УЛЫЗГУЕВ. «Время движется величаво...». Глаза. Вспоминаю свой край. Перевел с бурятского С. Куняев

12 (отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,

Яков КОЗЛОВСКИЙ. Аrena. Неоправленный снег. Вершинам отозвись «Листва, понухая, домонкнув...». «Она зимой сходила с поезда...». Мастера оружейного цеха

13 В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

Жолон МАМЫТОВ. Кони. Путешествие. Перевел с киргизского М. Синельникова

83

Вадим КУЗНЕЦОВ. «Ничего не случилось по-кругу...». «Улыбчивый, тихий, ненрвный...». «Давай махнем, Матвеич, на Шексну...»

84 Художественный редактор
Ю. А. Цищевский.

Ю. ВЕЧЕРСКИЙ. Время отрабатывать авансы

65 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

Ю. КУЗМЕНКО. «Сить себя со своим принципом»

66 На 1—4 стр. обложки
рисунок
73 Е. СОКОЛОВОЙ
и А. МАКСИМОВА.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. В рельсү!

76

Лев ОЗЕРОВ. Огонь, пепел, поэзия

68 Адрес редакции:
Москва, 103006.

Маленькие рецензии и аннотации

72 (Для телеграмм: Москва, 6).
Улица Горького, № 32/1.
86 Рукописи
не возвращаются.

Юрий КОРТНЕВ. Заноза

77 Сдано в набор 6/VI 1972 г.
Подп. к печ. 25/VII 1972 г.
101 А 07723.

Страстной бульвар, дом 11

78 Формат бумаги 84×108/». Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учтено-изд. л.

Отахон ЛАТИФИ. Земляни

103 Тираж 2 000 000 экз.
Изд. № 1846. Заказ № 3098.
Ордена Ленина

Ада ЛЕВИНА. Койна в углу

105 Ордена Октябрьской
Революции

А. СЕРГЕЕВ. «Юность» — строителям дороги
Тюмень — Сургут (Хроника шефства)

109 типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина

Л. КОКИН. Судьба Георгия Зайцева, перестро-
енная им самим

111 125865. Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Роза ХУСАИНОВА. «Люблю оленей прыжок» . .

Гелий АРОНФ, Игорь МАСЛЕННИКОВ. Пригла-
шение к восемьмерью

Л. ИЗМАИЛОВ. Железная логика

Мини-юм

ДЕНЬГИ

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ

ЖИЗНЬ — ПЕСНЯ

КРУГ ЧТЕНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ДНЕВНИК КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ

ЖИЗНЬ — ПЕСНЯ

КРУГ ЧТЕНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА

ДЕБЮТЫ

СПОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ



Р. ЯУШЕВ (Москва).

Клуб в Агай-Велли. Из серии «О камчатке».

Из произведений
молодых художников,
экспонировавшихся
в залах Академии
художеств СССР.



В. СМИРНОВ (Москва).

На метеостанции.
Из серии
«На Дальнем Востоке».



Цена 40 коп.

Индекс
71120